А. Фадеев

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИКА

А. ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

ТОМ 2

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1979

Составление и общая редакция
Ст. Заики

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Роман

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Алеша Маленький был послан в районы восстания для того, чтобы ликвидировать разногласия между партизанским командованием и подпольным областным комитетом. Разногласия эти обнимали коренные вопросы движения, и от того или иного разрешения их зависели судьбы и жизни десятков и сотен тысяч людей.

Вначале Алеша Маленький предполагал пробраться к партизанам через Сучанский рудник, где Соня Хлопушкина, ведавшая всей подпольной связью, указала ему несколько явочных квартир. Но когда поезд в двух перегонах от Шкотова подвергся обстрелу, Алеша решил слезть в Шкотове и дойти до ближайшего отряда: он хотел перед встречей с Петром Сурковым сам ознакомиться с тем, что делается в повстанческих районах.

И действительно — за те несколько дней, пока он добрался до Скобеевки, он прошел целый университет партизанской борьбы. Прохождение курса началось, едва он отошел от Шкотова.

— Кто идет? Задержись!..— раздался окрик из кустов впереди.

Из-за изгиба дороги выметнулось двое партизан,— они с ружьями наперевес побежали к Алеше.

— Руки до горы!

Партизаны остановились против Алеши и взяли ружья на изготовку.

Алеша, жмурясь, с удовольствием смотрел на них.

— А сверток я куда дену? — весело сказал он, указав на бумажный сверток, в который он, только что переодевшись в кустах, сложил свой инженерский костюм.

— Не разговаривай!

— Да я — свой, свой! Проведите меня до караульного начальника, я ему документ покажу.

— Оружие есть? — ощерившись, спросил партизан, стоявший впереди.

— А то нет? Кабы я чужой был, я бы давно вас обоих ухлопал,— усмехнулся Алеша.— Да ты что все на фуражку смотришь? — сказал Алеша, сообразив, что на фуражке остался след от инженерских молотков.— Ясно, что я переодетым был, когда ехал к вам...

— Обыщи его, Семенов!..

Второй партизан, русый паренек лет девятнадцати, опустив винтовку, неуверенно ступил по направлению к Алеше.

— Нет, уж извини, брат! — серьезно сказал Алеша.— Такого обычая мы не держимся — оружие сдавать. Я — рабочий из города, послан до вас большевицким комитетом...

— Много вас, рабочих, тут шляется! — тупо сказал первый партизан, ощетинив рыжие усы и собрав на лбу складки в палец толщиной.— Подумаешь — начальство с комитету!.. Обыскать! Не разговаривать!..

То, что партизаны вначале не доверяли ему, было вполне естественно и не огорчало Алешу, но последние слова партизана возмутили его.

— Ах, вот как ты рассуждаешь? — медленно сказал Алеша, раздув свои волосатые вывернутые ноздри, пронзительно глядя на партизана.— «Много, значит, их тут шляется?!» ...Рабочие, которые там в кабале сидят, к ним с чистым сердцем, а они — вон оно что! Да разве вы без рабочего класса можете какую надежду иметь? «Много их тут шляется!» ...Ежели вы меня сейчас же не проводите до караульного начальника, я не посмотрю, что вы партизаны, и так обоим в морду насую!.. Вишь, герои какие! «Много, говорит, их тут шляется!»...— не на шутку обиделся и раскричался Алеша.

— Сведем его до караульного, что ли?..— Русый паренек, не решаясь подойти к Алеше, робко взглянул на своего товарища.

— Ступай вперед! — сурово сказал Алеше первый партизан.— Коли побежишь, пулю получишь!

— Ты смотри не побеги,— уже посмеиваясь, сказал Алеша.

Сопровождаемый партизанами, он был приведен на хуторок под осиновой рощей. Предъявив караульному начальнику документ, который Алеша выпорол из брючной подкладки, и вволю поучив начальника, Алеша, в сопровождении того же недоверчивого партизана с рыжими усами, выехал на двуколке в село Майхе, где стоял штаб командира Бредюка.

Партизан был сердит на Алешу и вымещал злобу на лошадке, но Алеша, поглядывая на вздувшиеся паром темные поля, на лимонную полоску заката над дальними сиреневыми горами, вдыхая влажные ароматы, весело насвистывал всю дорогу.

В село они въехали, когда уже зажглись огни в избах. Еще издали донеслись звуки многочисленных гармоник, разноголосого пенья. Село представляло собой вооруженный лагерь. На улицах и во дворах горели костры, освещавшие лица и патронташи; мужики верхами возвращались с поля, волоча плуги и опрокинутые бороны; рев гармоник и пение смешивались с мычаньем коров, лаем собак, криками ребятишек.

Навстречу попалась группа пьяных партизан: один в распахнутом пиджаке играл на гармонике, трое, обнявшись и заплетаясь ногами, пели несогласным хором.

«Н-да, крестьянская республика»,— подумал Алеша.

— Тут сам пройдешь, а то не проедем,— хмуро сказал партизан, указав кнутом на большую пятистенную избу с освещенными занавешенными окнами; вся улица перед избой была забита партизанами, сидевшими и лежавшими вокруг костров. Над крыльцом свисало темное полотнище.

Алеша спрыгнул с двуколки и взял под мышку сверток.

— Ты вот что, ты в бутылку не лезь,— сказал он партизану.— Насчет морды это я ведь так сказал. Бить морду за несознательность — это, брат, безобразие, и я бы этого не сделал. А сказал я это к тому, чтобы ты рабочих не оскорблял. К рабочим ты должен относиться, как к старшим товарищам своим. Понял?.. Твоя фамилия-то как?

— Снетков Павел...— несколько растерявшись, сказал партизан.

— Так-то вот, Снетков Павел. Понял теперь? Ну, прощай...

И Алеша торопливо сунул ему свою плотную ручку, которую тот с внезапной готовностью пожал.

II

На крыльце Алешу задержал дневальный.

— К Бредюку?.. Из города?.. Обожди маленько.

Через некоторое время дневальный вернулся.

— Пройди, что ли. Они на второй половине,— сказал он с лукавой улыбкой.

С чувством некоторого почтительного стеснения вошел Алеша в горницу к легендарному Бредюку. В горнице, вокруг стола, передвинутого от образов к двуспальной кровати, сидело в разнообразных позах человек пять командиров,— все они повернулись к Алеше. По красным их лицам, острой закуске на столе и запотевшим стаканам Алеша понял, что люди эти только что выпивали, а по случаю его прихода спрятали бутылки под стол или под кровать,— в другое время Алеша Маленький сам был не дурак выпить и знал, как делаются такие штуки.

— Товарищ Бредюк кто будет? — спросил он, притворившись, будто ничего не заметил.

На кровати сидел, обложенный со всех сторон пуховыми подушками, небольшого роста плотный человек в нижней рубашке, из расстегнутого ворота которой выглядывало необыкновенно нежное, белое тело.

— Бредюк я буду,— сказал он сильно простуженным голосом.

Алеша с плохо скрытым удивлением задержал на нем свои ежовые глазки. На голове у человека, назвавшего себя Бредюком, была темная засаленная кепка, надвинутая на лоб,— огонек лампы мешал рассмотреть выражение его глаз,— светлые, лихо закрученные усы выделялись на его широком красном лице.

— Вы, значица, из города? Так... Вот уже и из города к нам приехали! — сказал Бредюк с чуть заметной издевкой в голосе и повел усами.

Вокруг почтительно заулыбались, кто-то сдержанно кашлянул.

«Вот так гусь!» — все более изумляясь, подумал Алеша.

— А кто же именно вы будете? — после некоторого молчания спросил Бредюк.

— Зовут меня — Алексей Чуркин.

— А, Чуркин! — многозначительно сказал Бредюк.— Никогда не слыхивал... И зачем же вы пожаловали?

Алеша понял, что пришло время спасать не только личную свою честь.

— Подержи-ка сверточек,— вспыхнув глазками, сказал он и с неожиданным раздражением сунул сверток на колени сидящего с краю потного командира в тулупчике.— Это твоя вилка-то? Подвинь-ка селедочку!.. У нас, видишь ли, товарищ Бредюк, такой обычай: сначала человека с дороги накормить, а потом расспрашивать.

И Алеша Маленький яростно вонзил вилку во что-то ржавое и розовое.

Водворилась изумленная тишина. Сидящий с краю потный командир в тулупчике, держа обеими руками сверток, глупо смотрел на Алешу. Остальные косились на Бредюка.

— А ты сыми сверток, дурак, и уступи табурет товарищу! — простуженно сказал Бредюк.

— Парень-то свой, видать,— неуверенно сказал кто-то из командиров.

— Ты, может, выпьешь с устатку? — просипел Бредюк.

— Нет, уж воздержусь.— Алеша подавил вздох сожаления.— Да... Так приехал я от большевицкого комитета для связи,— сказал он, усаживаясь на подставленную ему табуретку, вылавливая вилкой ускользающий грибок,— для связи, для помощи...

— Ага, все-таки думает, значица, о нас большевицкий комитет! — льстиво просипел Бредюк.

«Гусь, это гусь»,— снова подумал Алеша Маленький.

— Как дела у вас?

— Дела, вашими молитвами, ничего... Вот думаем на Шкотово наступать, силы стягиваем... Урминские-то пришли? — спросил Бредюк одного из командиров.

— С полчаса как прибыли...

— Это из-под станции Урмино?..— Алеша пристально посмотрел на синенькую миску возле Бредюка.— Это не они обстреляли поезд сегодня?

— Должно, они... А что, побеспокоили малость?

— Посунь-ка вон ту мисочку,— сказал Алеша.— Курочка, что ли? Видать, не голодаете... Железную дорогу вы, стало быть, оголяете?

— Приходится.

— Так... Дорожка для эшелонов открытая,— беззлобно констатировал Алеша.— И вы, стало быть, думаете Шкотово за собой удержать?

— Вот, значица, представитель большевицкого комитету уже поучит нас, как воевать,— с деланной покорностью сказал Бредюк и повел усами.— Спасибо большевицкому комитету! Да ведь нам, милость ваша, только бы в Шкотове оружьишка, одежонки разжиться, а там мы снова на линию пойдем...

«Гусь и сукин сын,— окончательно решил Алеша Маленький, обгладывая крылышко,— а на Шкотово идут, должно быть, по глупому плану ревкома...»

— С ревкомом связь есть у вас?

— Есть связь... Он хоть нам и не нужен, ревком, а связи как не быть!.. Вот и инструктор от ревкому к нам приехал. Познакомься, Христя!

Алеша так и пронзил глазками сидящего через стол, заискивающе улыбнувшегося ему молодого человека в тужурке с блестящими пуговицами.

«Хорош представитель ревкома, который ни разу не вмешался, когда они меня тут допрашивали! И пьян, как стелька...»

— Давно ты из ревкома?

— Два дня. Приехал выборы на съезд проводить,— ответил инструктор, глядя на Алешу белыми и лживыми глазами навыкате.

— Какой съезд?

— В июне съезд областной созываем.

— Так... Об этом новшестве мы еще не слыхивали. Уже, стало быть, и съезд созываете? Что ж, самое время,— беззлобно согласился Алеша Маленький.— Подготовка, стало быть, солидная? Съезд в июне, а вы сейчас уже готовитесь?

— Как же... на завтра назначено собрание в селе.

— Очень интересно. Полевые работы, конечно, могут и подождать, раз такое важное дело! Придется сходить на это ваше собрание.

— Коли вы интересуетесь, я могу вас ознакомить со всеми матерьялами, они у меня на квартире,— лебезил инструктор.— Можно у меня и переночевать.

— Прекрасно... Очень прекрасно...

Алеша с ненавистью смотрел на узенький, прыщавый лоб инструктора. «Поэт он, что ли?» — подумал Алеша: светло-русые, полные перхоти волосы инструктора были зачесаны назад и напущены на уши.

— А что, милость ваша,— начал Бредюк своим простуженным голосом,— не чувствуем мы, крестьянство и трудовое казачество, как мы все здесь сообща поднялись и геройски бьемся за свободу, чтобы рабочие в городах поднялись вместе с нами против золотопогонников. Не слыхать у нас, чтобы и в городе восстания были. Почему это? — спросил он и победительно зашевелил усами.

— Кто же это у вас такие слухи распространяет? — сказал Алеша, оторвавшись от еды и обводя взглядом всех сидящих за столом командиров.— Это — неправда. Рабочие ведут большую подготовку к восстанию, рабочие бьются и умирают везде и повседневно. Десятки и сотни добровольцев идут в партизанские отряды, об этом вы должны знать лучше меня. С железнодорожниками, я думаю, вы тоже связаны и знаете, что они помогают вам. Многие из наших лучших большевиков руководят отрядами. Стало быть, это неправда. Такой слух на руку золотопогонникам. Несознательным это надо разъяснить, а сознательно распускающих такой слух — к стенке ставить. Я не верю, чтобы крестьянство и трудовое казачество так думало...

— Вам, конечно, виднее,— с деланной покорностью сказал Бредюк,— а говорят в народе. Народ от Бредюка ничего не таит, потому они знают, что Бредюк завсегда с ими, а они с Бредюком. Об этом кажный подтвердит,— напыжившись, сказал Бредюк.

— Правильно!..

— Командир заслуженный...

— Еще на уссурийском вместях кровь проливали! — заволновались командиры.

— Я этого не отымаю,— улыбнулся Алеша.— Вместе боролись до сих пор и дальше вместе будем. Правильно, товарищ инструктор?

Инструктор заискивающе улыбнулся и осторожно посмотрел на Бредюка, и Алеша понял, что инструктор очень боится Бредюка.

— Ну, веди, показывай свои матерьялы,— презрительно сказал Алеша.

Теплая, полная весенних шорохов и копошений ночь раскинулась над селом, звуки гармони доносились издалека, парочки ворковали под плетнем. Высоко под звездами невидимые летели журавли... «Курлы... Курлы...» — кричали они.

«Так вот с кем и из кого они думают строить свою крестьянскую республику!» — взволнованно думал Алеша, шагая рядом с инструктором по улице, заставленной возами и заваленной спящими у костров людьми.

III

Он проснулся от петушиного хрипа под самым оконцем,— проснулся в настроении довольно мрачноватом. В избе было, должно быть, сыро — подушка, перина, одеяло полны были тяжеловатой влажности,— все тело у Алеши разламывало: Алеша страдал от приобретенного на паровозе ревматизма.

Инструктор спал на полу, на соломе, накрывшись с головой одеялом, похрапывая. Солнце только что выглянуло расплавленным краем из-за поросшего пихтой отрога, надвинувшегося на самое село,— под отрогом, должно быть, над рекой, как розовые белила, лежали полосы тумана. Ослепительно сиял лемех во дворе, на полынях искрилась роса.

Алеша осторожно, чтобы не разбудить инструктора, стал натягивать сапоги. В соседнюю половину избы кто-то вошел со двора.

— Спит? — спросил мужской голос.

— Должно, спят еще,— ответил голос хозяйки.

Алеша в одном сапоге, другой держа в руке, быстро проковылял к двери и высунул свою заспанную в темно-русом ежике головку:

— Что надо?

Стоявший у выходных дверей крестьянин с валяной бородой уважительно, но с достоинством снял шапку, обнаружив на лбу под волосами круглую, желтоватую шишку величиной с только что вылупившегося цыпленка.

— Инструктор с ревкому тут стоит, так велел разбудить пораньше: седни с утра сход у нас...

— А сам он рано не привык вставать? — тоненько сказал Алеша.— А вы кто такой будете?

— Я — председатель местный.

— Эй, инструктор! — крикнул Алеша, оборачиваясь.

— Что?! Что?! — воскликнул тот, садясь и испуганно хватая рукой под подушкой.

— Стрелять пока некого, а вот как это ты сход назначаешь, а спишь, как барин? — сказал Алеша, чувствуя неудержимое желание пустить в него сапогом.

— Я сейчас...

Инструктор быстро стал одеваться.

— Пройди сюда, товарищ,— сказал Алеша председателю,— садись...

Председатель сел на скамью, положив руки на колени.

— Вот ты, стало быть, председатель, самый главный человек в селе,— начал Алеша, натягивая сапог,— а согласился сход созывать в будний день, когда самый разгар работы...

— Оно верно,— улыбнулся председатель,— да ведь оно у нас теперь все смешалось, и мы за этим не следим и праздников не соблюдаем. Боев нет — на поле идем, бои идут — в погреб залезаем да сидим... А вы, случаем, не тот товарищ, что, сказывают, из городу приехал?

— Он самый.

— От большевицкого комитету?

— Вот-вот...

— Я гляжу, что не тот,— со смущенной улыбкой сказал председатель.— Я думал, не тот ли приехал, с кем я в городу видался. Дивный человек! Когда у нас тут восстание зачалось,— еще и Бредюка не было, ни других каких командиров, одни мы мужики,— послали меня ходоком в город...

— А восстание с чего у вас началось? — перебил Алеша.

— Да как везде,— удивился председатель.— Объявили набор в солдаты, мужики отказались. Не было нам расчету воевать! Хорошего от власти не видим, обращение хуже еще, как при старом режиме, деньги дешевые, товару нет. Ну, пришли кадеты, стали силом брать,— молодые ребята в сопки. Стали тогда родителев мучить. Да как мучить! Поверишь, раскалили шомпол докрасна да одному старику в то место, откуль ноги растут. Ясно, народ не стерпел... Вот и послали меня в город: «Проберись, говорят, найди большевицкий комитет, скажи, мол, что поднялись, как один, а что и как действовать, не знаем. Еще скажи, мол, очень мы, мужики, свою ошибку сознаем, что, когда белые выступили, не поддержали мы вас, рабочих. Очень мы за это каемся, просим не судить нас и поддержать нас...» Ну, ведь легко сказать — найди большевицкий комитет при белой-то власти! Адресу никакого, у первого попавшего не спросишь... Целую неделю, поверишь, я по скаженному этому городу ходил взад-вперед, взад-вперед. Прикорну где на ступеньке или под забором и снова хожу. Еще ведь морозы были,— сказал председатель, и все его кирпичное, иссеченное морщинами лицо засветилось,— почти и не ел ничего... «Ну, думаю, Кузьма Фомич, ежели ты на отчаянный шаг не решишься, не найти тебе большевицкого комитету, пропало ваше восстание!» Да... Пошел я тогда на пристань, где, значит, пароходы грузят. Думаю, присмотрюсь к какой грузчицкой артели, выберу хорошего парня по обличью и все ему скажу, а там — пан или пропал. Так и сделал. Ну, грузила там одна артель муку с парохода в вагоны. Присмотрелся я к ним со стороны,— часа три я возле них ходил да смотрел. Когда пригляделся к одному горбоносенькому,— еврейчик, должно,— и вот чем он меня завлек: вижу я, что в артели он не старшой, одет, как все, а лицо и руки у него вроде не такие грубые, как у других. А главное — вижу, что, когда у них меняются, кому с парохода до вагона кули носить, а кому в вагон подавать, всегда они его так ставят, чтобы ему в вагон подавать: полегче, значит,— вроде оберегают его... Когда они зашабашили, пошли все в столовку. Его, вроде невзначай, окружили человек шесть, чтобы, значит, в глаза не кидался, и тоже пошли. Я, как в кутку сидел, выскочил, да прямо к ним, да его за рукав: «Позволь-

те вас на минутку, поговорить!» Он аж дрогнул и на меня — так строго. Тут все на меня затюкали, один даже в плечо толканул, а другой давай его, еврейчика этого, оттирать. Ну, тут, хочешь — поверишь, хочешь — нет, товарищ дорогой, а не сдержался я и заплакал. Да ведь измучился весь! «Товарищи, говорю, грузчики! Мужик я, говорю, с Майхенского села, дозвольте мне с этим товарищем о кровном нашем дельце поговорить!..» Тут уж и он: «Обождите, говорит, товарищи...» Отошли мы с ним в сторонку. Я ему так и бряк.— И как раз попал! — радостно воскликнул председатель.

Алеша почувствовал, что желтоватая шишка и валяная борода председателя подозрительно теряют свои очертания, и отвернулся.

— Как раз он из комитету и оказался! — радостно кричал председатель.— Видишь, счастье какое? Тут уж у меня дело на мазь пошло. Научил он меня всему, тайный адрес дал на случай, если опять в город придется, и свел меня с одним кочегаром на паровозе,— он, говорит, вам оружие доставит. И, правда, оружие доставили. Ну, только уж теперь умней меня командиры есть, и я этими делами не займаюсь. А двое сынов моих воюют... Очень мне запомнился тот еврейчик. Я вот все думал, не он ли приехал,— с улыбкой закончил председатель.

— Нет, товарищ этот теперь арестован,— сказал Алеша.

— Арестован?! — воскликнул председатель. На лице его изобразилось такое огорчение, точно речь шла о его сыне.

— Ка-ких людей заметают! — сказал он, словно бы не веря.— Да ладно, отольется им...

— А как же вот некоторые у вас в селе говорят, будто нет никакой помощи от рабочих? — лукаво спросил Алеша.

— Кто может так говорить? — взволновался председатель.— Враг или темный человек. Никогда я этому не поверю...

— Вот и я тоже,— весело сказал Алеша.— Бредюком вы как — довольны?

— Бредюком?..— председатель подумал.— Что ж, горяч он, дюже горяч, а ить любим мы его за геройство: жизни он своей не жалеет...

— А имя, отчество его как?

— Андрей Осипович.

— Очень великолепно! — сказал повеселевший Алеша.

Когда председатель ушел, Алеша некоторое время, насвистывая, наблюдал за инструктором: инструктор перед зеркальцем старательно выделывал прическу.

— Как твоя фамилия? — неожиданно спросил Алеша.

— Что? — инструктор обернулся.— Бледный, Хрисанф Хрисанфович...

— Ты стихов, случаем, не пишешь?

— Как вы узнали? — засмущался инструктор.— Раньше, действительно, писал, а сейчас нет времени заниматься. Разве когда в партизанскую нашу газету.

— А ну, прочти что-нибудь...

— То есть — как? Сейчас прочесть? Да я, пожалуй, наизусть не помню...

— Прочти, прочти...

— Ну, что вы!

— Читай, читай...

Они стояли друг против друга — Хрисанф Хрисанфович Бледный в тужурке с металлическими пуговицами, с зачесанными назад и напущенными на уши мокрыми светлыми волосами, держа в руке расческу, и Алеша Маленький в грязной нижней рубашке и черных, заправленных в сапоги брюках, упершись в бока руками и скосив головку.

— Ну, вот, например,— конфузясь, сказал инструктор:

Вперед, борцы, за святую свободу,
Вы с доблестной честью ее сберегли,
Вы бич для врагов трудового народа,
Смутились буржуи и короли.
Веет над вами красное знамя,
Антанта вас хочет замучить в петле,
В сердце горит революционное пламя,
Такой энтузиазм не бывал на земле.
Отвсюду ползут смертоносные гады,
Дышит буржуй, как кровавый дракон,
Он защищает дворцы и палаты —
Он мнит водрузить монархизма закон.
Вперед же, орлы, борцы за свободу!
Вперед, через горы, тайгу и моря!
За вами идут трудовые народы,
И всюду горит коммунизма заря.

Алеша некоторое время, скосив головку, смотрел одним глазом в пол, как петух на зерно.

— Ну, пойдем завтракать,— сказал он тоненьким голоском.

IV

Вся улица перед зданием школы была запружена народом, белели рубахи мужиков и платки женщин. Некоторые из мужиков, рассчитывая сразу после митинга ехать в поле, сидели на возах или верхами. В толпе немало было и вооруженных, с красными лентами на шапках, партизан, пришедших послушать делегата из города.

За столиком, вынесенным на крыльцо, сидели сельский председатель Кузьма Фомич, Алеша и Бредюк. Инструктор, держась рукой за крылечный столбик, а в другой держа фуражку, натужно крича и встряхивая светлыми волосами, докладывал о съезде:

— ...Беззаветно проливая свою кровь... не щадя сил... мы скажем акулам-интервентам... в очищенных от белогвардейцев районах... воля трудящихся масс...— кричал инструктор.

Край кумачового полотнища колыхался перед столиком. Белые солнечные облачка плыли в ясном небе. Жаворонки, журча, взвивались над холмистыми полями за избами, и далеко-далеко, то исчезая в солнечном сверканье, то появляясь вновь, парил ястреб.

Бредюк, в защитном френче, перетянутом ремнями, с висящим сбоку маузером, сидел рядом с Алешей, важный и неподвижный, как истуканчик. Та же засаленная кепка, с которой Бредюк, похоже, не расставался и во сне, была надвинута на лоб, но сегодня Алеша уже хорошо рассмотрел его глаза,— глаза были пронзительные и желтые.

— ...Идя от победы к победе... сбросили в море врага... пришло время самим ковать свою судьбу...— кричал инструктор.

«Вот именно, что не пришло, а надо еще биться, и много биться за это»,— неодобрительно подумал Алеша.

Но вид вооруженного народа, серьезные и внимательные лица женщин, золотистые головы ребятишек,

край кумачового флага, полыхавший перед глазами, все больше веселили и радовали Алешу, и он все более задорно и бойко поглядывал вокруг своими ежовыми глазками.

— А теперь, товарищи дорогие,— медленно вставая и снимая шапку, сказал Кузьма Фомич, когда инструктор кончил и отгремели дружные хлопки,— а теперь, товарищи дорогие, дадим слово прибывшему вчерась делегату нашего большевицкого комитету, которые там в белых подпольях и вражеских застенках...

Ему не дали кончить,—бешеные хлопки и крики приветствовали Алешу. И, словно несомый ими, он очутился на краю крыльца перед волнующейся рябью смеющихся загорелых лиц.

— Скажу «ура» большевицкому комитету! — выдохнул Кузьма Фомич и махнул шапкой.

Народ слитно подхватил его крик,— стайки воробьев с шумом взвились из-под крыш и замельтешили над толпой.

— Товарищи! — тоненько начал Алеша Маленький, весело глядя на бессмысленно хлопающего в ладошки, сияющего ребенка на руках у женщины на возу.— Товарищи! Дозвольте с первых слов передать вам, трудящимся крестьянам, красным повстанцам, гордости и силе нашей, братский привет от всех рабочих и от нашего подпольного комитета партии большевиков...

Снова взвилась стайка угомонившихся было воробьев, и снова долго не умолкали крики и рукоплескания толпы.

И, отдаваясь этой волне, словно бы убыстряя ход, но в то же время не спуская с рычага своей плотной, уверенной ручки, Алеша Маленький начал докладывать, все больше и больше овладевая вниманием толпы. Через некоторое время только щебет птиц, всплески кумачового полотнища над крыльцом да тонкий, веселый и страстный голосок Алеши звучали над притихшей толпой.

Пока он рассказывал о международном положении, силах интервенции, передвижках на фронте, настроении рабочих и состоянии их организаций, он держался на том внутреннем пафосе, который вызвала в нем оказанная ему встреча. Но когда он перешел к характеристике внутреннего состояния враждебного лагеря, он точно

пересел на любимого железного конька, и на протяжении этой части его речи веселый гогот, не переставая, прокатывался по толпе.

— Возьмем, к примеру, денежную реформу,— тоненько рассказывал Алеша.— Выпустили новые деньги. Известно, однако, что золото наше, добытое народным потом, идет в карман иностранным буржуям за оружие и продовольствие, а станок — ему что? — станок работает денно и нощно — бумажки выпускает. Ясно, что деньги эти скоро на подтирку пойдут, благо и бумага подходящая...

Это замечание вызвало большое оживление среди мужиков.

— Пущай уж ими буржуи подтираются, мы и лопушком обойдемся! — выкрикнул кто-то. И снова хохоток прошел по толпе.

Алеша не преминул даже рассказать о железнодорожной даме, с которой он ехал в поезде. Свои разговоры с дамой Алеша изобразил в лицах, а когда он описал, как во время обстрела дама упала в обморок и нюхала потом нашатырный спирт, неумолкающий хохот стоял в толпе, даже Бредюк смеялся, а Кузьма Фомич и вовсе лег на стол.

Рассказывая о все растущих продовольственных затруднениях из-за прекращения подвоза из деревень, Алеша вспомнил и о купленных им на станции Угольной слоеных пирожках. Пирожки эти стоили в былые времена в первом и втором классе десять копеек, а в третьем пять, а паровозным машинистам они обходились со скидкой в четыре копейки. А теперь их в третьем классе совсем нет, а в первом стоят они рубль, а мука черновата, а вместо мяса — печенка.

— Ясно, что без хлеба в первую голову страдает рабочее население,— говорил Алеша,— но рабочие просили меня передать, что мы за это на вас, мужиков, не в обиде и не просим вас, чтобы вы сейчас в город хлеб везли. Мы будем хлеб с буржуев требовать, а не дадут — будем силой брать... Мы люди простые, пышно говорить не умеем и зряшных обещаний не даем, но мы согласны лучше голодать, лишь бы вы, красные повстанцы, не сложили оружия, лишь бы сбросить проклятую власть...

Взрыв аплодисментов покрыл эти слова Алеши. Кузьма Фомич, словно невзначай, провел по глазам пальцем.

Тут Алеша сказал о том, что злостные шептуны стараются посеять рознь между рабочими и крестьянами, и привел вчерашние слова Бредюка. Но самого Бредюка Алеша не назвал, а из той внутренней коробочки, в которой Алеша хранил сотни имен и фамилий, вытащил Павла Снеткова и подробно рассказал собранию о встрече, оказанной ему Павлом Снетковым. Когда он почувствовал, что слушатели достаточно осудили Павла Снеткова и огорчились, что среди них имеются такие недостойные товарищи, Алеша разъяснил, что в поведении Павла Снеткова виновата его несознательность, и похвалил Павла Снеткова за то, что он храбро и честно стоял на посту, и всем стало видно, что Павел Снетков вовсе не плохой парень, а во всем виноваты враги, которые могут опутать всякого, если не будет тесной дружбы с рабочими.

Найдя, что он достаточно поднял настроение, Алеша решил осторожно, не дискредитируя ревкома, подготовить почву к возможной перемене линии ревкома. Вернувшись к вопросу об интервенции, Алеша сказал, что борьба может затянуться, и рекомендовал не увлекаться внутренним устройством — земельными, базарными, административными делами, которые без победы в городах нельзя закрепить, не увлекаться съездами и собраниями, а все силы отдавать вооруженной борьбе.

— Среди вас находится доблестный партизан, гроза белых Андрей Осипович Бредюк,— весело поблескивая глазками, с невыносимым пафосом сказал Алеша Маленький.— Областной комитет ценит его военный опыт и боевые заслуги и приветствует его!..

Бредюк надулся от удовольствия и зашевелил усами. Собрание захлопало.

— Андрей Осипович как старый боец может подтвердить мнение областного комитета: нельзя оголять линию железной дороги. И надо держаться мелкими отрядами. Если большая сила белых разгромит большой отряд, собрать снова трудно будет, а мелкие отряды не поймаешь. Правильно, Андрей Осипович?

— Это дело ясное,— важно просипел Бредюк.

Но как ни осторожен был Алеша, он все же чувст-

вовал, что вся последняя часть его речи пошла вразрез с настроением собрания и вызвала кое-где движение и сдержанный говорок.

Когда Алеша кончил и смолкли хлопки, посыпались многочисленные вопросы: «Можно или нельзя в очищенных селах землю переделять?», «Что делать, если лавочники лавки закрывают?», «Ежели задержится подмога из России, неужто не хватит сил города одолеть?», «Как быть с ценой на продукты и товары, ежели каждый как хотит, так и устанавливает?», «Есть ли у большевицкого комитету полная данная, что другие державы, скажем — Япония, большой силой проть нас пойдут?»

— Вот-вот! — поддержал этот вопрос Кузьма Фомич.—И собственное это ваше расположение или же весь большевицкий комитет так располагает?

Все эти вопросы по тому, как они были выражены, шли как возражения областному комитету, но это были живые голоса жизни, и Алеша внимательно прислушивался к ним.

В ответах на вопросы Алеша постарался сгладить неблагоприятное впечатление от последней части его речи. Он сделал это не из боязни дать прямые ответы,— такая боязнь чужда была Алеше,— а оттого, что не считал себя вправе, до переговоров с Сурковым, показать, что у областного комитета разногласия с ревкомом. На вопрос о переделе земли он дал утвердительный ответ, оговорив, что это должны делать сами села по своему усмотрению, а лавочников, которые имеют товары, предложил описать и товары раздать семьям партизан из бедняков.

Но чего не мог дать Алеша — это лозунга близкой победы, победы назавтра, того лозунга, который жил в сердцах этих людей и воодушевлял их, лозунга, которым, как считал Алеша, подымал их на борьбу ревком и которого они ждали от представителя комитета большевиков. И по дальнейшим выступлениям отдельных партизан и мужиков Алеша чувствовал, что неудовлетворенность осталась. А один моложавый и очень толковый мужик даже так закончил свою речь:

— ...Словами товарища из большевицкого комитету очень мы довольны, но только насчет наших дел, выходит, он нас вроде расхолаживает...

V

— А теперь, товарищи дорогие,— торжественно возгласил Кузьма Фомич,— дадим слово нашему дорогому командиру, товарищу Бредюку...

Бредюк, одернув френч и поправив маузер, стремительно вышел наперед крыльца,— толпа бушевала, приветствуя его.

«Н-да, ежели этот на меня напустится, дело дрянь»,— тревожно подумал Алеша, хлопая Бредюку.

Но Бредюк, взмахнув руками, точно он собирался плыть вразмашку, начал страшно сипеть своим простуженным голосом что-то невразумительное. Не только чего-либо враждебного областному комитету, но вообще никакого смысла нельзя было уловить в его словах.

— Я... Мы с вами!.. Вы со мной!.. Товарищи бойцы!.. Я... До капли крови!..— сипел Бредюк.

Его натуженное, красное лицо все больше наливалось кровью, капли жирного пота текли по лицу его. Он сорвал кепку, потом сильным рывком оборвал пуговицы на вороте френча. Все собрание, раскрыв рты, смотрело на него горящими глазами, как заколдованное.

Когда он кончил, его проводили бурей восторга.

«Да ты, оказывается, дурачок!» — посмеивался Алеша Маленький, неистово хлопая Бредюку.

После заключительного слова Алеши и разъяснений инструктора о норме и порядке выборов стали выкликать кандидатов:

— Фомича!..

— Гордеева!..

— Снытку Ивана!..

— Фомича!..

Бредюк вдруг поднялся из-за стола и, прикрыв глаза от солнца, стал пристально смотреть вдаль. Собрание смолкло и заколыхалось.

По вьющейся в кустах дороге, со стороны Шкотова скакал всадник. Скрывшись в ложбине под селом, он показался снова в дальнем конце улицы. Когда он подскакал к собранию, толпа раздалась, и всадник, обливаясь пóтом, у самого крыльца осадил взмыленную лошадь, весь откинувшись назад. Толпа прихлынула к крыльцу.

— Со Шкотова выступили колчаки, товарищ командир!— запыхавшись, сказал всадник.— Не боле роты.

Однако пулеметов штуки четыре... Вот-вот к хутору подойдут!..

Бредюк выпрямился.

— Бойцы! — просипел он.— По ротам! Строиться!.. Придется покинуть собрание ваше, товарищи дорогие,— сказал он с деревянной усмешкой.— Шурка! Коня моего!

Партизаны, женщины, дети, расталкивая толпу, побежали с собрания. Во дворах и на улицах возникло стремительное движение. Выводили коней. Закрывали ставни.

Бредюку принесли драгунку и патронташ и привели храпящего и бьющего копытами небольшого конька рыжей масти. Бредюк, закинув драгунку за спину, вскочил в седло, и конек, урося задом, грызя мундштуки и разбрасывая хлопья пены, боком вынес Бредюка к строящимся неподалеку ротам.

— Будем продолжать собрание наше,— сказал Кузьма Фомич.— Какие еще кандидаты будут?..

Алеша, наблюдавший с крыльца за строящимися ротами, замечал, что порядка не было. Долго стояла толчея, партизаны плохо слушались команды. Одни уже копошились в рядах, другие еще бежали со дворов. Вдогонку за одним, крича, бежала баба, держа в вытянутой руке патронташ, который тот, очевидно, забыл. Знакомый Алеше командир в тулупчике, забыв про роту, ругался с правофланговым, потом ударил его кулаком по шее.

Роты еще не все построились, когда со стороны не видного из-за осиновой рощи на холме хуторка послышался залп, за ним другой. Посыпалась частая ружейная дробь, которую пронизал далекий, неумолкающий токот пулеметов. Сторожевое охранение встретило противника.

Конный взвод во главе с Бредюком карьером помчался из села по дороге к хутору. Сначала одна, потом другая пешие роты, сбиваясь со строя, побежали в ту же сторону и через некоторое время скрылись в роще. Остальные роты спустились в лощину за селом. Стрельба у хутора участилась, но никто уже не уходил с собрания,— здесь привыкли к таким делам, да и противник был малочислен.

Только когда проголосовали последнего кандидата, собрание начало расходиться.

Стрельба постепенно стала отдаляться,— должно быть, партизаны отогнали противника. Пока Алеше подседлали коня и объяснили дорогу на Скобеевку, роты, бывшие в лощине в резерве, уже возвращались с песнями в село, а мужики выезжали на поле.

Меняя в селах лошадей, неумело трясясь и отбив себе весь зад, Алеша сделал верхом всего около полутораста верст по лесам и перевалам и под вечер другого дня прибыл в деревню Хмельницкую, где и встретился с Леной.

VI

Чуть-чуть светало, когда хмельницкий председатель, в избе которого ночевал Алеша, разбудил его:

— Пришли за вами.

— Вставай, хозяин,— раздался из темноты с порога спокойный и внушительный голос мужика, с которым Алеша договорился накануне о подводе,— я уже и лошадь запрёг.

— А, это ты, Казанок! — сказал Алеша, сразу вспомнив фамилию мужика, и сел на кровати, протирая кулаками глаза.

Когда, позавтракав, они шли за Леной по куржавой от росы улице, навстречу им попалось странное шествие.

На двуколке военного образца, в которую запряжен был гладкий коричневой шерсти мул, ехало двое военных американцев в защитном, один — в форме лейтенанта, другой — рядового. К двуколке спереди был прикреплен белый флажок. Рядом с двуколкой шагал партизан в лаптях и заячьей шапке, держа берданку наперевес.

— Это кто такие?..

Алеша остановился. Казанок, отойдя в сторонку, хмуро смотрел на американцев.

Партизан, схватив мула под уздцы, задержал двуколку и повернул к Алеше возбужденно сияющее лицо.

— Понимаешь, приехали,— сказал он, удивляясь и радуясь,— говорят, штаб им нужон, на переговоры, дескать... Я еще сдалека услыхал, как они тарахтят. Когда, гляжу, выезжают с кустов. Я — «стой!..» Они пов-

скакали, замахали руками и то на флачок указывают, то на пояса себе — оружия, мол, нету — и кричат, слыхать, по-русски, а не разберешь. Я гляжу, раз дело такое — в атаку на них!.. Допросил,— этот здорово по-русски говорит,— партизан указал на лейтенанта, который со сдержанным волнением и достоинством смотрел на Алешу твердыми карими глазами,— посланы, говорит, до вашего штабу на переговоры. Оружия, действительно, нету. Сейчас я их до председателя веду.

— Вы говорите по-русски? — спросил Алеша лейтенанта.

— О, да,— сдержанно ответил тот.

— А кто вас послал?

Лейтенант замялся.

— Я имею полномочия сказать об этом в штабе.

— Что ж, веди их к председателю,— сказал Алеша, с улыбкой взглянув на белокурого американского солдата, который, держась обеими руками за края двуколки, с мальчишеским страхом и любопытством оглядывался вокруг.

«Вот так штука! Американцы для переговоров с партизанами!..» — подумал Алеша.

Когда они вместе с Леной шли к избе, где поджидала их подвода, двуколка с белым флажком и двумя американцами снова попалась им навстречу. Парень в заячьей шапке сидел впереди, нахлестывая мула концами вожжей,— мул, вскинув голову, как верблюд, бежал рысью. За двуколкой верхом скакал сельский председатель, одетый по-дорожному, с японским карабином за плечами.

— Понимаешь, дело какое...— задержав лошадь возле Алеши, взволнованно начал председатель.

— Знаю, знаю,— отмахнулся Алеша,— сейчас и мы за вами.

— В ревкоме, стало, встретимся?

Председатель взмахнул плетью и догнал двуколку с прыгавшими в ней американцами.

VII

Дорога вилась по холмам и перелескам вдоль речки Сицы, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Сначала виден был в прибитой росой пыли след от двукол-

ки американцев, потом начал разыгрываться жаркий по-летнему день, след двуколки пропал, и дорога стала пылить.

Лена сидела спиной к Алеше, свесив ноги, вобрав голову в плечи. Изредка косясь на нее, Алеша видел ее малиновую шапочку и большую темно-русую косу.

Прошлым летом после известных выборов в Думу Соня Хлопушкина, смеясь, рассказала Алеше, как ей посчастливилось попасть в уполномоченные вместе с воспитанницей Гиммеров, дочерью врача Костенецкого, и использовать неопытность Лены во время выборов. Соня хотела, чтобы человек, с которым она жила и которого любила, знал все об ее прошлом. И поэтому, вспомнив о посещении ее Леной в детстве и о том, что получилось, когда она была приглашена Леной в дом Гиммеров, Соня не постеснялась рассказать Алеше и о том, какой она, Соня, была тогда бедной и робкой девочкой и как пренебрежительно, по-барски отнеслись к ней дети Гиммеров, и как ее не пригласили обедать, и как она обиделась тогда на это и расплакалась. Обида, нанесенная ей в детстве, уже потеряла для Сони личную остроту: Соня знала теперь вещи более важные, среди которых ее личная обида была уже одной из многих частностей. Но неприязненное отношение к Лене — как представительнице дома Гиммеров — осталось в ней и сквозило в каждом ее слове. По рассказу Сони, Лена была развращенная средой, взбалмошная, влюбленная в себя и ханжествующая барышня, и ее участие в выборах было тоже не что иное, как взбалмошность и ханжество.

Но в своих отношениях к людям Алеша редко руководствовался заранее сложившимся представлением, а больше верил собственным наблюдениям. И когда он вчера переговорил с Леной и вспомнил, как она держала себя в поезде, ему показалось, что девушка эта, пожалуй, скромна и навряд ли можно ожидать от нее чего-либо сознательно враждебного. Скорее это была одна из тех щепочек, которые в нынешнее время волны во множестве прибивают то к одному, то к другому берегу. А то, что дочь Костенецкого прибило именно к этому, а не к другому берегу, было вполне объяснимо.

Девушка была еще вдобавок и недурна собой, а Алеша, признаться, любил красивых девушек (несмотря на

свой маленький рост и ежовую головку, он был когда-то по этой части первым парнем в своем переулке), и он настроился провести дорогу в веселых и приятных разговорах.

Но он ошибся. Использовав все идеологические и более прямые житейские подходы, Алеша убедился, что девушка не склонна к разговорам, и перенес внимание на мужика.

При дневном свете мужик не производил того странного впечатления, что вчера,— мужик явно определился: крепкий, зажиточный, лет пятидесяти, мужик, замкнутый в себе, как сундук. Но его кремневое лицо в черной курчавой и жесткой, как проволока, бороде, смелый и диковатый взгляд чем-то привлекали Алешу. Алеша попытался завести с ним хозяйственно-политический разговор. Однако и мужик не порадовал Алешу: мужик отвечал скупо и неохотно.

А солнце начало припекать, а зад у Алеши после верховой езды нестерпимо болел, а каурая, сытая лошадка не торопилась, а в упряжи Алеша чувствовал какой-то неуловимый непорядок, а в нос Алеше забивалась пыль — Алеша заскучал.

Надвинулся хвойный лес, дорога пошла вдоль самой реки по каменистому ложу. Река врезалась в горный отрог, покрылась пеной и запестрела мшистыми валунами. Открылось узкое темноватое ущелье,— такие в здешних местах зовут «щеками». Стук колес заглушался шумом реки. Скалы громоздились с боков в немыслимую высоту, зияли мокрые темные пещеры, солнечная пушистая елочка росла под самым голубым небом на каменистой площадке. На поворотах солнечный луч проскальзывал в ущелье, посверкивали кварцы, гипсы,— Алеше чудился блеск металла.

— Послушай,— сказал Алеша,— тебе неизвестно, не находили ли тут камней, вроде тетюхинских, с рудою?

— Их никто тут и не искал,— хмуро ответил мужик.

— Нет, искать — искали! — воодушевился Алеша.— Искали при царской еще власти. Согласно ихних данных — большая тут где-то залежь медной и цинковой руды, залежь на весь мир, миллионы и миллионы тонн. Только по ихнему заключению процент меди и цинка тут такой малый, что нет выгоды разрабатывать,— язвительно подчеркнул Алеша.— Оно и понятно: они,

видишь, исходили из своего буржуйского копеечного размаха. Им бы, чтоб кучно лежало, да на поверхности, да богатый процент, да чтобы без затраты средств быстренько выкачать, да денежки в карман положить... А между прочим, при таком счастливом обстоятельстве, что рядом лежат неслыханные запасы угля и руды, тут можно было б денег не пожалеть — какую-нибудь сотню-другую мильончиков выбросить,— небрежно сказал Алеша,— и построить заводы такого размаха, что эта самая руда оправдала бы себя, не глядя на малый процент меди и цинка... А им бы только урвать да нажиться,— вот они как работали, хозяева наши!

Мужик вышел из своей каменной задумчивости,— глаза его зажглись умным блеском.

— Да... работали плохо,— сказал он медленно и тяжко,— а будет ли лучше — неизвестно. Лучшего пока не видать,— сказал мужик, подхлестнув лошадь вожжами, и снова Алеша заметил какую-то неполадку в упряжке.

— Хозяев прогоним, все будет наше, для себя будем лучше работать,— уверенно сказал Алеша.

— Рады бы верить, да уж и веры нет,— усмехнулся мужик.

— Это уж, хочешь верь, хочешь нет, а так будет... Я тебе вот что скажу: старому строю многое то недоступно, что доступно нам. Возьми, к примеру, уголь. Сколь человеческого труда кладется, чтоб его из-под земли достать. А зачем его из-под земли доставать? Ведь его можно и под землей жечь, а энергию использовать.

— Сказки...

— Сегодня — сказки, а завтра... Э, вон оно что! — вдруг обрадованно воскликнул Алеша.— То-то я все смотрю, а угадать не могу: ты, брат, одну вожжу под чересседельник пропустил.

— Ишь, глазастый! — криво усмехнулся мужик, придерживая лошадь.— Я уж и сам давно вижу,— запрягал-то в темень,— да неохота было останавливаться, думаю, перевожжаю при случае...

И недовольный тем, что городской человек заметил его мужицкую неполадку, он соскочил с телеги и перевожжал, грубо крича на лошадь.

— Я говорю, сегодня это — сказки, а завтра это — уж живое дело,— тоненько продолжал Алеша, когда мужик снова вскочил в телегу,— а сказки уже пойдут новые: например, каким путем на другие планеты добраться? Это ведь тоже штука полезная может быть. Сегодня, скажем, ты на земле, а завтра поехал на какую-нибудь захолустную звезду, как в дальнюю деревню в волости...

Мужик удивленно покосился на Алешу,— не смеется ли тот над ним, но Алеша не смеялся. На фантазера Алеша тоже никак не походил,— он говорил о поездке на другие планеты спокойным, обыденным тоном, как о деле давно решенном,— и мужик снова стал внимательно слушать его, все более темнея лицом.

— Или вот атомную энергию использовать,— продолжал Алеша.— Силища какая! Об этом даже подумать страшно, а ведь используют когда-нибудь. Атомную энергию. А? — выкрикнул он и весело посмотрел на мужика.

Мужик стиснул челюсти, и по кремневому лицу его прошла огненная искра.

— Да, работали плохо,— сказал он тяжко и зло,— а тому, кто мог бы работать, ходу они не давали, это верно... Вот хоть меня возьмите,— и он прямо взглянул на Алешу своими смелыми черными диковатыми глазами.— Прибыл я сюда лет тридцать назад, человек молодой, семьей не связан — только жена. Не скрою: были у меня деньги — немного, но были. Взглянул я на эти края — взор у меня помутился! Подумай: земли непаханые, поемные луга, чертовой силы реки, миллионы десятин лесу, в земле — уголь, золото, руда — само дается, только бери, а людей нет, а те, что есть, на печи лежат. Разворотить бы, думаю, недры эти, лесопилки поставить, крупорушки завертеть, плоты, пароходы по рекам пустить! Начну, думаю, с малого — голова на плечах есть, руки крепкие, деньги найду — будет по-моему. Мне вот скоро шестьдесят стукнет, давно уже кинула меня та мечта, а как вспомню свою надежду, молодость свою, жизнь свою,— с дикой силой говорил мужик,— живет во мне обида эта, испорченная эта кровь... Да ведь верно! За что ни возьмись — тысяча заслонов. Писарю и старшине в руку сунь, приставу сунь, «крестьянскому начальнику» сунь, еще десяток

канцелярий ублажи, и вертятся, вертятся они, бумаги эти, а толку нету. Поверишь, был такой закон, что на разработку недр земных в этом краю нужно разрешение в самом Петербурге получить, а здесь — неполномочны. Мыслимое ли то дело для мужика! Сам ведь не поедешь, а бумажка что — она, может, дальше областной канцелярии не идет! Лет двадцать я с этой растреклятой властью воевал. За что я только не брался — за землю, за лес, за мукомольное дело,— крах за крахом: кредиту нету, веры мужику нету, справедливости нету,— с силой подчеркнул он.— Десятки раз летел я на самое дно и выбирался сызнова. Бился, бился, да уж и сила ушла, и уж нагар на сердце лег. Плюнул я на все — жить же надо — и пошел вертеть то, что рядом лежит, на что ума и силы не надо,— там торгану, там перекуплю, там сбарышничаю... Мне вот говорят: ты, дескать, барышником был. Да, был! Я вон сейчас все партизанам отдал — и дом отдал, и скот отдал, и одежду с себя сыму — на что оно мне? Разве то дело, что не пощупаешь, что после себя следу не оставляет! Вертится оно, вертится в руках — товары, лошади, деньги,— а на что мне деньги? Я их в воду бросать могу — вот что мне с них!

«Да уж ты бросишь!» — только и успел подумать похолодевший от изумления Алеша.

— Когда б я мог видеть, ощупать плод трудов своих, людям оставить его,— вот здесь дебрь была, а теперь рудник или деляна, вот здесь по реке карчь плыла, а теперь пароходы идут, вот здесь мужик зубами зерно грыз, а теперь крупорушка дымит... Я-то все одно умру,— у меня и детей-то нет, один приемыш,— а, умирая б, знал: моим это размахом, моим умом, моим старанием пользуются люди... Да, видно, уж не суждено в странишке нашей развернуться по хорошему первопутку. Скоро помирать, а зачем жил — неизвестно. Сломанный я весь,— с горечью сказал мужик.

— Кого ж ты в этом винишь? — спросил Алеша.

— Ясно, старую власть виню...

— А какая власть тебе боле по душе? — осторожно, чтобы не спугнуть мужика, спросил Алеша.

— Про это мы знать не можем, мы в политике не сильны,— хмуро сказал мужик.— Сдается, коли б было у нас, скажем, как в Америке, край бы наш теперь на все страны шумел...

«Эге, брат,— подумал Алеша,— ты, оказывается, знаешь, что тебе нужно, не хуже нашего...» Он вспомнил вдруг о едущих впереди в двуколке американцах.

— А не приходила тебе в голову мыслишка,— сказал Алеша,— что и в Америке той один выбивался вверх, а сотни тысяч шли и идут на дно. Значит, во-первых, нет и там справедливости, а, во-вторых, если и повезет тебе, где у тебя гарантия, что завтра не придет сильнейший и не пустит на дно и тебя?

— По крайности, один на один потягаться можно,— усмехнулся мужик, сверкнув белками.— В том, что умнейший и сильнейший верх берет над глупым, над слабым, да над лодырем, в том несправедливости нету...

— Стало быть, по-твоему, сила и ум только одиночкам вроде тебя присущи, а сотни, тысячи и миллионы людей вроде скота? Не похоже это на правду! Мало ли людей золотого ума, завидного характера трудятся, как каторжные, а все их к земле гнет. Видно, сила и ум, кои ты славишь, не в голове и в руках, а в том самом чистогане. Этой силы у тебя маловато, оттого ты и сломанный: ты сам попал под колесо, а хотел бы других под колесо загнать. А люди, коих бы ты мял и душил под колесом,— тоже живые люди: им, поди, тоже хотелось бы почище да посветлей. Выходит, ежели б ты вылез и пробился, достиг бы ты счастья для себя, а тысячи и тысячи людей изломал и поверг бы в пучину горя и несчастья...

— Счастье... Счастье!..— с внутренним ожесточением сказал мужик.— В чем оно, счастье? Для каждого оно разное, и каждый не знает: что оно? Разве оно в богатстве? Покажи ребенку сахар, он тянется — вот оно счастье! — а в рот взял, тянется к другому. Счастье в том, чтоб достигать...

— Это верно,— согласился Алеша,— да не только в том, чтоб достигать, а и в том, чего достигать. Надо добиться такой жизни, чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счет другого, а к общей радости и пользе...

— Это баптисты проповедуют, а сами друг у друга курей крадут,— зло усмехнулся мужик.

— Ну, мы не баптисты,— спокойно сказал Алеша,— мы у теперешних хозяев жизни не курей крадем, а ломаем им хребты. А когда добьемся своего, люди созда-

дут для себя что-нибудь почище да повеселей твоих крупорушек...

Мужик замолк.

Они выехали из ущелья в широкую долину, залитую солнцем.

— Но ведь и тогда, когда люди будут так счастливы, как вы объяснили,— вдруг тихим голосом сказала Лена,— никто не будет гарантирован от того, что вдруг на улице не свалится ему на голову кирпич и не изувечит его?

Алеша быстро обернулся к ней, но увидел только малиновую запылившуюся шапочку и темно-русую косу.

— Думаю, люди научатся строить такие дома, из коих не будут вываливаться кирпичи,— насмешливо сказал Алеша.

— Я ведь иносказательно,— улыбнулась Лена.

— Я тоже иносказательно,— спокойно ответствовал Алеша.

— Но ведь смерть-то все-таки существует?

— Существует пока... *пока* существует,— сказал Алеша таким тоном, точно он уже был бессмертен.

В молчанье они углубились в заросли вербняка, сквозь который заблестела вода. Они подъехали к будке паромщика. Большая река плавно катилась перед ними. Паром приближался к той стороне ее, на пароме виднелись двуколка с американцами и хмельницкий председатель, спешившийся и державший в поводу лошадь. За зеленым увалом того берега выступали крыша села и три церковных маковки. Справа, ниже по реке, краснел высокий скалистый обрыв лесистого отрога, возле которого впадала в реку проточка.

Алеша и Лена соскочили с телеги и спустились на сходни. Видно было, как паром причалил к тому берегу. Двуколка с американцами протарахтела по сходням, хмельницкий председатель свел лошадь и взлез в седло, и двуколка и председатель скрылись за увалом.

Китаец-паромщик, в подвернутых штанах, тянул за канат,— паром, брунжа катком, быстро продвигался к этому берегу.

Лена с окаменевшим лицом смотрела на скобеевские крыши.

— Но ведь человеку хочется быть счастливым уже сейчас,— сказала она, не оборачиваясь,— разве это возможно?

— Возможно ли это? — нехотя переспросил Алеша (с того момента, как разговор принял такие беспредметные формы, он перестал интересовать Алешу).— Отдавать свои силы за более справедливый строй жизни...— Он помедлил.— ...Отдавать за это свои силы, ежели знаешь, что это возможно, что это неизбежно, ведь это тоже счастье...

Паром мягко стукнулся о сходни и чуть отошел,— паромщик бросил Алеше конец и, схватив другой, спрыгнул на берег. Они подтянули паром и закрепили причалы.

Алеша, обтирая запачканные ладони, жмурясь, подошел к Лене.

— А вы счастливы? — серьезно и тихо спросила она.

— Да как сказать, ведь у меня ревматизм,— сказал Алеша, легко всходя на паром.

VIII

Возле просторного поповского дома против церкви мужик ссадил Алешу. Алеша со свертком под мышкой в волнении остановился подле крыльца. Сидящие на крыльце чубатые ординарцы, при шашках и шпорах, с любопытством смотрели на Алешу. В распахнутые ворота видна была двуколка американцев с белым флажком. Группа партизан обступила смущенно улыбавшегося американского солдата и партизана в заячьей шапке, с увлечением рассказывавшего что-то.

Алеша быстро взбежал на крыльцо.

В большой светлой комнате стрекотала машинка,— Алеша увидел курчавый затылок машинистки. Черноголовая женщина, подстриженная по-мужски, в черных штанах и сапогах, и парень писарского вида печатали что-то на гектографе.

— Могу я видеть Суркова?

Женщина в сапогах, отложив валик, искоса посмотрела на Алешу.

— Товарищ Сурков сейчас занят,— сурово сказала она,— у него представитель американского командования.

Алеша некоторое время незлобиво разглядывал ее. Женщина была бы красива, если бы не этот ее мужской наряд и прическа. Глаза у нее были большие, черные, недобрые; волосы, очень густые и жесткие, воинственно спускались на лицо возле ушей, как бакенбарды. У пояса был наган. Крупная темная родинка сидела на ее щеке.

— Что это вы печатаете?

— Газету! — сказала женщина, энергично шаркая валиком.

Алеша подошел к столу и склонился над свежей газеткой. Запах гектографской краски ударил ему в нос; что-то очень теплое, неповторимое, как юность, шевельнулось в душе этого закоренелого подпольщика.

— Н-да-с... «Партизанский вестник»,— прочел он вслух и замигал, нежно прижав к груди сверток.

Среди статей и заметок в глаза ему бросилось знакомое стихотворение, подписанное: «Х. Бледный». Алеша, обладавший исключительной памятью, заметил, что Бледный, читая свое стихотворение в Майхе, упустил одну строфу:

Вы — гордые витязи за коммунизм,
Орлы беспощадного красного флага,
Вы мощной рукой погребли капитализм,
В сердцах ваших грозно пылает отвага.

— Не погребли, не погребли еще,— сказал Алеша, тыча пальцем в газетку.— Понятно?— Он сердито взглянул на женщину с ее воинственными бакенбардами.— К Суркову сюда, что ли?

И, не дожидаясь ответа, растворил дверь в соседнюю комнату.

— Алешка! — тихо и удивленно сказал Петр, тяжело подымаясь из-за стола.

Спина американского лейтенанта в защитном, лицо хмельницкого председателя, еще какие-то лица в накуренной комнате мелькнули перед глазами Алеши,— он выронил сверток и кинулся к Суркову. Они обнялись и поцеловались, посмотрели друг на друга и снова поцеловались.

Американец, поднявшись со стула, учтиво смотрел на них.

— А я не думал, что это ты будешь,— тихо сказал Петр.

Алеша прямо перед собой видел его кирпичное лицо в крупных порах. В твердых светло-серых глазах Петра стояло выражение мальчишеского восхищения.

— Ну, тем лучше. Садись, обожди,— Петр подставил ему табурет.— У нас тут дела международные... Это наш товарищ,— сказал он лейтенанту, возвращаясь на свое место за столом.— И когда же майор Грехэм предполагает устроить это свидание? — спросил он, подымая на лейтенанта из-под бугров на лбу холодноватые пытливые глаза.

— Не позже, чем завтра,— сдержанно отвечал лейтенант.— Мы покидаем рудник послезавтра...

Алеша, подобрав сверток, уселся сбоку от стола и, встретившись глазами с хмельницким председателем, многозначительно подмигнул ему.

— Вы можете сказать, куда вы уходите? Или это военная тайна? — спрашивал Петр.

— Я не имею полномочий сказать об этом,— сдержанно отвечал лейтенант.

«А молодец!» — подумал Алеша, с удовольствием разглядывая сухую, подтянутую фигуру лейтенанта.

— Майор Грехэм должен знать, что мы не можем свободно появляться на руднике,— говорил Петр.— Где он считает удобным встретиться?

— Майор Грехэм желал бы, чтобы свидание осталось в тайне. Он предлагает встретиться завтра на горной тропинке, которая идет от рудника к вашей переправе. Майор Грехэм выйдет к вам с утра, под видом охоты.

Петр некоторое время изучающе смотрел на лейтенанта.

— Майор Грехэм гарантирует вам полную безопасность,— поспешно сказал лейтенант.

Губы Петра смешливо задрожали.

— Думаю, мы успеем еще предупредить наши посты на этой тропинке и также гарантировать безопасность майору Грехэму,— едва сдерживая улыбку, сказал он.

Лейтенант почтительно улыбнулся.

Кроме Суркова, лейтенанта и хмельницкого председателя в комнате присутствовало еще двое. Внимание Алеши привлек исполинского роста старик без шапки,

сидевший на скамье, прислонившись спиной к косяку окна, расставив мощные колени. Длинная, без единого седого волоса, с медным отливом борода закрывала перекрещенные на его груди патронташи. Такие же, медного отлива, волосы столбом стояли на его голове, медные густые брови нависали над глазами. Глаза были звероватого, тигриного разреза, но синие и очень ясные по выражению. Старик был в кожаной лосиной куртке и в мохнатых унтах выше колен. Чтобы не спадали унты, от голенищ к поясу шли кожаные ремешки. Две английские гранаты, громадный «смит» и охотничий нож висели у пояса старика.

Во все время разговора Петра с американцем старик ни разу не пошевелился, не изменил выражения лица,— он смотрел прямо перед собой своими ясными синими глазами, и такое величавое спокойствие было разлито в его бесстрастном, изрезанном темными морщинами лице, в его мощном теле, что Алеша невольно залюбовался им.

Другой, сидевший в уголку на табурете, был тоже старик,— но маленький, седенький, казалось, вся его голова выкатана в белом пуху, он походил на одуванчик. Глаза у старичка были прищуренные, хитроватые, очень подвижные и жизнелюбивые. Любой оттенок разговора Петра с американцем немедленно отражался на лице старичка. Старичок прижмуривался, улыбался, подмигивал, покручивал своей головкой-одуванчиком; видимо, все, что говорил Петр и как Петр держал себя, доставляло старичку истинное наслаждение.

— Вы должны уехать сейчас? Или поедете завтра со мной? — отрывисто спрашивал Петр.

— Как вы сочтете удобным,— отвечал лейтенант.— Майор Грехэм приказал мне сопровождать вас, если вы пожелаете.

— Очень хорошо. Вы поедете со мной.

— Слушаю вас.

— Агеич! — обратился Петр к старичку, похожему на одуванчик.— Отведи ему квартиру и покорми. И досмотри, чтобы солдат не уехал без обеда,— добавил он, вспомнив об американском солдате.— Солдата вы можете отпустить сегодня.

— Слушаю,— сказал лейтенант.

IX

— Вот какие дела, Игнат Васильич! — насмешливо обратился Сурков к старику с медной бородой, когда лейтенант и сопровождавшие его беленький старичок и хмельницкий председатель вышли из комнаты.

— Да...— глухо пробасил старик.— Нет ли тут какой ловушки, Пётра?

— Какая-нибудь ловушка есть, да мы не поддадимся! — весело сказал Петр.— Как это тебе понравится, а? — обратился он к Алеше.— Завязываем международные связи, да? А ты говоришь!..

— Я пока ничего не говорю,— осторожно сказал Алеша.

— Его высокоблагородие начальник американских войск на руднике желает иметь свидание с его высокоблагородием председателем партизанского ревкома в связи с тем, что американские войска покидают рудник,— насмешливо говорил Петр.— Что они хотят выгадать? Или это он из вежливости? Проститься?

Он резко засмеялся и встал. Он был в том возбужденном, деятельном состоянии, которое — Алеша знал — всегда бывало у него после хорошей политической удачи.

— А может, они тебя, детка, сцапать хотят? — пробасил Игнат Васильевич.

— Этого они, может, и хотят, да свидание устраивают не для этого, а для того, чтобы перед уходом маленько с нами поиграть. Им, видишь ли, нужно своим союзничкам, японцам, напакостить, да так, чтобы самим лапок не замочить. Вот что им нужно! А мы у них оружьишко попросим, сапог, галет... Уделите, мол, из щедрот ваших!..

Петр, заложив руки в карманы, чуть прихрамывая, тяжело шагал по комнате, изредка весело косясь из-под бугристых бровей на Алешку и на Игната Васильевича.

— Ты зайди к Опанасу,— сказал он, круто остановившись против Игната Васильевича,— скажи ему, чтобы он сей же ночью пустил по этой тропе лазутчиков до самого рудника. Как только уважаемый майор выйдет с утра на охоту, пусть они следят за каждым его шагом. Да пусть на глаза ему не попадутся, не то шкуру с них спущу...

— Есть, Пётра...

— А сам ты когда выступаешь?

— Выступаем вечерком: оно ночью по холодку веселее.

— Правильно. Будешь в Перятине, скажи Ильину — действует, мол, хорошо. Молодец! Да скажи ему, пусть он беременную бабу свою сюда переправит... Есть у нас такой командир из местных учителей,— с улыбкой сказал Петр Алеше.— В начале восстания пришлось ему в сопки уходить. Оставил он беременную свою жинку дома, а белые пришли и всыпали ей пятьдесят розог. Баба оказалась здоровой, не скинула, но он теперь ее всюду за собой таскает!.. Ты ему скажи, мы ее здесь убережем, никому в обиду не дадим!

— Скажу, Пётра...

— Ну, прощай.

— Прощай, Пётра... Дай я тебя поцелую...

Игнат Васильевич облапил Суркова и, закрыв все его лицо медным своим волосом, поцеловал в губы.

— Каков, а? — сказал Петр, проводив его глазами.— Шестьдесят четыре года, а разве дашь?

— Кто это?

— Борисов, Игнат Васильич. Замечательный мужик! Сам пошел в партизаны, четырех сыновей привел, двух внуков и племянника. Восемь бойцов из одной фамилии! А брат его десятским в селе... Ну, с чем прибыл? — внезапно изменив тон, спросил Петр.

— Ругаться прибыл,— спокойно сказал Алеша.

— А разве есть за что?

Петр круто остановился, и в холодноватых, финского разреза глазах его точно взорвалось что-то.

— Ты, стало быть, считаешь, что работаешь настолько хорошо, что тебя уж и поругать не за что? — Алеша вопросительно и насмешливо смотрел на него.

— Ага, ты, значит, приехал выправлять наши недостатки,— притворялся непонимающим Петр.— Ну, значит, ты приехал помогать, а не ругаться?..

— А ведь ты, бывало, поговаривал, что ничем, дескать, так не исправишь недостатков человека, как если хорошенько поругаешь его. С той поры ты, видно, помягчел?

— Во всяком случае, рад слышать, что у тебя нет возражений против нашей основной линии,— усмехнулся Петр.

— Вот именно, что есть: я приехал провести в жизнь директиву областкома,— сказал Алеша и встал.

— Какого областкома? — язвительно переспросил Петр.— Разве вы восстановили связи с тюрьмой?

— Связи с тюрьмой мы еще не восстановили, но областной комитет все-таки существует,— сухо сказал Алеша, поняв, что Петр пытается оспорить его полномочия.

Некоторое время они походили друг возле друга, жмурясь и фыркая, как коты, готовые подраться, и — не приняли боя.

— Ладно,— улыбнулся Петр.— Как на фронте дела?

— На фронте дела сейчас улучшились. Своей информации у нас, правда, еще нет, но, судя даже по белым газетам, на уральском направлении есть кой-какой перелом в нашу пользу.

— Областным комитетом это обстоятельство, кажется, не было предусмотрено?

— Дурак...— тоненько сказал Алеша.

Они снова взъерошились и походили друг возле друга, и снова не приняли боя.

— Что Гришка? — Петр спрашивал о младшем брате Алеши Маленького.

— Гришка по-прежнему у вагранки. Он твой сторонник,— с улыбкой сказал Алеша,— велел пожать руку и похвалить... Нельзя сказать, чтобы у парня был светлый ум.

— Вот что! А старики твои живы?

— Живы. Папаша велел кланяться тебе... Да, видел я мамашу твою перед отъездом: «Поцелуй, говорит, его, Алешенька, послаще...» — «Стану,— я говорю,— целовать такую морду!»

— Как она? Пьет? — хрипло спросил Петр.

— Пьет,— тихо сказал Алеша.

— Так...— Петр молча походил по комнате.

Они так много несли в себе друг против друга, что им трудно было говорить о чем-нибудь постороннем.

— Ну, расскажи о всех делах ваших! — не выдержал Петр.

— Да нет, уж расскажи сначала о своих.

— По ранжиру, значит? — усмехнулся Петр.— Изволь...

X

Петр Сурков бежал с гауптвахты в первых числах февраля. Он бежал среди бела дня, почти чудом, и, когда впоследствии вспоминал свое бегство, ему казалось, что это бежал не он, а кто-то другой.

В плену его содержали в одном бараке с красногвардейцами, захваченными вместе с ним в штабе крепости. По праздникам их выводили на работу в военные склады или в Минный городок. (По праздникам их выводили потому, что в будние дни пленные могли бы войти в сношение с работавшими там грузчиками и рабочими мастерских.)

В то воскресенье, когда Петру удалось бежать, они работали в военном порту по переброске железного лома из места расположения доков к мартеновскому цеху, в котором погиб когда-то отец Петра и в котором Петр работал потом машинистом на кране.

Доки, пакгаузы, корпуса цехов военного порта занимали огромную территорию вдоль бухты — от сада Невельского до Гнилого угла. Со стороны города военный порт был обнесен высокой кирпичной стеной, и попасть в него, равно как и выйти из него, можно было только через главные ворота, на людную Портовую улицу. Кроме обычного контроля, у ворот всегда стоял часовой. Но сама территория порта была очень удобна для бегства — беспорядочно застроена, завалена остовами судов, загромождена снарядными ящиками, кучами лома, угля и шлака. И Петр, знавший здесь каждый закоулок, решил попробовать.

Двое подговоренных им красногвардейцев затеяли шумную драку; пока наблюдавший за этой группой пленных солдат разнимал дерущихся, Петр спокойной прихрамывающей походкой уже подходил к воротам. В кармане у него был железный болт.

Часовой стоял в контрольной будке и, прижав локтем штык, свертывал цигарку, пересмеиваясь о чем-то со сторожем, высунувшим голову из конторки. Когда Петр вошел, часовой не столько насторожился от его появления, сколько испугался того, что его захватили не на посту и свертывающим цигарку. Петр ударил солдата болтом по голове и, перешагнув через него, вышел на волю.

Прямо перед воротами от Портовой улицы отходил Первый портовый переулок, по левой стороне которого от самого угла тянулись трехэтажные кирпичные корпуса, где жили рабочие. Петр перебежал улицу и свернул в ворота налево. Он не оглядывался, но знал, что растерявшийся сторож успел выбежать из конторки уже после того, как он свернул в ворота.

Через минуту он постучал в квартиру Чуркиных.

С семейством Чуркиных, особенно с Алешей Маленьким, Петр был связан годами совместной работы и дружбы. Их отцы принадлежали к той группе петербургских рабочих, которая была переброшена в Тихоокеанский военный порт в последние годы прошлого столетия на строительство военных судов. Андрей Ефимович Сурков был мастеровым по стальной и железной плавке, а старик Чуркин — по чугунному литью. Правда, люди они были разные, и в былые времена семьи их не водились между собой. Чуркины жили сознательной и деятельной жизнью, читали книги, опрятно одевались и водили дружбу с ссыльными. А отец Петра был человек малограмотный, мечтал поначалу завести свое хозяйство, но пропивал все до нитки и не завел даже кошки, и друзей у него не было. Но когда отец Петра, оступившись в нетрезвом виде, свалился в ковш с расплавленной сталью (вместо сталевара Суркова только жирный пепел всплыл на мгновение на солнечную поверхность ковша), старик Чуркин первый помог его семье. Он устроил Петра на работу в порт и свел его с младшим своим сыном Григорием, а Григорий втащил Петра в кружок брата. Маленький, веселый паровозный машинист Алешка стал для Петра первым учителем жизни. Отсюда и повелась их многолетняя веселая богатырская дружба.

Петр застал дома только самого младшего представителя Чуркиных, двенадцатилетнего мальчика Костю.

— Тебя освободили? — обрадованно воскликнул Костя.— А меня вчера из школы выгнали!

— За что? — спросил Петр.

— Я отказался учить закон божий.

— Вот как! А я только что убежал. За мной гонятся. Может быть, ты спрячешь меня?

— А-а, тогда пойдем к истопнику,— сказал Костя, — мы всегда у него прячем.

XI

Две недели Петр скрывался в домике знакомого стрелочника на Второй речке. В городе Петра знал каждый мальчишка. Фотографии его с подробным описанием примет были разосланы по всем контрразведкам. У него не было никакой возможности изменить внешность, так как не только в городе, но, должно быть, во всей области не было человека, фигурой хоть сколько-нибудь похожего на него: при среднем росте он был так неимоверно широк в плечах, что казался квадратным, да еще прихрамывал.

Соня Хлопушкина доставила ему два шифрованных письма от Алеши Маленького, сидевшего в глубоком подполье. Из первого письма, дополненного рассказом Сони, Петр узнал, что почти весь старый состав подпольного комитета арестован и всякие связи с тюрьмой и гауптвахтой прерваны. Во втором письме Алеша сообщал о крестьянских волнениях в области и от имени комитета молодого состава рекомендовал Петру пробраться в один из районов восстания.

Все дни Петра не оставляла мысль о матери. В последний раз он виделся с ней за несколько недель до переворота: он предлагал ей перебраться в новую свою — «комиссарскую» — квартиру, а мать все отшучивалась да так и не перебралась. В тюрьме он узнал, что она уволена с работы и бедствует. Он ничем не мог помочь ей. Ему хотелось проститься с ней перед уходом, но и проститься нельзя было: хибарка матери находилась под наблюдением.

В конце второй недели Соня сообщила Петру, что первая горячка поисков улеглась и он может отправляться в путь.

В полночь он расцеловался со стрелочником и вышел из дощатого домика, содрогавшегося от ветра. Отроги хребта, куда должен был идти Петр, белели вдали, осыпанные снегом, а слобода, в которой прошло детство Петра, лежала серая и черная, обдуваемая ветром, славшим в лицо песок и щебень.

Он шел по кривым, знакомым даже на ощупь улочкам, и каждый бугорок, избенка, овражек с черневшими на дне остатками снега рождали в нем воспоминания детства.

Ничего радостного не было в этих воспоминаниях. Он имел право сказать о себе: «Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было их».

Отец его, коротконогий, плешивый человек, всегда пахнувший водкой, металлом и по́том, бесстрашный в жестокости и одиночестве, вколотил в него несколько простейших истин: не надо быть слабым, не надо никого жалеть, не надо никого бояться — все равно хуже не будет.

И все детство Петра было сплошным побоищем. Он дрался в кровь с ребятами из соседних дворов,— надо же было узнать, кто злей и беспощадней, кто будет коноводом на своей улице! Он возглавлял набеги ребят на соседние улицы, надо же было узнать, чья улица сильнее и смелее! И вот он был уже коноводом многих улиц, он был одним из коноводов всей слободы. И когда слобода стеной вставала на слободу и подымались уже взрослые, засучивая рукава, и черные толпы, как тучи, сходились на травяных склонах Орлиного гнезда, в этих толпах, неторопливо прихрамывая, сновало и его маленькое плотное, квадратное тело в форменном костюме из «чертовой кожи», сшитом на средства благотворительного общества.

Сколько раз он приходил в училище с рассеченным ухом, подбитым глазом! И один вид его сверстников — чисто одетых, чисто вымытых и хорошо упитанных — приводил его в состояние холодного бешенства... Все это теперь вновь вспомнилось ему.

Ему следовало бы из предосторожности обойти стороной улочку, на которой горел чуть ли не единственный на всю слободу фонарь, но в домике против фонаря жила замужем первая юношеская любовь Петра, и он не удержался, чтобы не пройти мимо.

Первая любовь Петра работала на конфетной фабрике. Она была лет на шесть старше его и знала многое такое, что Петру до встречи с ней было неизвестно. Она любила его около года, а потом вышла замуж за пожилого лудильщика самоваров, народила лудильщику кучу детей и очень постарела и подурнела.

В бытность Петра военным комиссаром города он встретил первую свою любовь на улице и узнал, что она не более счастлива в браке, чем все остальные лю-

ди. Ему стало нестерпимо жаль ее. Они пошли в городской сад на гулянье. Они катались на карусели и пили лимонад, потом он купил ей три лотерейных билета, и она выиграла шампунь для головы, но не хотела брать, потому что не знала, как объяснить мужу, где такое достала.

Конечно, ничего любовного уже не было между ними, но у Петра осталось приятное грустное воспоминание об этом вечере, и ему захотелось еще раз пройти где-то возле ее и своей жизни.

Прихрамывая вдоль забора, он подошел к домику лудильщика и остановился на углу. Подвешенный к столбу фонарь качался, колеблемый ветром, и светлый круг от фонаря ползал по мерзлой земле взад и вперед. Из обращенного к фонарю низкого углового оконца, словно из-под земли, струился слабый свет; неясная тень двигалась в окне.

Петр боком продвинулся к окну и искоса заглянул,— и едва не отпрянул.

Первая любовь его сидела у окна, выложив на подоконник большие, сцепленные в пальцах кисти рук. Возле, на подоконнике, стоял в одной рубашонке худенький ребенок не более двух лет и водил ручонками по стеклу, будто ловил что-то. Ребенок, видно, был болен или просто раскапризничался посреди ночи,— мать никак не могла его успокоить и вынесла к окну. А он увидел круг от фонаря, бродящий по земле, и, зачарованный, стал ловить его ручонками.

Мать совсем забыла о ребенке, отдавшись своим думам. Нечеловеческая усталость чувствовалась в ее больших руках, выложенных на подоконник, но никогда — ни в пору любви, ни в ту последнюю встречу — не видал Петр такого прекрасного выражения суровой задумчивости, которое стояло в ее длинных подпухших глазах, устремленных во тьму.

Некоторое время он неподвижно стоял у окна, хмуро и нежно глядя на первую свою любовь, и думал уже не столько о ней, сколько о том, что надо бы все-таки проститься с матерью. В конце концов, если наблюдение еще не снято, он достаточно знает слободу, чтобы подойти и уйти незаметно.

Хибарка Сурковых — последняя на Приовражной улице — стояла в самой вершине оврага, на горе, от-

делявшей Вторую речку от Рабочей слободки. Еще издалека Петр заметил в хибарке свет и остановился в нерешительности: мог быть очередной обыск или зашли гости и засиделись. Но никакого движения не чувствовалось за окнами. Постояв немного, он спустился в овраг и пошел тропинкой, стараясь не шуршать валенками по слежавшемуся на дне черному снегу.

Так поднялся он почти до самой вершины оврага. Тихо было кругом, только в дальних дворах лаяли собаки да где-то хлопала ставня. Ползком Петр взобрался по невысокому здесь обрыву и осторожно выглянул. Хибарка стояла шагах в десяти перед ним. Окна была занавешены чем-то белым. На цыпочках он взошел на крылечко и приложил ухо к дверям — все было тихо. Он надавил дверь и переступил порог.

Его обдало запахом испарений от стираного белья. Лохань с грязной мыльной водой стояла на скамье. В корыте возле скамьи лежало выкрученное белье. Мыльные лужи растеклись по полу.

Мать, красная, в нижней рубашке, сидела возле стола, опустив на руки голову, расставив толстые, с опухшими венами, ноги. Недопитая бутыль самогона, стакан, тарелка с кислой капустой стояли возле нее на столе. Мать вскинула голову и уставилась на сына непонимающими красными глазами. И вдруг сразу потрезвела, и одновременное выражение испуга, радости и виноватости появилось на ее лице.

Она грузно навалилась рукой на стол, пытаясь встать, и, кажется, назвала Петра по имени, но он уже кинулся к ней и, охватив ее голову большими своими ладонями, крепко прижал к груди.

Мать плакала, сотрясаясь головой на его груди, а он большой своей ладонью молча гладил и гладил ее волосы. Что-то так давило ему горло, что, если бы он попытался произнести хоть слово, из горла его вырвались бы такие звуки, от которых ему самому стало бы страшно.

Потом он овладел собой и, держа голову матери обеими руками, отстранил ее от себя и некоторое время молча смотрел на ее заплаканное лицо.

— Ну, что же плакать? — сказал он наконец, пытаясь улыбнуться.— Ну, выпила, и всё. Чего же плакать? Давай и я выпью на радостях.— Он быстро вылил остатки самогона в стакан и залпом выпил.— Так,

что ли, папаша учил? — сказал он, неестественно смеясь.— А ты все плачешь. Не плачь...

— Да разве я за себя, Петенька? О тебе плачу,— сказала она, и тень ласковой улыбки появилась на ее лице.

— А что же обо мне плакать? Я жив, как видишь...

— Что ж ты не упредил, что придешь,— я хоть прибралась бы!..

Она снова грузно оперлась рукой о стол, пытаясь встать, и он снова, охватив руками ее голову, удержал ее.

— Я ведь ненадолго к тебе. Я теперь, знаешь, куда? Я буду в зимовье, тут, под городом, жить. Да ты что? Не веришь? — вдруг спросил он, нахмурившись.

— Не ври, я ведь знаю, куда идешь, я все знаю,— повторила она, грозя пальцем, пьяно и хитро прищурившись.

И вдруг, словно устыдившись своей слабости, опустила руки и некоторое время молча и грустно смотрела перед собой.

— Да что ж, иди, сынок,— сказала она.— Раз надо, иди...

— Ну, дай я поцелую тебя...— Петр, нагнувшись, поцеловал ее в висок и в плечо.— Прощай, мама...

— Прощай, Петенька!..

Она потянулась, чтобы обнять его, но он снова, чтобы ей не вставать, быстро нагнулся, протянув к ней руки. Она поцеловала его в плечо, в губы, потом, скользнув вниз губами, поцеловала его в полушубок, над сломанным бедром.

Петр с силой оторвал ее от себя и, не помня себя, выбежал на улицу.

XII

Он вынужден был пешком переваливать отроги, по колени в снегу, обходя людные места. Ночи он проводил в лесу, не смея развести костер. Четыре дня он ничего не ел. Наконец он вышел к латышской рыбачьей деревушке на берегу Уссурийского залива, в устье реки Цимухэ, где его остановил первый часовой с красным бантом на шапке.

То, что он увидел, перевернуло все его представления о восстании. Во всех южных районах, куда вышел Петр, не было уже ни одного села, которое не разоружило бы колчаковскую милицию и не прогнало бы местную власть, заменив ее своей. Восстание не нуждалось в развертывании — оно само неудержимо распространялось вширь, как лесной пожар.

Петр посетил свыше десяти сел, провел несчетное количество собраний, участвовал в двух боях с карателями, в одном из которых лично командовал повстанцами деревни Новолитовской, за отсутствием у них командира, которого он перед этим сам расстрелял за уголовный проступок.

И все, что он увидел и что читал и слышал о восстаниях в других областях Сибири, осветилось в его сознании как начало всеобщего мужицкого восстания, которое в целом уже никем не может быть задавлено, если только суметь возглавить его.

Тогда он от имени партии большевиков принял на себя ответственность за все движение, выбросил лозунг борьбы за Советскую власть и начал создавать центральное руководство. На его призыв откликнулся Сучанский рудник, откуда он получил первую моральную поддержку и первых помощников.

Военная организация борьбы сразу уперлась в разрешение коренных мужицких дел.

Советская власть, существовавшая до чешского переворота, не успела разрешить основного для населения — земельного вопроса. В крае не было крупного помещичьего землевладения. Лучшие земельные фонды находились в руках старожилов-стодесятинников. Большинство же населения составляли переселенцы, прибывшие после 1901 года и получившие наделы по пятнадцати десятин на каждую мужицкую душу, вывезенную из России. Из этих пятнадцати десятин семь засчитывалось на общественный выгон, одна отводилась под усадьбу, две падали на покос, полдесятины на лес и четыре с половиной считались пахотой. Но так как бо́льшая часть годной пахотной земли была уже поделена и запахана старожилами или переселенцами, приехавшими первыми, то эти четыре с половиной десятины главным образом падали на кочкарник или вырубку, которую надо было корчевать.

Запахать старожильские земли — было одним из важнейших лозунгов восстания, и как бы ревком ни старался отсрочить это дело, все равно он не мог уклониться от него, иначе это пошло бы через его голову и даже против него.

До тридцати процентов населения составляли рыбаки и охотники, не сеявшие хлеба. И так как выход на внешний рынок прекратился, а рыбаки и охотники не могли обходиться без хлеба, в то время как крестьяне могли обходиться без рыбы, пушнины и дикого мяса, то цены на продукты охоты и рыбной ловли пали необыкновенно низко, а цены на хлеб взвинчивались день ото дня. И ревком должен был заниматься и этим делом, иначе вся масса рыбаков и охотников могла повернуться против восстания.

До двадцати процентов населения составляли корейцы, частью перешедшие, частью не перешедшие в русское подданство, для которых земельный вопрос стоял еще более остро, чем для русских, и различные племена, платившие русским за каждый клочок неудобной, выкорчеванной собственными руками земли немыслимую арендную плату, или платившие дань хунхузам, или работавшие, как крепостные, на китайских арендаторов — цайдунов. Эти люди также не хотели переносить дальше такое положение и тоже брались за оружие, и ревком не мог не заниматься их делами, иначе и корейцы и туземцы могли повернуться против русских.

Партизанский ревком вынужден был вступить на путь все большей централизации движения и создания гражданской власти.

И когда в ответ на письмо Петра пришла из областного комитета директива, осуждавшая его мероприятия, Петр впервые в своей жизни не подчинился комитету и стал готовиться к областному съезду.

«Даже в том случае, если нас задавят здесь,— думал он,— надо, чтобы массы, которых мы в свое время зацепить не успели, отведали бы вкус Советской власти,— зарубка останется на всю жизнь».

К моменту приезда Алеши партизанское движение одержало первые крупные военные победы. Карательная экспедиция под командой полковника Молчанова была наголову разбита партизанами и отсиживалась на Сучанском руднике под прикрытием американских штыков:

не желая ссориться с американцами, партизаны не нападали пока что ни на рудник, ни на узкоколейную дорогу.

В непосредственном ведении скобеевского штаба находилось уже свыше трех тысяч партизан Сучанской, Цимухинской и Майхинской долин. Однако для того, чтобы захватить рудник, Петр мог располагать только сучанским отрядом, стоявшим в Перятине, насчитывавшим до полутора тысяч бойцов. Эти силы были недостаточны, а стянуть в Перятино цимухинский и майхинский отряды нельзя было, так как действия первого почти под самым городом, а второго — в районе Кангауз — Шкотово — Угольная как раз и обеспечивали возможность захвата рудника.

Если бы было оружие, скобеевский штаб мог бы поставить под ружье еще несколько тысяч бойцов. Но во всем Сучанском районе не было уже ни одной берданы или обреза, которые не были бы пущены в дело. В последнее время добровольцы приходили вооруженные дробовиками и дедовскими кремневыми ружьями. Тот, кто приходил с пустыми руками, терпеливо ждал, пока отобьют винтовку у неприятеля или освободится ружье погибшего товарища.

Когда сучанские горняки стали доставлять в отряды динамит, в Скобеевке организовалась мастерская бомб. Динамитом начиняли жестяные коробки, как консервами. Перед тем, как бросить такую бомбу, партизан должен был спичкой зажигать смоляной фитиль. И нужда в оружии была так велика, что десятки людей охотно вооружались такими бомбами.

Но все это, разумеется, не спасало положения. Главные надежды Сурков возлагал на скорое взятие Ольги, когда все отряды северного побережья можно будет перебросить под Сучанский рудник.

XIII

Слушая Петра и мысленно отмечая слабые пункты его доклада, Алеша в то же время не мог не чувствовать, что друг его вырос и возмужал как руководитель. И Алеша радовался и гордился своим другом.

«Вот так гусек!» — удивленно и радостно думал Алеша, по-новому приглядываясь к своему другу, испытывая на себе обаяние той скованной, но всегда готовой прорваться наступательной силы, которой Сурков незаметно подминал под себя людей.

Однако как только Петр кончил, Алеша сделал то самое покорное, незлобивое лицо, которое он всегда делал, когда был в корне не согласен с кем-либо и собирался ни в чем не уступать ему.

— Рискованный планчик, рискованный,— сказал он, вцепившись прежде всего в план захвата рудника, показавшийся ему наименее обоснованным. И, сощурившись, посмотрел Петру куда-то в его широкую переносицу, будто выбирая место, в какое ударить.— А что, ежели Ольгу возьмут не так скоро, как ты думаешь,— говорил Алеша,— ежели в то время гарнизон Сучанского рудника укрепят свежими силами, а полторы тысячи партизан твоих так и будут стоять в Перятине, объедая население, вместо того чтобы выйти на линию?

— Эк тебе там мальчишки наши голову задурили,— резко сказал Петр.— Задолбили вы себе в голову — «выйти на линию, выйти на линию»!.. Как будто захват важнейшей топливной базы меньше расстроит транспорт, чем обстрел поезда или подрыв какого-нибудь моста! И я тебе вот что скажу: мы не исходим и не можем исходить только из интересов нашего района. Конечно, возможно, что ольгинцы запоздают, а колчаки тем временем укрепят рудничный гарнизон. Но для этого они должны оттянуть силы с какого-нибудь другого уязвимого места. С какого? Город оголять они не могут. Значит, оттянут с той же Уссурийской дороги, на которую тотчас же выйдут Суховей-Ковтун под Никольском, Бредюк под Спасск-Приморском...

— Как Бредюк под Спасск-Приморском? Он же возле Шкотова? — удивился Алеша.

— То другой Бредюк,— досадливо отмахнулся Петр,— наш Бредюк — это пришлый казак из станицы Аргунской, а есть под Спасском другой Бредюк, крестьянин, тот еще почище нашего...

— Вон что! — рассмеялся Алеша.— А у нас их за одного принимают. То-то он в героях ходит. Ну, и арапы!.. Да бог с ним, дело не в Бредюке. А не такие дураки враги наши, чтоб Уссурийскую дорогу оголять. Бро-

сят они из города на рудник хороший полк японцев с артиллерией и не только на рудник вас не допустят, а всю вашу армию в Перятине разгонят...

— Очень хорошо. Ну, а если мы выйдем всей силой на линию, разве тогда они не бросят против нас японцев с артиллерией? По-моему, бросят, если возможности у них будут... Но ведь полки-то им не только против нас надо бросать, а и на Амур, и в Забайкалье, и в Сибирь. Да им бы еще нужней эти самые полки на Урал бросить! Почему же не бросают они полков пока что? Ты сам знаешь почему. Видал лейтенанта?

— Эдакая наивность! — с сожалением сказал Алеша и покрутил ежовой своей головой.— Да ежели вопрос ребром станет: либо мы, либо японцы,— думаешь, Америка не согласится лучше на японцев? Да те самые американцы, кои с нами заигрывают сейчас, будут вместе с японцами драться против нас, как миленькие. Они, брат, дотолкуются!..

— Так ты с того и начинай. Чего же ты мелочишься? Ты и скажи: мы, дескать, в областкоме так расцениваем силы интервентов, что в успех восстания не верим, а заодно уж выдай и то, чего вы не договариваете: и в победу советских войск не особенно-то верим...

— Ты глупостей не говори и на мировой масштаб дело не своди,— сердито раздув ноздри, сказал Алеша.— У нас с тобой, чтоб эти силы измерить, весов нету. Победа советских войск зависит и от наших успехов. А у японцев интерес тут на Дальнем Востоке особый. Против советских войск они полки-то навряд ли бросят, а против нас — наверняка. Ежели мы силы в кучу сведем, нас они окружат и разгромят в два-три маневра. Это надо понимать!

— Ежели, ежели...— холодно передразнил Петр.— Строить тактику на формуле: «а что, ежели, а что, ежели»,— это сидеть сложа руки. Вот ежели оправдается твое «а что, ежели» и против нас бросят серьезные японские силы, тогда боя мы не примем, а распадемся на мелкие отряды — на то мы и партизаны. А пока силы эти не брошены, а будут ли брошены и когда, мы не знаем, мы будем бить врага в самое сердце...

— Так, так... Сначала, стало быть, отряды вместе ссыплете, а завтра, стало быть, снова рассыплете? — с усмешкой сказал Алеша.— Эх, Петя, Петя! И рад бы

медку хватить твоими устами, да не думаю, чтобы организация у вас была так поставлена, эдакие операции проводить: сегодня свожу, завтра развожу! Эдак с массами не обращаются. Насмотрелся, брат, я на твоего Бредюка: не больно-то он годен для эдаких операций. А он у вас, оказывается, еще и не один!

— Довольно странное рассуждение.— Петр с деланным недоумением пожал своими квадратными плечами.— По-твоему выходит, что если командиры наши любят атаманствовать, так лучше и не пытаться их организовать, а поощрять их атаманство?

— Что за вздор?

— Да как же иначе? Разве дело в мелких или в крупных отрядах, как это вы там пошло придумали? Дело в централизованном руководстве. Отказаться от такого руководства — значит отдать движение на волю стихии, обречь его на вырождение, на атаманщину, на произвол...

— Зачем отказаться? Да и видали мы твое централизованное руководство! — не выдержал Алеша.— Уж не Хрисанфа ли Бледного имеешь ты в виду? Посылаешь какого-то стихоплета в отряд к Бредюку, стихоплет дрожит перед Бредюком, как осиновый лист, и смотрит ему в рот, а ты тут сидишь и воображаешь, что осуществляешь централизованное руководство! Зачем этот самообман, Петя?

— Да, приходится посылать и Хрисанфа Бледного, когда не хватает людей! — воскликнул Петр, стукнув своим тяжелым кулаком по столу.— Но Бредюк-то знает, что Бледный не сам по себе, что за Бледным ревком, а за ревкомом — мы. А без этого сознания Бредюки растащат все движение по кускам!

— Нет, ты обожди,— сказал Алеша, беря Суркова за рукав, чувствуя, что Сурков начинает злиться,—давай-ка, брат, говорить начистоту. Что мы в областкоме, эсеры, что ли, сидим, не понимаем, что должен быть у движения большевицкий центр? Затем ты сюда и послан, чтоб создать его. Но самообман начинается там, когда ты сам начинаешь верить, что удастся тебе в самом тылу контрреволюции, под штыками всего международного капитала создать какую-то крестьянскую республику с централизованной армией...

Слова о крестьянской республике вырвались у Алеши невольно,— он тут же сообразил, что этих слов не следовало бы говорить Петру, но было уже поздно.

— Какую крестьянскую республику?..— тяжело сказал Петр, вставая, и румянец плитами выступил на его мясистых щеках.— Вон, оказывается, что вы о нас думаете! Нет, брат, уж если ты хочешь начистоту, так я тебе прямо скажу: эта ваша программа стихийной партизанской борьбы есть, действительно, чистейшая эсеровщина и капитулянтство, да! Я, конечно, по человечеству понимаю,— продолжал он, повышая голос,— понимаю, что вы там под непосредственным давлением интервентских штыков вконец запуганы и деморализованы, но тогда извольте не валить с больной головы на здоровую, тогда извольте...

Алеша только что хотел поправиться, что о крестьянской республике он сказал шутя, но последние слова Петра ужалили его в самое сердце.

— А такую крестьянскую республику,— вдруг взвизгнул Алеша, вскакивая,— а такую крестьянскую республику, когда ты думаешь, что без победы в городах удастся тебе создать тут свободное мужицкое царство и разрешить земельный и национальный вопросы и с этими своими бомбочками и спичечками занимать рудники, железные дороги, города!.. Да нам нанесут такой...

— Вот оно, вскрывается ваше действительное отношение к восстанию! — загремел Сурков.— Вы ни черта не поняли из того, что поднялось в стране! Вы не поняли коренного перелома в настроении крестьянства, живете старыми, заскорузлыми представлениями времен чешского переворота, вы...

— А вы обманываете массу! — гневно кричал Алеша.— Да, да, обманываете массу, сулите ей скорую победу, вместо того чтобы объяснить ей, что предстоит еще долгий, мучительный путь борьбы!

— Нечего, брат, свое неверие в победу маскировать сроками борьбы! Мы-то готовы и к долгим срокам, потому что знаем, что движение непобедимо, а вы в движение не верите, но хотите соблюсти благородное лицо. Вы хотите и рыбку съесть, и...

— Извини, брат! Извини, брат! Говорить массе правду, что обстановка для победы еще не созрела, это не значит не верить в победу, а это — выполнять ре-

волюционный свой долг перед массой... В июльские дни в Петрограде, когда стихийно поднялись массы, большевики сумели возглавить их и удержать их от ложного шага, большевики сумели...

— Июльские дни не тем знамениты, что большевики уговаривали массу,— со сдержанной яростью отвечал Петр,— а тем, что большевики сумели превратить это выступление в подготовку к октябрьскому восстанию, а не ползли окарачь, как вы сейчас ползете, напуганные размахом движения...

— Вот именно, что *в подготовку,* вот именно, что *в подготовку!* — вцепился Алеша.— А вы тут воображаете, что наступил срок всеобщего победоносного восстания, вот что вы воображаете,— и ставите массу под опасность разгрома, вот что вы делаете! Это мальчишество и преступление!

— Ну, знаешь что,— с холодным бешенством сказал Петр,— если ты так считаешь, спорить нам нечего. Можно немедленно созвать ревком, и ты проводи там, что тебе угодно, а мы будем делать по-своему. У нас тысячи людей под ружьем, и спорчики нам проводить некогда. Если угодно, могу сначала фракцию созвать...

— Да что ж фракцию, ежели у вас все сговорено! — прокричал Алеша.— Созывай уж прямо ревком, а я посмотрю, как ты перед чужими людьми будешь дискредитировать свой большевицкий комитет! Не чаял я тебя видеть в этой роли...

— Очень хорошо,— грозно фыркнул Петр, и верхняя губа его дрогнула,— а я посмотрю, как ты перед лицом восставших масс будешь дискредитировать их военное и политическое руководство. То-то враги обрадуются!..

Они вступили на ту грань, дальше которой спорить было немыслимо, и оба почувствовали это и замолчали. Алеша, морщась, покручивал головой, точно воротник жал ему шею. Петр, отвернувшись к окну, постукивал по столу своим коротким железным пальцем, и полные губы его подрагивали.

— Ну что ж, созовем ревком,— хмуро сказал он и взялся за папаху.— Агеич!

Белая голова-одуванчик просунулась в дверь.

— Я здесь, Петя,— сказала она старческим проникновенным голосом.

— Надо будет через часок ревком созвать. И вот что — распорядись, чтобы к вечеру баньку истопили.

— Уже, Петя,— радушно сказала головка-одуванчик,— уже затопили. А ревком созовем...

В дверной щели мелькнул силуэт женщины с воинственными бакенбардами. «Н-да, вы мощной рукой погребли капитализм,— невесело подумал Алеша. — Тоже кикимора!..»

XIV

При всем изрядном революционном опыте Алеши и при всей его изворотливости, никогда еще он не испытывал таких внешних и моральных трудностей, как во время этого своего доклада на партизанском ревкоме.

Первая трудность состояла в том, что, находясь среди своих людей, деятельность которых была сейчас главной надеждой всей революционной деятельности в крае, Алеша был изолирован среди этих людей, так как та точка зрения, которую он должен был провести, не имела среди них никакого сочувствия.

Сучанские горняки, составлявшие в ревкоме большинство, были верным оплотом Суркова. Мартемьянова не было в Скобеевке. Беспартийная часть ревкома — несколько крестьян, доктор Костенецкий и ведавший почтово-телеграфной связью в повстанческих районах телеграфист Карпенко — самостоятельной роли не играла, да Алеша и не имел права опереться на нее. Сочувствия левых эсеров (их было в ревкоме двое — один ничем не примечательный, а другой — та самая женщина с воинственными бакенбардами, которую Алеша видел утром и которая, как выяснилось, была одним из инициаторов восстания, то есть была действительно героической женщиной) — их сочувствия Алеша должен был даже опасаться.

Вторая трудность состояла в том, что Алеша не имел никаких перспектив получить и даже не имел права искать себе сторонников вне ревкома, в массах, так как ревком пользовался доверием масс, и противопоставлять массы ревкому в условиях вооруженной борьбы было бы гибелью движения.

И третья, и самая главная, трудность состояла в том, что при всех этих трудностях Алеша, ни по внутреннему

убеждению, ни как представитель областного комитета, не мог изменить свою точку зрения, а должен был проводить ее в жизнь.

По всем этим причинам Алеша вынужден был избрать ту тактику, которую он обычно сам презирал, а именно: не оспаривая линию ревкома по существу, вносить такие поправки и оговорки, которые должны на деле превратить линию ревкома в линию областного комитета.

Так, для того чтобы отложить областной повстанческий съезд на неопределенный срок, Алеша вначале долго распространялся о том, что, конечно, «крайне необходимо удовлетворять первейшие нужды населения, опираясь на его самодеятельность» (в этом вопросе, под влиянием майхинского схода и разговора с Петром, Алеша перестал придерживаться буквы директивы областкома). Ревком весьма положительно отнесся к этой части его речи. Но когда Алеша предложил съезд отложить до лучших времен, ревком подтвердил прежнее решение о созыве съезда.

Предложение Алеши избегать крупных войсковых соединений тоже не было принято: ревком принял формулу — передать этот вопрос на усмотрение военного командования, в зависимости от конкретных военных задач. Тогда Алеша присоединился к формуле ревкома с добавлением «*по возможности* избегать крупных войсковых соединений», но и «по возможности» не встретило сочувствия ревкома.

И так во всем.

В табачном дыму Алеша ловил на себе насмешливый взгляд Петра, который как бы говорил: «И кого ты запутать хочешь? Или забыл, как сам меня учил?» — «Ничего, брат, ты еще молоденький,— отвечал взгляд Алеши,— посмотрел бы я, что бы ты на моем месте поделывал!..»

Вдобавок ко всему, левые эсеры поддержали большинство поправок Алеши. Это доставляло Петру такое удовольствие, что он при взгляде на Алешу жмурился, как кот, а на левых эсеров поглядывал почти с нежностью.

Только одно предложение Алеши было решительно поддержано Петром, а за ним и всем ревкомом — предложение о создании таежных продовольственных баз, на

случай если будут брошены большие японские силы и партизанам придется отходить в тайгу. Руководство работой по созданию этих баз было тут же возложено на Алешу.

Несколько раз во время заседания, неслышно ступая, входил старичок с головкой-одуванчиком и шептал что-то Петру на ухо. Петр досадливо отмахивался от него.

— ...Да ведь выстынет, Петя! — уловил однажды Алеша проникновенный шепот старичка.

«Ах да, ведь баня будет!» — с удовольствием подумал Алеша. И вдруг повеселел — и от предвкушения бани и от страшной усталости.

Когда заседание кончилось и члены ревкома с шумным говором стали расходиться, в настое табачного дыма, пронизанного желтым светом заката, снова возникла белая головка-одуванчик. Под мышкой Агеич держал сверток белья со свисающими штрипками.

— Что ж ты, Петя,— сказал он возмущенно,— весь пар выйдет!

— ...Конечно, разрешить... И пусть составят акт, и землемер тоже подпишется,— договаривал Петр заведующему земельным отделом, весело косясь на Агеича.— Да, да, так и сделай... Что, в баню пойдем? — он обернулся к Алеше и вдруг улыбнулся широкой, немного лукавой, немного извиняющейся мальчишеской улыбкой.— Или ты не обожаешь?

— Здравствуйте — какой же машинист не обожает бани! — обиделся Алеша.— Это у нас, можно сказать, единственное удовольствие и развлечение...

— Только у нас, извини, черная...

— Черная?! — возмущенно воскликнул Агеич.— Как черная, когда...

— Да мы к белым-то непривычны. Вихотка есть? Мыло есть? — уже деловито справлялся Алеша у Агеича.

Агеич сделал лицо, полное такой укоризны, точно он считал вопросы Алеши просто неприличными.

— Ну, стало быть, и веники есть,— успокоился Алеша.

— А эсерики-то тебя все-таки подкузьмили! — не удержался Петр и в дверях пребольно ущипнул Алешу за бок своими железными пальцами.

XV

— Насчет того, будто баня у нас черная, это вам Петя совершенно, ну просто совершенно зря сказал,— тихоньким голосом говорил Агеич, игрушечно семеня между Петром и Алешей.— Черной она, действительно, была, а я и говорю: «Как это вы, говорю, Владимир Григорьич, образованный человек, а моетесь в черной бане?» — «А мы, говорит, в ей не моемся, она, говорит, мне с усадьбой досталась, а у нас, говорит, в больнице ванныи есть...» — «Ну, я говорю, в ванне активно не вымоешься, в ванне нашему брату шахтеру только грязь по телу развозить...» И что же я сделал? Наперво поставил я натуральную печь с выводной трубой и парной отдушиной, полки наново перестлал и пристроил предбанничек. Тогда гляжу: на больничном складу фанерьные пустые ящики из-под лекарства лежат зря. Ясно, дал я им активный ход и как есть всю парильню и предбанничек фанерькой выложил. Понимаешь? Фанерькой! — пояснил Агеич, сделав своей маленькой ручкой какое-то лепообразное движение.— Потом иду я раз по саду, гляжу...

Огромный закат раскинулся над отрогом. На гребне курилась и рдела стремительная хвоя. Сиреневый дым от невидного за избами костра всползал по темному широкому просеку, через отрог,— там белела линия телеграфа. Стоял мощный слитный запах весны, жилья, скота, а звуки были каждый различим: удар молота в кузнице, цокот конских копыт, лязг ведра у колодца, девичья песня на пароме.

«Что ж, буду вникать в каждое практическое дело, доказывать на опыте,— думал Алеша, всем существом вбирая в себя краски, звуки и запахи вечера,— а не будут слушаться — пусть учатся сами на поражениях, н-да-с!»

«Ничего, присмотрится, разберется, парень он с головой, вместе с нами пойдет,— весело думал Петр.— Да что еще тюрьма скажет!..»

— «Зачем же, я говорю, Владимир Григорьич, вам эта лейка? — проникновенно журчал Агеич.— Ведь цветов вам в это лето все одно не садить, не поливать?..» И что же я сделал? Взял я от этой лейки ситечко, предбанничек я перегородил, на крышу — бочку,

и вот вам холодный душ, вода бежит вполне активно, только уж, как пустишь, остановить ее нельзя: крантика нету...

— Я же говорил тебе, обратись в кузницу, там сделают,— серьезно сказал Петр.

— Он у тебя настоящий банных дел мастер! — пошутил Алеша, с удовольствием оглядывая выкатанную в пуху легкую головку Агеича, оснащенную картузиком.

— Вы, случаем, не охотник? — спросил Агеич.

— Смотря до чего...

— Нет, я про охоту спрашиваю. Скоро у нас фазаньи выводки пойдут. Очень активно пойдут. Как нападешь это на него,— жмурясь, сказал Агеич,— самка — в подлет, а цыплята — врассыпную... Другой цыпленок бежит, бежит, видит — укрыться некуда, лапками сухой листочек хвать,— на спинку упадет и листочком накроется. И до чего ж каждая тварь к жизни себя приспособляет! — сказал он и укоризненно покачал головой.

Банька ютилась позади огорода. Согнувшись, Агеич первым переступил порожек, за ним шагнул Алеша. Уже по тому, каким жаром обдало их в предбаннике, Алеша понял, что баня будет министерская, и последние заботы жизни покинули его, освобождая место для забавы.

— Закрывай, закрывай! — сердито закричал он на Петра, который, согнувшись и подняв лицо с поблескивающими в улыбке глазами и зубами, остановился на порожке.

Агеич засветил ночник, стоявший на подоконнике застекленного глаза, выходящего в парильню, огромные тени заходили по потолку. Алеша увидел у стенки под скамьей ведра с холодной водой,— в одном ведре, прижатый камнем, стоял в воде березовый туес.

— Это с чем?

— С квасом,— шепотом сказал Агеич, дрожащими пальцами расстегивая рубаху,— с ледовым квасом. Я у них в больничном погребе лед краду... Сюда, сюда, тут у нас гвоздики набиты,— показал он, куда вешать одежду.

Петр, раздеваясь, мальчишескими, подобревшими и повеселевшими глазами оглядел маленькое, но хорошо

сбитое смуглое тело Алеши, который уже похлопывал себя под мышками.

— Как у тебя с Соней-то дела?

— Ты это с какого же конца о Соне вспомнил? — изумленно воскликнул Алеша.— Вот дубина чертова! Да что ж с Соней,— с Соней дела ничего... А ты тут не завел?

— Где уж мне, я ведь не обходительный,— усмехнулся Петр.

— Не обходительный, это верно. А все-таки, ежели рассказать Агеичу кое-что про твою с конфетной фабрики...

— Агеич тебе не поверит, он же видит, что у тебя шеи нет, разве человеку без шеи можно верить? К тому ж, у тебя из ноздрей волосы растут,— смеялся Петр, сбрасывая с себя последнюю одежду и выпрямляясь.

— И здоров же ты, батюшка...— Алеша, покачивая ежастой головой, с завистью смотрел на его мощную грудную клетку, на разбитый на прямоугольники молочно-белый, в золотистом пуху, панцирь живота.— А действительно, здорово тебя папаша звезданул,— сказал он, указывая на ненормальный выступ бедра правой ноги.

— Было дело,— беззлобно ответил Петр.

В это время разоблачился и Агеич, и Алеша не мог удержаться от улыбки, когда обнаружилось, что у старичка с легкой головой одуванчика огромная, чуть не до колена, кила.

— Я думаю, Петя, вы пока тут попануете, а я чеплашечки две поддам?

И Агеич, придерживая килу, исчез в парильне.

Когда Петр и Алеша, захватив по ведру с холодной водой, вошли туда, их сразу точно стиснуло жаром и обдало пряноватым каким-то запахом. Агеич в сумрачном свете ночника обмывал полки. В шайках размачивались веники.

— Чувствуешь? — поднеся два пальца к своему раскрасневшемуся пуговичному носу, радостно закричал Агеич.— Мята!.. С мятой парок поддаем.

— Сейчас контроль наведем на ваши пары,— угрожающе сказал Алеша и двумя обезьяньими движениями взлетел на верхний полок.— Ну, разве это пар? — сказал он разочарованно.— Пар должен с полка сши-

бать, настоящий пар можно только на четвереньках одолеть... А ну-ка, я сам займусь, давай чеплашку!..

Он отворил парную отдушину и один за другим поддал пять ковшей, приседая и пряча уши от пара, со свистом вырывавшегося из отдушины.

— Что стоишь, чертова кила? Намыливай веники! — кричал Алеша.

Петр, не выдержав, прикрыл обеими руками уши, смеясь, сел на корточки.

— Нет, ты ложись: раз ты председатель ревкома и областного комитета не признаешь, по-перву тебя будем парить! — командовал Алеша и нижней стороной ковша шлепнул его по ягодице.

— Да вы запарите — два таких черта! — опасливо смеялся Петр, покорно взлезая на полок.

— Намылил? Давай сюда...— Алеша вырвал у Агеича веник.

Мягким, гибким движением кисти, по-особенному вывернув веник, Алеша провел им по закрасневшей могучей спине Петра, потом сильными взмахами стал нагнетать жаркий воздух к спине, однако не прикасаясь к ней, и время от времени вновь проводил вдоль спины веником. По спине пошла едва заметная дрожь.

— Эх, Петя, Петя! — приговаривал Алеша.— Счастье твое, что живешь ты в нашем русском государстве, да еще в революционное время. Родись ты лет полтыщи тому назад в какой-нибудь Италии или Испании, быть бы тебе по характеру твоему морским разбойником...

— Дай... еще дай...— глухо прорычал Петр, не подымая лица.— Дай!..— выкрикнул он.

— Еще чеплашечку, Агеич! —скомандовал Алеша. И вдруг, от всего плеча развернувшись веником, начал крестить Петра вдоль и поперек по спине и ниже, все более и более ожесточаясь.

— А ну, а ну, а ну...— повторял он.

— Дай ему, дай! — кричал Агеич.

— Еще!.. А-а... дай-дай!.. а-а...— рычал Петр.— Мало! — взревел он вдруг.

— Еще чеплашечку! — скомандовал Алеша.— И... в два веника!..

Агеич, поддав пару, схватил второй веник и тоже начал хлестать Петра,— они работали, как цепами на молотьбе.

— А-а... а-а...— только и мог уже издавать Петр.

— Проняло-о!.. — злорадствовал Алеша. — Азиат ты, сукин сын!.. Просвещения не любишь?.. Дантов «Ад» читал?..

И, не переставая работать веником, Алеша начал торжественным голосом:

> Невоздержанье, злость, безумный грех
> Животности...

Во время этого занятия кто-то вошел в предбанник.

— Аге-ич! — с таким выражением, с каким кричат «ау», позвал тонкий женский голос.— Чем мериканца корми-ить?

Алеша так и присел.

— Петя, а Петя! — склонившись к лицу Петра, лежавшего уже животом вверх с закрытыми глазами, позвал Агеич.— Американца сытно кормить или впроголодь?

— Вот дурило,— сказал Петр, открывая свои неожиданно совершенно ясные глаза,— конечно, сытно! А в обед ты как кормил?

— В обед я... сытно кормил,— неуверенно сказал Агеич и, соскочив с нижнего полка, на котором стоял, придерживая килу, подбежал к двери и, весь высунувшись из нее, в голос закричал: — Корми его на убой!.. Все на стол мечи! Корми его по самое темя! Корми его в мою голову!..

Белый холодный воздух, понизу ринувшийся в дверь, клубами завился в парильне, ничего уже не стало видно, и никто и ничего уже не в состоянии был понять. Слышны были только крики:

— Еще... Дай, дай... Мало... Ой, не могу больше... Еще чеплашечку!

Они парили друг друга во всех возможных сочетаниях, выбегали в предбанник, пили ледовый квас, мылились и снова парились и выливали друг на друга ведра с холодной водой. Потом Агеич пустил душ, который бежал уже не останавливаясь.

Петр, весь багровый, едва не на четвереньках, первый выбежал в предбанник с намерением больше не возвращаться. Алеша и Агеич еще посостязались на полке, наконец и Алеша сдал, а старый шахтер все еще парил и парил свою килу.

Через полчаса все трое умиротворенно лежали на скамьях в предбаннике, в котором тоже было уже так жарко, что пришлось открыть дверь в огород. Прекрасная ночь спустилась на село, все было залито ее серебряным тишайшим светом. Запахи весны и свежевскопанной земли почти заглушали запахи бани. В соседней половине позванивали последние капли душа.

В это-то время и донесся из-за огорода, с улицы, стройный топот множества ног, и звонкий, чистый, как слеза, тенор легко поднял и понес «Трансвааль»...

Это Игнат Васильевич Борисов вел свою роту в Перятино. Песню завел самый любимый и самый дерзкий внук его, Егорушка, а за Егорушкой грянула вся рота, и песня разостлалась над селом.

Петр, Алеша и Агеич, голые, выбежали из предбанника. Долго стояли они в огороде, облитые светом месяца, не шевелясь, точно изваянные. Рота уже прошла, а все еще доносилось издалека:

Мой старший сын, старик седой,
Убит был на войне...

XVI

Вороной, раздвинув кусты, ступил передними ногами на каменистую площадку, остановился, упершись мордой в скалу, и тихо заржал, повернув голову к всаднику.

— Придется оставить лошадей,— сказал Петр, обернувшись к американскому лейтенанту, лошадь которого, храпя, выложила морду на круп вороного и стала чесаться.— Обожди, Размахнин, тут не проедем! — крикнул Петр ординарцу, продиравшемуся сзади сквозь кусты.

Последние клочья тумана растаяли в распадках, и от камней, дрожа, заструилось тепло, когда Петр и ни на шаг не отстававший от него лейтенант выбрались на скалистый гребень хребта, отделявшего Сучанскую долину от рудника, и на самом гребне наткнулись на американского солдата с ружьем: солдат, видно, давно заметил их и не проявил испуга, когда перед ним выросла казачья папаха Суркова.

Лейтенант что-то спросил,— солдат ответил, отдав честь.

— Майор Грехэм ждет нас,— сказал лейтенант, торопливо одернув френч и поправив фуражку.

Они спустились ниже по тропинке и за поворотом ее, у скалы, освещенной солнцем, увидели сидящего на мшистом камне тучного майора. Возле него лежала фуражка защитного цвета с вложенными в нее белыми перчатками. На разостланном на щебне бархатном коврике косо стояла бутылка с вином. Денщик на коленях откупоривал какие-то баночки.

Лейтенант, взяв под козырек, подскочил к майору с рапортом, но майор отвел его движением пальца и поднялся навстречу Петру, издавая горлом твердые приветственные звуки.

— Здравствуйте,— сказал Петр, холодно оглядывая лысеющее темя и двойной, гладко выбритый подборок майора.

Некоторое время они молча постояли друг против друга. Лейтенант и солдат почтительно смотрели на них; денщик на коленях откупоривал баночки.

Майор, снова издав какие-то зобатые горловые звуки, жестом пригласил Петра присесть к своему коврику.

— Я не понимаю английского,— холодно сказал Петр.

— Майор Грехэм предлагает вам позавтракать с ним,— поспешно сказал лейтенант.

— Скажите майору Грехэму, я не голоден и желал бы скорей узнать, чему я обязан...— Петр запнулся,— чести видеть его...

— Майор Грехэм считает целесообразным, чтобы разговор происходил сидя,— перевел лейтенант слова улыбавшегося майора.

Петр, поправив кобуру нагана, опустился на камень, вытянув мозжащую в бедре ногу. «Где тут наши сидят?» — подумал он, прислушиваясь к твердому урчанию майора.

— Майор Грехэм поручил мне сообщить вам следующее,— сдержанно начал лейтенант, глядя Петру в глаза своими твердыми карими глазами, которые с момента встречи с майором стали совершенно безжизненными.— Вверенные ему войска, несшие до сих пор охрану Сучанских копей и узкоколейной железной дороги, переводятся на участок: Кангауз — Шкотово — Угольная...— Лейтенант говорил медленно и осторожно, отбирая каждое

слово.— Майор Грехэм поручил мне отметить, что за все время пребывания американских войск на копях... он не имел никаких оснований жаловаться на нелояльность партизан и имеет все основания утверждать, что американские войска также вели себя лояльно... Известно, с другой стороны, что участок Кангауз — Шкотово — Угольная, охрана которого находилась до сих пор под ответственностью японского командования, наиболее часто подвергается нападениям партизан... Майор Грехэм спрашивает: может ли партизанское командование... в связи с предстоящими переменами... обеспечить лояльные отношения между партизанами и американскими войсками на новом участке?

Петр некоторое время помолчал, раздумывая.

— Два вопроса майору Грехэму,— сказал он, склоняя по-русски фамилию майора.— Первый вопрос: означает ли переброска американских войск с Сучанских копей, что на их место будут введены японские войска? И второй вопрос: нельзя ли слова майора Грехэма о лояльных отношениях между партизанами и американскими войсками рассматривать как предложение перенести военные операции партизан с участка Кангауз — Шкотово — Угольная в район Сучанских копей?

Вопросы были поставлены настолько прямолинейно, что лейтенант на мгновение смешался. Майор, с добродушным любопытством наблюдавший за Петром, удивленно поднял рыжие брови, когда лейтенант перевел ему слова Петра, и потом долго урчал что-то.

— Ответ майора Грехэм на ваши вопросы,— выслушав продолжительное урчание майора, сказал лейтенант: — Согласно декларации правительства Соединенных Штатов, достаточно широко распубликованной, американские войска не вмешиваются в дела русского народа и не поддерживают ни одной из борющихся политических группировок в России... Единственная цель, которую преследуют американские войска,— охрана железных дорог и складов с ценным имуществом. Поэтому...— лейтенант подумал,— майор Грехэм не считает себя вправе вносить какие-либо предложения по поводу военных операций партизан... Он заинтересован только в том, чтобы с наименьшими жертвами с обеих сторон обеспечить охрану вверенного ему участка... Что касается ввода японских войск в район копей, то майору Гре-

хэм ничего об этом не известно. Переброска японских войск подлежит компетенции японского командования.

— Широко известно, что правительство Соединенных Штатов оказывает адмиралу Колчаку систематическую помощь оружием и продовольствием,— резко сказал Петр.— Широко известно, что железные дороги, охраняемые американскими войсками, беспрепятственно используются японцами и войсками адмирала Колчака, тогда как партизаны не имеют возможности пользоваться ими. Этих фактов совершенно достаточно для того, чтобы утверждать, что действия американских войск в Сибири являются поддержкой адмирала Колчака, вопреки интересам нашего народа.

В голосе майора, когда он отвечал на эти слова Петра, появились басовитые ноты.

— Майор Грехэм не располагает данными судить, какой из борющихся группировок в России принадлежат симпатии народа,— медленно переводил лейтенант.— Но майор Грехэм считает нужным опровергнуть ваше заявление о помощи адмиралу Колчаку со стороны американского правительства оружием и продовольствием... Майору Грехэм неизвестно ни одного факта такой помощи. Майору Грехэм известна только благотворительная деятельность американского Красного Креста и Христианского союза молодых людей среди населения Сибири и среди больных и раненых солдат... Деятельность эта не могла быть распространена на население районов, занятых в настоящее время партизанами... не по вине этих организаций. Но если удастся продолжить лояльные отношения между партизанами и американскими войсками... особенно в связи с переходом их на новый участок,— подчеркнул лейтенант,— майор Грехэм может взять на себя обязательство договориться с этими организациями об известной помощи и населению этих районов, и больным и раненым партизанам.

— В чем же может выразиться эта помощь? — осторожно спросил Петр.

— Конкретные формы и размеры помощи трудно было бы установить до переговоров с этими организациями,— перевел лейтенант.— Но если удастся договориться с вами по основному вопросу, майор Грехэм может для начала предоставить в ваше распоряжение

двадцать пять комплектов госпитального белья и пятьдесят пар обуви...

«За полсотни пар ботинок купить хотят! — весело изумился Петр.— Ай да купчишки!»

— Скажите майору Грехэму, что предложение его невыгодно для нас,— сказал он.— Майору Грехэму должно быть лучше меня известно, что в связи с уходом американских войск на участок Кангауз — Шкотово — Угольная охрана копей будет передана другим военным силам. Колчаковское командование не располагает собственными военными силами, а следовательно, в район копей будут брошены японские войска. Бездеятельность партизан на участке Кангауз — Шкотово — Угольная будет содействовать беспрепятственной переброске этих войск, а американские войска, фактически обеспечивающие эту переброску, будут делать вид полнейшего своего нейтралитета... Согласитесь, что нам нет никакого расчета принимать предложение майора Грехэма.

— Майор Грехэм мог бы отпустить тридцать комплектов белья и шестьдесят пар обуви,— невозмутимо отвечал лейтенант.

— Только в том случае, если американское командование сочтет возможным помочь нам известным количеством оружия для борьбы с японцами,— сказал Петр, прямо глядя в глаза лейтенанту,— только при этом условии мы сможем принять предложение майора Грехэма...

Пока велись переговоры, денщик разостлал на коврике белые салфетки, откупорил бутылку с вином и разложил бутерброды с икрой и ветчиной. Тучный майор, уже несколько раз с вожделением поглядывавший и на бутылку и на бутерброды и колебавшийся между соображениями вежливости и желанием покушать, наконец не выдержал и, захватив пухлыми пальцами бутерброд, начал грустно жевать его. Но когда лейтенант перевел ему последние слова Петра, глаза майора округлились, он отнял руку с бутербродом ото рта и несколько секунд с изумлением смотрел на Петра. Потом он и вовсе отложил бутерброд, и в голосе его появился такой басовитый клекот, что Петр приготовился уже к резкому выпаду со стороны майора.

— Майор Грехэм просит передать, что помощь оружием той или иной из борющихся сторон расходилась бы с политикой невмешательства, проводимой американскими войсками,— вежливо перевел лейтенант.— Но майор Грехэм мог бы подарить вам лично револьвер системы «Кольт» и сто патронов к нему...

«Вот купчишки проклятые!» — с веселым бешенством подумал Петр, и краска выступила на его кирпичных щеках.

— На этих условиях мы не можем принять предложение господина майора,— сказал он.

— Но майор Грехэм напоминает вам, что это будет означать начало военных действий между партизанами и американскими войсками!..

— Скажите, что я держусь такого же мнения,— ответил Петр.

Некоторое время они сидели молча. Майор доел бутерброд.

— Это ваше окончательное решение? — спросил лейтенант.

Петр подумал.

— Я изложу предложения майора Грехэма партизанскому ревкому, которому принадлежит вся полнота власти, и окончательное решение ревкома сообщу вам...

Майор и лейтенант посовещались.

— Последний вопрос,— сказал лейтенант,— не можете ли вы дать распоряжение своим отрядам на участке Кангауз — Шкотово — Угольная не предпринимать враждебных действий против американских войск, по крайней мере, до окончательного решения ревкома?

— Такое обещание я могу дать, но это не имеет никакого практического значения,— усмехнулся Петр.— Решение ревкома состоится раньше, чем наше распоряжение дойдет до отрядов. Ведь нейтралитет американских войск такого свойства, что мы не можем пользоваться железнодорожным телеграфом...

— Тогда майор Грехэм просит вас сообщить ревкому, что в случае принятия его предложения он сможет отпустить сорок комплектов белья и восемьдесят пар обуви...

— Хорошо, я передам это ревкому,— сказал Петр и встал.

Майор с вежливой улыбкой проурчал что-то.

— Майор Грехэм просит передать, что он рад доверию, которое вы оказали ему, и отдает должное вашему мужеству...

Некоторое время Петр, презрительно сощурив один глаз, смотрел на лейтенанта. Потом, подчиняясь внезапно возникшему в нем мальчишескому желанию, заложил в рот два своих коротких пальца и свистнул.

Он не успел еще насладиться выражением испуганного изумления, возникшим на лицах майора и лейтенанта, когда сверху посыпались мелкие камешки,— майор и лейтенант, привстав, задрали головы, солдаты схватились за ружья,— и со скалы свесилась чубатая голова в фуражке, украшенной неистовых размеров красным бантом.

— Мы здесь, товарищ Сурков,— сказала чубатая голова сильно пропитым голосом.

— Проводите майора Грехэма до рудника... Счастливо оставаться,— сказал Петр остолбеневшим американцам.

И, чуть коснувшись пальцем папахи, он начал взбираться по тропинке на гребень хребта.

«Ах, купчишки проклятые!..» — думал он с досадой. Он не сомневался в том, что уход американцев означает переброску японских войск на рудник. Майор стремился, очевидно, к тому, чтобы, с одной стороны, обеспечить эту переброску, а с другой — показать союзному командованию, что там, где появляются американские войска, немедленно воцаряется мир и порядок, а там — где японские, начинается война и разруха.

Петра злило то, что майор хотел провести его, как мальчишку, и то, что сбывалось одно из предположений Алеши в споре с ним, и Алеша мог это использовать против него.

XVII

Не доезжая до парома, Петр и ординарец, трусивший позади с лошадью в поводу, которая утром шла под американцем, услышали доносившуюся с реки отчаянную ругань.

— Что там такое?.

Петр дал вороному шенкеля.

С ног до головы покрытый пылью верховой на плясавшей на сходнях буланой лошадке самыми отборными словами ругал китайца-паромщика, гнавшего паром с той стороны реки.

— Ты что орешь? — спросил Петр, подъезжая к нему.

— А чего он, как баба, возится! — вскричал верховой, повернув к Петру раскрасневшееся лицо.— У меня пакет срочный!..

— Кому пакет?

— Товарищу Суркову пакет... От Бредюка...

— Давай его сюда.

Партизан недоверчиво смотрел на него.

— Давай, давай, не ошибешься! — подсказал ординарец.— Это самый Сурков и есть.

Бредюк извещал о том, что после шестичасового боя им занят посад Шкотово. Не надеясь удержать его за собой, Бредюк взорвал мост через реку Майхе, взорвал водокачку и вывозит из Шкотова оружие, обмундирование и продовольствие.

«А ребята по приказу моему ломают железную дорогу, насколько успеем»,— писал Бредюк.

Донесение было отправлено вчера в четыре с половиной часа дня и шло эстафетой от села к селу.

— Молодец! — с широкой улыбкой сказал Петр партизану, перенеся на него все свое восхищение отрядом Бредюка, хотя партизан был из тыловой охраны деревни Хмельницкой.

Петр вспомнил вдруг последнюю просьбу майора о том, чтобы партизаны воздержались от военных действий на участке Кангауз — Шкотово — Угольная хотя бы до окончательного решения ревкома, и понял, что майор знал уже о занятии Шкотова и хотел, пользуясь неосведомленностью Петра, навязать ему такие условия, которые обязали бы партизан очистить Шкотово. Но это значило... Это значило, что Бредюк держит Шкотово в своих руках и до сих пор!

Достав из полевой сумки блокнот, Петр, не слезая с лошади, написал и с тем же партизаном отправил Бредюку записку, в которой одобрял все его действия, предлагал держаться в Шкотове, покуда возможно, и предлагал принять все меры к тому, чтобы задержать переброску японских войск на рудник и, если будет возмож-

но, спустить под откос американские эшелоны, которые двинутся завтра на участок Кангауз — Угольная.

Самовольный поступок Бредюка обернулся непредвиденной военной и политической удачей.

«Эх, если бы я знал об этом, когда разговаривал с этим толстым прохвостом!» — досадовал Петр, в отличном настроении подъезжая к ревкому.

XVIII

Он застал в сборе почти всех членов ревкома. Первой ему бросилась в глаза ежовая голова Алеши Маленького, возбужденно объяснявшего что-то. По тому, с каким ласковым и уважительным вниманием слушали Алешу члены ревкома, Петр понял, что Алеша, знакомившийся с утра с деятельностью отделов ревкома, успел уже всем понравиться.

— Наконец-то! — воскликнул Алеша.— Мы уже начали беспокоиться, не случилось ли чего... Тут есть новости неприятные,— добавил он, как показалось Петру, с некоторым оттенком торжества.

— Тебе письмо с рудника от Якова Бутова, нарочный из Перятина привез,— сказал телеграфист Карпенко.

Петр выхватил у Карпенко письмо и тут же, на пороге, как вошел, в сдвинутой на затылок папахе и со свисающей с руки плетью, прочел его:

«Дорогой товарищ Сурков! — писал Яков Бутов.— Третьего дня прибыл новый начальник гарнизона полковник Ланговой, с ним рота, примерно, колчаков да, говорят, будут еще. Перед ними прибыла рота японцев с артиллерией, и ожидают еще, да есть слух, будто в Шкотове пробка получилась и поезда не идут. Американцы сегодня грузят в вагоны походные кухни и снаряжение. По всему руднику болтают, будто готовится большое наступление на вас. Народ весь в волнении. Один наш парень, Игнат Саенко, застукался с динамитом. Мучили его, пока допрашивали, да он не выдал. Будь жив-здоров, товарищ Сурков. Кланяйся ребятам...»

Письмо было отправлено сегодня утром.

— Так... Ну что ж! Только враги могут радоваться этому обстоятельству,— спокойно сказал Петр, адресуя

эти слова Алеше, хотя Алеша и не думал радоваться этому обстоятельству,— но переброска японских войск на рудник — факт...

Он рассказал о переговорах с майором Грехэм и о письме Бредюка.

— Карпенко! Вызови по телефону Перятино, информируй обо всем Ильина. Скажи, чтобы он на Парамоновский хутор под рудник выслал заставу не меньше роты и разведку под самый рудник. И скажи, что я завтра сам приеду к нему...

— А у меня телефонограмма к тебе от Ильина! — вспомнил Карпенко.

— Ты со мной не поедешь? — спрашивал Петр Алешу, развертывая телефонограмму.

— Конечно, поеду,— с готовностью сказал Алеша.

Командир Сучанского отряда Ильин сообщал о том, что гольды и тазы, жившие возле русской деревни Хмыловки на южном побережье, просили у него помощи против хунхузов, которые грозят сжечь их поселки, и он на свой страх и риск отправил туда взвод.

Петр подумал о том, что при создавшихся условиях не следовало бы ослаблять сучанский отряд хотя бы даже и на один взвод, но, конечно, нельзя было не помочь гольдам и тазам: не говоря уже о том, что это были лучшие разведчики, отказ в помощи им вскоре стал бы известен по всем поселкам и произвел бы неблагоприятное впечатление на туземцев.

— Скажи ему, правильно сделал,— сказал Петр, обращаясь к Карпенко, не придав в общем большого значения этому новому обстоятельству.— Так, значит, поедем? — весело обратился он к Алеше.

— Конечно, поедем,— подтвердил Алеша.

Текущие заботы дня незаметно нахлынули на Петра, домой он попал только поздним вечером и за ужином встретился с Леной. То, что эта девушка — дочь Костенецкого, и то, что она все время будет жить в этом доме, впервые дошло до его сознания. Несколько раз он замечал на себе спокойный, внимательный и в то же время не допускающий в себя взгляд ее больших темных глаз. И этот взгляд, и странная неподвижность ее точно окаменевшего лица, и медленный поворот головы, отягченной темно-русой косой, и усталые движения ее тонких рук чем-то понравились Петру.

Ему никогда бы не пришло в голову отдать себе отчет, чем эта девушка понравилась ему, но она понравилась ему благодаря тому впечатлению естественности и в то же время недоступности ее, которое она, сама того не сознавая, произвела на него.

За весь вечер они обменялись всего несколькими словами.

Рассказывая Владимиру Григорьевичу о письме Якова Бутова, Петр вспомнил о приезде на рудник Ланговой и назвал эту фамилию.

— А вы знаете Лангового? — тихо спросила Лена, и что-то мгновенно и остро блеснуло в ее глазах.

— Немного знаком,— спокойно сказал Петр и пристально поглядел на нее из-под бугристых бровей.— А вы?

— Немножко знакома,— спокойно сказала Лена.

XIX

Ланговой не обманывал Лену, когда говорил ей, что противился новому своему назначению. Но причиной его отказа было вовсе не то соображение, что среди повстанцев находится отец Лены. Причина, по которой Ланговой только скрепя сердце принял новое назначение, была более жизненной. Ему предстояло возглавить карательный полк, действующий в Сучанском и Шкотовском районах, как раз в тот момент, когда на подавление повстанцев должны были бросить японские войска и когда полк переходил в оперативное подчинение японскому командованию. А это шло против убеждений Лангового и больно било по его честолюбию.

Ланговой не принадлежал к тому разряду офицеров (а их было большинство), которые не только не разбирались в обстановке и судьбах белого движения, но и не хотели разбираться в них, а использовали все и всяческие обстоятельства в интересах личной карьеры, обогащения и для жизненных удовольствий. Он принадлежал к тем немногочисленным офицерам, которые сознавали, что удовлетворение их коренных личных интересов лежит в победе их общего дела, и отдавали свои силы на то, чтобы приблизить ее.

Он не верил и не мог верить официальным декларациям держав об их бескорыстии в деле помощи белому

движению. Этому верили только безусые юнцы из военно-учебных заведений да наиболее престарелые и глупые из старых царских генералов. Но слова — *родина, честь, присяга* не были для Лангового только словами, он мечтал о восстановлении былой мощи империи и считал, что в этом деле можно опираться на тех союзников, расплата с которыми не противоречит русскому достоинству и чести. Такими союзниками он полагал союзников России по войне — Англию и Францию.

Япония в глазах Лангового была старым врагом России. В борьбе с этим врагом погибли его отец, брат, мать. Ланговой с детства пронес в себе горечь поражения и утраты, чувство реванша и мести. Он был открытым противником сепаратных действий атаманов Калмыкова, Семенова и генерала Хорвата, придерживавшихся японской ориентации и способствовавших удовлетворению корыстных вожделений своего хозяина.

У Лангового даже охладели дружеские отношения с сыновьями Гиммера, примкнувшими к Калмыкову,— Вениамин потому, что эти круги, все более входившие в силу в крае, обеспечили ему быструю карьеру, а Дюдя — по тем возможностям разгула и полной безнаказанности, которые открылись ему в близости к атаману.

Ланговой не сомневался, что посылка японских войск способствует захватническим действиям Японии в крае и вызовет в населении подъем патриотического чувства, который в условиях восстания пойдет на пользу большевикам. И вот его, против его воли, заставляли участвовать в этом деле.

Но была в его назначении и еще одна, личная сторона,— может быть, самая тяжелая и постыдная для Лангового.

Он никогда не искал чинов и орденов, но с самого начала сознательной жизни он стремился выбиться наверх и готовил себя к делам великим и славным. Всю жизнь, начиная с кадетского корпуса,— на австрийском фронте, в подготовке белого восстания,— он завоевывал себе право на власть над людьми личной доблестью, умом, преданностью долгу — так, как он понимал его. В борьбе военных групп и партий, в суете провинциального общества, суете, которой он, возмещая разрыв с Леной, невольно предавался, он не всегда мог дать отчет в том, насколько преуспевает на пути «избран-

ных». Он знал, что у него, у «государственно мыслящего» офицера, стоящего в оппозиции к господствующим в крае сепаратистским кругам, нет прочной поддержки среди непосредственного над ним командования. Но он не боялся борьбы и думал втайне, что нет таких противников, которые были бы ему не по плечу. Он чувствовал за собой славное имя отца и деда, собственные военные заслуги. Наконец, он принадлежал к тем, за кого говорил авторитет «верховного правителя» и сибирских армий.

То, что его все чаще опережали, обскакивали люди, которых он считал не только менее достойными, а просто бесчестными, смутно беспокоило его. Но он вставал в позу презрения к этим людям и говорил себе: «Это — моль, она недолговечна, твой час еще придет!»

И вдруг небольшой поворот событий — добровольческие части, действующие против повстанцев, терпят поражение, союзное командование совместно с «верховным правителем» санкционирует дополнительный ввоз японских войск, единомышленники Лангового один за другим смещаются с постов — и Ланговой получил назначение в карательный полк, с приказанием выехать в двадцать четыре часа.

Впервые в жизни он попытался использовать некоторые личные связи и потерпел неудачу. В просьбе отправить его на фронт ему было отказано.

Это был крах всех иллюзий, крах позорный и постыдный.

Как ни внушал Ланговой еще совсем недавно и себе и другим, что дело физической расправы с бунтующим населением— это такое же выполнение служебного долга, как и всякое другое, он не мог не понимать, что дело это гадкое и грязное. А главное — он знал, что дело это поручено ему для того, чтобы унизить его и убрать с дороги большой военно-политической деятельности.

Последнее, на что он еще надеялся, это — выиграть время, пока происходит перегруппировка наличных японских войск и пока не прибыли из-за моря новые дивизии. Успешные операции против повстанцев, проведенные в кратчайший срок, могли обеспечить ему и в дальнейшем возможность самостоятельных действий.

Ланговой прибыл на рудник ночью и был встречен полковым адъютантом, проводившим его на квартиру управляющего рудником, где до отъезда прежнего начальника гарнизона, полковника Молчанова, Ланговому был отведен мезонин.

Не раздеваясь, Ланговой кинулся в постель в состоянии крайней моральной и физической усталости. Но уснуть он не смог.

В окнах то вспыхивали, то гасли отблески дальнего зарева от коксовой печи. Где-то — казалось, над самой крышей — с жужжанием проносились вагонетки подвесной дороги.

Чуждый, враждебный мир окружал Лангового: поселок, притихший, словно притаившийся; горы, нависшие со всех сторон; тайга, облитая мертвенным светом месяца.

Он лежал с открытыми глазами, подложив руки под голову, и думал о Лене.

То он видел ее в белой косынке в гостиной Гиммеров, возмужавшую, гордую и несчастную,— такой она показалась ему после долгой разлуки; то переживал сцену последнего прощания с ней ночью на крыльце захолустной станцийки. «Где она сейчас? Что будет с ней?.. Как буду теперь я без нее, без всякой надежды когда-либо увидеть ее?»

И снова, как зубная боль, пронизывало его сознание позорности и униженности своего положения.

«Личные связи, взятка, лесть, преступление — вот то, что в ходу сейчас,— думал он со злобой,— а я не хотел и не умел действовать из-за угла, я шел в бой с поднятым забралом, открытым лицом,— и вот итог всей жизни... И никому нельзя верить, никому!..»

Он не мог забыть, как на просьбу о поддержке начальник штаба несуществующего корпуса, влиятельный генерал, ранее покровительствовавший ему, стал пошло шутить, похлопывать его по плечу. Ланговому мучительно было вспоминать, что он не только не выказал презрения к генералу, а согласился играть с ним на биллиарде и проиграл в последнем шаре. «По крайней мере не надо было рисковать этим дуплетом... Да зачем мне это сейчас?.. Как глупо! Как все это пошло!.. И зря я так много пил последнее время, якшался с сомнительными друзьями, вступал в случайные любовные

связи,— думал он.— Теперь по крайней мере я освободился от всего этого... Но какой смысл, если теперь уже все, все потеряно для меня!..» И снова он слышал враждебное жужжание вагонеток над головой и видел Лену в белой косынке, и снова, как боль в зубах, терзали его муки оскорбленного самолюбия.

Его разбудил хриплый голос полковника Молчанова, одутловатое, сизое от склероза лицо которого с отвислыми седыми усами показалось в дверях:

— Ты уже встал? Можно?..

Весь мезонин был залит солнцем, блестевшим на составленной в углу батарее пустых бутылок от вина и банчко́в от спирта. По банчка́м и бутылкам и по опухшему помятому лицу Молчанова Ланговой безошибочно определил, что вчера состоялись проводы Молчанова, которого он сейчас должен будет сменить.

— Прошу,— холодно сказал Ланговой, вставая, и на лице его появилось сухое официальное выражение, которым он прикрыл ощущение обоюдной неловкости.

XX

В штабе полка пахло чем-то провинциально-затхлым, кислым. Ланговой, положив на стол белую холеную руку с длинными ногтями, брезгливо морщась, выслушивал поздние жалобы Молчанова.

— Приказы сыплются, как из прорвы: разгромить банду такую-то, ликвидировать там-то, уничтожить то-то!..— хрипел Молчанов, с ненавистью поглядывая красными, в прожилках, глазами то на холеную с длинными ногтями руку Лангового, то на лошадиное, с влажными зализами на висках, лицо адъютанта, одновременно выражавшее и готовность служить новому начальнику и равнодушие к старому («Небось наскажет про меня гадостей»,— думал Молчанов).— А знают, что два батальона у меня в Шкотове и командовать ими я фактически не могу. В ротах не более семидесяти — восьмидесяти штыков. Казачья сотня — только название, что сотня. Рота юнкеров — еще куда ни шло. Топографические карты — вранье... Пишут — банды, а все знают: восстали села поголовно, на руднике сидишь, как на пороховом погребе. Надо сносить под корень, беспощадно, а иначе — громкие слова! И я понимаю Калмыкова —

у него слово и дело. Теперь-то это все понимают! А после экзекуции в Бровничах создали обо мне целую переписку — перед американцами благородство показать,— у-у, щелкоперы, белоручки!..

И Молчанов матерно выругался.

Полк, который принимал Ланговой, был разделен на два отряда. Один из них стоял в Шкотове и по условиям партизанской борьбы действовал почти самостоятельно. Как большинство добровольческих формирований этого типа, полк состоял из всякого людского сброда — бывших городовых, охранников, лабазников, гимназистов, людей с уголовным прошлым. За два с лишним месяца полк потерял до половины своего, и без того неполного, состава.

— Контрразведка нам не подчинена. Маркевич интригует, шантажировал меня доносами,— весь налившись кровью, хрипел Молчанов,— а сам делает черт знает что: говорят, таскает бабу свою в подвал смотреть на экзекуции!.. Положились на американцев в охране рудника, да ведь это жиды! — гневно выпучив глаза на адъютанта, выкрикнул Молчанов.— Ездили по селам, жалобы на меня собирали! Я ждал, вот-вот партизан с собой на рудник приведут. Жиды!..

— Нам не пора? — страдальчески сморщившись, спросил Ланговой, взглянув на часы.

— Гарнизон построен, господин полковник! — поспешно подсказал адъютант.

— Я уж не поеду, извини,— угрюмо сказал Молчанов,— и вообще отбуду сегодня, и желаю тебе...

Он обиженно засопел и так и не досказал, чего желает Ланговому.

Придерживая просящего повод мохнатого гнедого жеребца, Ланговой в сопровождении адъютанта на белой лошади и ординарцев медленно спускался с горы по вьющейся в кустах дороге в поселок.

Издалека завидев группу военных на лошадях, дети и даже собаки стремглав неслись в калитки подворотни; торопливые руки захлопывали изнутри домов окна. Работавшая на огороде женщина, захваченная врасплох, испуганно присела между грядок.

Глядя поверх этой суетни, как он всегда умел глядеть поверх того, чего не хотел видеть, Ланговой оценивал выгоды и невыгоды открывшихся перед ним пози-

ций. Расположение было невыгодное: лесистые горы вокруг, горы без конца и края, тайга, клиньями врезавшаяся в самое сердце поселка; разбросанные там и здесь по лесу надшахтные вышки и заваленные углем эстакады в любое время могли стать крепостями врага. Ланговой подумал о том, как много людей должно быть ежедневно занято на сторожевой службе.

Они подъехали к деревянной казарме, перед которой происходило учение японской роты. Приземистый кривоногий офицер, пятясь задом, кричал петушиным голосом. Две желто-зеленых шеренги шли навстречу друг другу с ружьями наперевес, высоко, по-немецки, взбрасывая короткие, толстые от обмоток ноги. Это была прибывшая вчера рота японского полка, охранявшего участок Угольная — Кангауз, а теперь перебрасываемого на рудник.

Немного подальше, под сопкой, вдоль ручья, расположились палатки американцев. Эти люди везде умели устроиться как дома. На склоне сопки белели сквозь кусты новенькие дощатые уборные. Ярко-зеленый лужок по эту сторону ручья был превращен в футбольное поле, и линии, обозначавшие границы поля и места́ игроков, были даже залиты известью. От всего лагеря оставалось впечатление опрятной, сытой и спокойной жизни. «Зачем они, собственно, приехали сюда?» — неприязненно подумал Ланговой, рысью выезжая из ручья на сопку.

Глазам его открылся вид на дальние южные хребты. Над всеми вершинами господствовала мощная голубая пирамида горы Чиндалазы с пиком, похожим на раздвоенный подбородок. В самой ямочке его еще лежал снег.

Два батальона добровольцев с приданными к ним сотней казаков, юнкерской ротой, двумя скорострельными пушками и прибывшей ночью с Ланговым ротой караульного батальона стояли внизу, построившись на дороге. Ланговой спешился. Раздалась команда: «Смирно!»

Ланговой принял рапорт и поздоровался с полком. Ответили не в лад, как индюки, только на правом и левом флангах четко выделились голоса юнкеров и казаков.

— Ат-ставить! — неожиданно тонким и резким голосом скомандовал Ланговой.

Он поздоровался снова. Ответили дружно, но два-три голоса запоздали.

— Ат-ставить!.. Па-втарить!..

Слегка нагнув голову и искоса поглядывая на разведенные носки, подтянутые животы и вздернутые головы вытянувшихся в шеренгах солдат, Ланговой быстрым волчьим шагом пошел вдоль строя.

— Почему равнение не держат? — закричал он, заметив выдавшуюся вперед на полступни роту.— Как ваша фамилия, поручик?

Как и в большинстве тыловых частей, в отличие от фронтовых, солдаты были хорошо обмундированы — в английские шинели, японские бутсы. Но не чувствовалось настоящей выправки, бросалась в глаза разница возрастов. Выгодно отличались только погодки-юнкера и привыкшие к службе казаки. По тому, как весело они провожали его глазами, Ланговой видел, что его требовательность понравилась им и что на этих людей он сможет опереться.

— Строевых занятий не ведете, господа офицеры! — скрипучим голосом говорил Ланговой.— Ставлю на вид командирам батальонов. С завтрашнего дня буду проверять лично. Командира роты юнкерского училища и господина сотника благодарю за службу!.. Разводите людей по казармам...

Пригласив с собой командира того батальона, из которого люди были в этот день в сторожевом наряде, и взяв для охраны несколько казаков, Ланговой поехал проверять заставы.

По договоренности с командованием, американские войска охраняли рудник по северо-западному полукругу, откуда меньше всего можно было ожидать нападения. Добровольческие части несли охрану рудника по наиболее угрожаемому юго-восточному полукругу, обращенному к южному побережью и Сучанской долине.

Кони, храпя и оскользаясь по камню, взбирались по крутым извилистым тропам на гребни отрогов и снова спускались в зеленые распадки. Причудливые нагромождения скал, темные ущелья, сплошной кустарник, брызнувший уже молодой зеленью...

— Почему бы некоторые заставы не выдвинуть вперед, на хребты? Они же ничего не видят дальше собст-

венного носа! — сердито говорил Ланговой, сверяя по двухверстной карте расположение застав с расположением хребтов, долин, дорог.

— Пробовали. Бесполезно. В первую же ночь окружают, истребляют начисто,— хмуро, не глядя, отвечал оскорбленный выговором Лангового на приеме полка командир батальона, угрюмый пожилой капитан, обросший весь, вплоть до суставов пальцев, черным волосом.— Для правильного обеспечения безопасности нужно втрое больше людей. Их нет,— говорил он с мрачным удовольствием.

— Вероятно, по этим причинам полковник Молчанов и избрал рудник в качестве исходной позиции для своих операций? — злобно усмехнулся Ланговой.— И на этом хуторе тоже нет?

Ланговой указал на карте хутор Парамоновский, расположенный верстах в шести от рудника по дороге на Перятино.

— Ставили. Окружают, истребляют начисто,— с угрюмой покорностью повторил командир батальона.

Ланговому ясно было, что, если и дальше оставаться в этом каменном мешке, ни о каком разгроме повстанцев без поддержки японских войск нельзя и думать. Если партизаны, знавшие здесь каждый куст и камень, располагавшие, благодаря связям с населением, точными сведениями о силах противника и его передвижениях, могли в любое время дня и ночи и в любом направлении перебросить отряд, устроить засаду, заранее развернуться в боевой порядок — и так же незаметно исчезнуть, как и появиться, то карательные части могли передвигаться только по большим езженым дорогам, и только днем, и только относительно крупными соединениями, но и при этих условиях они не могли использовать все преимущества лучшей организации и вооружения.

Все, чему учили военные книги и собственный боевой опыт, все это было бессмысленно и невозможно в условиях незнакомой (и не могущей быть изученной) горной лесистой местности — по отношению к противнику, численность которого никогда не известна, который не защищает никаких позиций, но находится везде, всегда невидим, но видит каждый твой шаг.

Надо было как можно скорее выводить полк из этого каменного мешка в широкую безлесную Сучанскую

долину, где сразу обнаружились бы все преимущества регулярной части, вооруженной пулеметами и артиллерией, перед неорганизованными и плохо вооруженными повстанцами, хотя бы их было и в несколько раз больше.

Разгромив сосредоточенные в селе Перятине главные силы повстанцев и заняв центр движения — село Скобеевку, полк получил бы господствующее положение над всей долиной и лишил бы повстанцев базы формирования и снабжения.

В долину вели две дороги, годные для прохождения войск и пушек. Одна из дорог, ближняя, шла на восток через хутор Парамоновский и выходила в долину против села Перятина, где через реку Сучан ходил паром. Но паром мог быть заранее уничтожен партизанами. Кроме того, село являлось для партизан хорошим прикрытием, чтобы помешать переправе. Другая дорога, дальняя, шла на юго-восток и выходила в деревню Екатериновку, расположенную по эту сторону реки, километрах в двадцати ниже Перятина. Здесь переправа через реку была бродом и со стороны партизан ничем не могла быть защищена.

Можно было предпринять комбинированное наступление двумя отрядами по обеим дорогам. Один отряд — более сильный — занимает Екатериновку, переправляется через реку и движется вверх по долине — на Перятино. Другой отряд занимает хутор Парамоновский и, выйдя к парому против Перятина, открывает пулеметный и артиллерийский огонь по селу, обеспечивая наступление первому отряду, который и занимает Перятино.

С этими предположениями, усталый, не выспавшийся и озлобленный всем, что ему пришлось видеть, Ланговой вернулся на рудник. В штабе полка ему сообщили, что его несколько раз вызывали по телефону из штаба американских войск по поручению майора Грехэм.

— Если позвонят еще раз, передайте господину майору, что меня нет...— с раздражением сказал Ланговой.

Полковника Молчанова уже не было на руднике. Ланговой занял его квартиру на втором этаже дома управляющего.

XXI

Наутро он пригласил в штаб контрразведчика Маркевича.

Все, что он слышал об этом человеке, вызывало непосредственное чувство брезгливости к нему. Но Ланговой знал, что его личный успех теперь во многом зависит от того, насколько Маркевич будет помогать ему. И он поступил так, как поступал всегда, когда обстоятельства вынуждали его делать что-либо противное его совести: отбросил даже самую возможность интересоваться закулисной стороной деятельности Маркевича, оградив себя теми обязательствами, которые называл служебным долгом.

Маркевич вошел без доклада, даже не постучавшись.

— Имею честь явиться,— развязно сказал он,— поручик Маркевич...

— Садитесь,— холодно сказал Ланговой.

— Можно курить? — Маркевич достал из кармана френча измятую пачку сигарет и серебряную зажигалку.— Не хотите ли? Японские.

— Нет...

Ничего примечательного не было в нем. Было общее впечатление чего-то поношенного и подержанного и не имеющего возраста. Природа отпустила его худому лицу излишек кожи, и она дрябло обвисала по щекам; под глазами — мешки; глаза круглые и невыразительные, как копейки. И одет он был очень неряшливо — френч точно изжеванный и в пуху, один погон полуоторван, синие галифе в ржавых пятнах.

— Расскажите, что делается на руднике.

— Что делается? Жалованье не платят, народ бунтует. Надо жалованье платить,— плаксивым голосом заговорил Маркевич.

— Но в поселке спокойно как будто?

— В поселке спокойно, а под землей бунтуют, вон там...— И Маркевич указал пальцем в пол.

— Много арестованных?

— Мы их здесь не держим: или отсылаем, или ликвидируем...

— Или отпускаете? — полувопросительно, с усмешкой подсказал Ланговой.

Маркевич, заглотнув дым, некоторое время задержал на Ланговом свои копеечные глаза, налившиеся вдруг тяжелой желтоватой медью. Потом, сильной струей выпустив дым под стол, он спокойно сказал:

— Зря не берем, потому не отпускаем. Ночью взяли одного, полпуда динамита на квартире. Говорит, украл — рыбу глушить. А партизаны бомбы делают...— И он вдруг тоненько засмеялся, закрыв глаза.

В комнату быстро вошел адьютант.

— Разрешите доложить? — взволнованно сказал он, звякнув шпорами.

— Да?

— Со станции Кангауз сообщают: Шкотово занято партизанами. Дальше Кангауза телефон не действует, и установить связь с нашими частями пока не удалось.

Ланговой почувствовал, как кровь отхлынула от его лица, он овладел собой.

— Хорошо. Вызовите Кангауз к прямому проводу. Велите подать лошадей.

— Есть... Разрешите... третий раз звонят из штаба американских войск. Майор Грехэм просит вас к себе.

— Скажите господину майору, что я готов принять его в любое время,— резко сказал Ланговой.

Адъютант вышел.

— Действительно! — фыркнул Маркевич.— Они нам столько гадили. Вчера я имел удовольствие познакомиться с капитаном Мимура. Какой любезный человек! Прекрасно говорит по-русски и, как ни странно, православного вероисповедания. Он даже квартиру снял у священника...

— Я вас прошу, господин поручик,— сказал Ланговой, в упор глядя на Маркевича,— расследовать дело с динамитом и, если обнаружите связи рудника с деревнями, пресеките их и поставьте меня в известность...

— Будьте спокойны,— блеснув своими копейками, сказал Маркевич.

— Вы связаны с кем-нибудь в Скобеевке? — спросил Ланговой.

— Конечно.

— Назовите мне.

— Я запишу вам...

Маркевич оторвал белый краешек лежащей на столе газеты и мелко написал что-то.

Ланговой прочел: «Тимофей Казанок, крестьянин».

— Кроме того, у японцев есть связи среди корейцев,— сказал Маркевич.

— Благодарю вас. Вы свободны.

Ланговой вызвал адъютанта.

— Что ответили вам от майора Грехэм?

Адъютант замялся.

— Повесили трубку, господин полковник.

— И прекрасно. Кланяться не будем,— сказал Ланговой, багровея.

При выходе из штаба Ланговой чуть не наткнулся на часового, который, загородив спиной дверь, держа поперек винтовку, не впускал в штаб бедно одетую женщину с мокрыми косыми глазами. Одной рукой женщина прижимала к груди завернутого в дырявый платок плачущего ребенка, а другой держала за руку мальчика лет девяти, со страхом глядевшего на часового расширенными голубыми глазами.

— Миленький, пусти!.. Миленький, пусти!..— со слезами просила женщина.

— Говорят, уходи, не то...

Часовой отгораживался от нее винтовкой и пятился, боясь прикоснуться к женщине, чтобы не придавить ребенка.

Женщина первая увидела Лангового.

— Ваше благородие! — крикнула она, кидаясь на часового.

Часовой оглянулся и, испугавшись начальника, ложем винтовки уперся женщине ниже живота и оттолкнул ее; женщина едва не упала с крыльца. Мальчик, вскрикнув, прижался к бедру матери. Ланговой, не глядя на них, быстро сбежал с крыльца и пошел к лошадям, которых вел навстречу ему вестовой.

— Ваше благородие!.. Миленький!..

Женщина бежала за адъютантом, пытаясь ухватить его за руку, адъютант с улыбкой не давался.

— После, после,— говорил он, отмахиваясь.

— У меня же муж арестован... Господи!..— с отчаянием сказала женщина.

Она грузно опустилась на землю и заплакала.

Ланговой, за ним адъютант и вестовые вскочили в седла и поскакали на станцию, подняв за собой клубы пыли.

XXII

Обстоятельства занятия Шкотова партизанами были таковы.

В тот день, когда Алеша Маленький покинул Бредюка, перебежало на сторону партизан несколько колчаковских солдат, среди них писарь штаба гарнизона, принесший дислокацию белых частей и расположение постов, учреждений и офицерских квартир.

Бредюк, пользуясь холмистой местностью, поросшей густым кустарником, к ночи стянул все силы к крайним от тайги казармам, а сам, переодевшись офицером, во главе двадцати конных, переодетых в колчаковскую форму, поехал в Шкотово.

Вместе с Бредюком поехал и его ординарец и правая рука, Шурка Лещенко,— из тех преданных Бредюку и только его и признававших отчаянных ребят, про которых говорили, что они «врага вострием бьют, а своих — плашмя».

Они поехали не прямой дорогой из Майхе, а по шоссе, которое шло параллельно железной дороге: в расположении шоссе не было сторожевых секретов, а стоял только часовой при въезде в посад. Ликвидировав часового и перерубив телефонный провод из караульного помещения, Бредюк и еще несколько человек вошли в помещение. Заспанный начальник, вытянувшись и мигая, начал докладывать Бредюку о том, что «на вверенном ему участке ничего не случилось». Бредюк ударил его шашкой по голове, остальные бросились на спящих сменных и порубили их.

Построившись в колонну по три, они шажком поехали к штабу гарнизона. Дорогой им встретились двое конных дозорных. Бредюк накричал на дозорных — почему они прямо подъехали к колонне, а не окликнули издалека, и велел их «арестовать». Дозорных спешили, обезоружили и тут же зарубили. Трупы перебросили через забор, а коней привязали, чтобы они, прибежав в конюшню, не наделали переполоху.

Штаб гарнизона помещался неподалеку от казарм, со стороны посада, в реквизированном гражданском доме. Благодаря маскировке и тому, что никто не мог ожидать появления Бредюка в самом сердце расположения белых, партизанам удалось бесшумно ликвидировать дежурного

по штабу офицера, вестового, телефониста и порвать телефонную связь.

Во второй половине дома жил начальник гарнизона.

— Пойдем, Шурка, навестим начальство! — сказал Бредюк с деревянной своей усмешкой.

На стук в дверь вышел заспанный босой денщик в нижней рубашке и ватных солдатских штанах с вылезающими из-под них белыми подштанниками.

— Их высокоблагородие спыть,— сказал он в ответ на просьбу Бредюка пропустить их.

— Де ж воно спыть? — ласково спросил Шурка.

— А у горници,— ответил денщик, удивленно посмотрев на солдата, осмелившегося вмешаться в офицерские дела.

— А может, тут еще кто живет, с кем поговорить: дело срочное,— сказал Бредюк.

— Хто ж тут живе, тилько вин и живе,— почтительно подавляя зевоту, отвечал денщик.

Бредюк двумя руками схватил его за рубаху и отшвырнул от двери.

— А ну, вдарь его, Шурка! — сказал он.

Денщик, охнув, с разрубленным лицом упал с крыльца.

Взяв ночник, горевший в передней, а в другой руке держа обнаженную шашку, Шурка, за ним Бредюк на цыпочках прошли в комнаты.

Начальник гарнизона, запрокинув голову и храпя так, точно он стакан грыз, спал, разметавшись на пуховой перине. Синее стеганое одеяло сползло на пол; видны были задранные кверху усы, верхний ряд зубов и обнаженное по пояс упитанное безволосое тело: по спортсменской привычке начальник гарнизона спал без белья.

— Який гладкий... Видать, ще николы не битый,— с удивлением и завистью шепотом сказал Шурка.

— Сейчас мы его научим жить,— раздув ноздри, просипел Бредюк и плетью, висевшей у него на руке, изо всей силы стегнул по ровно вздымавшемуся и опускавшемуся во сне белому телу.

Начальник гарнизона взвился на постели и, выпучив оловянные глаза на стоящих перед ним с ночником и обнаженной шашкой и занесенной плетью незнакомых людей, обиженно хрюкнул.

— Вдарь его, Шурка! — сказал Бредюк.

Лещенко взмахнул шашкой, и начальнику гарнизона так и не удалось узнать, что же, собственно, с ним произошло.

Они вылили из ночника керосин на постель, подожгли ее и выбежали из дому.

— Давай сигнал! — взлетев на седло, скомандовал Бредюк.

Три ракеты, треснув одна за другой, шипя, взвились в светлеющее небо. И еще не рассыпалась искрами третья, как в лесу за казармами загремели залпы.

— Срывай погоны! В посад!..— прохрипел Бредюк.

Конники, рассыпавшись по двое-трое, стреляя на скаку и крича: «Бежим! Пропали! Скорей, скорей!» — помчались в разные концы по улицам.

В лесу за казармами взнялось и покатилось «ура». На станции тревожно загудели паровозы. Солдаты, полуодетые, многие без оружия, одиночками, потом группами, потом толпами, тяжело сопя и топоча сапогами, молча бежали по улицам. Стрельба занялась в различных пунктах посада, охватывая его по краям. И все шире полыхало над посадом светлое зарево от горящего штаба гарнизона.

Как и рассчитывал Бредюк, противник, охваченный паникой, не оказал сопротивления. Защищались только отдельные группы, не успевшие убежать затемно. Японская охрана на станции, не имевшая приказа отступать, отстреливалась до тех пор, пока не была перебита. Часам к двенадцати дня Шкотово было в руках партизан.

XXIII

Пока Ланговой разговаривал по прямому проводу с Кангаузом, американское командование без всякого уведомления сняло свои заставы.

Просить майора Грехэм восстановить посты после того пренебрежения, которое Ланговой выказал ему, было невозможно да и бессмысленно: американцы вот-вот покидали рудник. Поставить на их место свои части значило сорвать операции в Сучанской долине.

Как ни оскорбительно было Ланговому обращаться за помощью к капитану Мимура, который до сих пор не посчитал нужным представиться ему как начальнику гарнизона, другого выхода не было. Не желая лично унижаться перед японцем, стоящим ниже его по чину, Ланговой отправил на переговоры адъютанта.

Адъютант вернулся смущенный:

— Категорически отказывается. Говорит, не имеет распоряжений.

Сопровождаемый вестовыми, Ланговой поехал к капитану Мимура для личных переговоров. С трудом он отыскал дом священника.

Капитан Семен Мимура, из крещеных японцев, седенький старичок с желтым лицом, разграфленным морщинками на мельчайшие квадратики и ромбики, не в форме, а в домашнем кимоно, сидел посреди кухни на корточках и кормил из рук павлина.

Попадья, тощая и кривая, как адамово ребро еще до его превращения в Еву, стояла возле печи и наблюдала за старичком с лицемерной улыбкой, не скрывавшей ее природной злости.

Увидев Лангового, старичок встал и потер одна о другую ладошки, смахивая пыль от пшена. Ланговой представился. Черные глазки старичка зажглись искренним весельем.

— Нет большей чести — видеть вас у себя,— сказал он с улыбкой, обнажившей два ряда золотых зубов.— Чем могу услужить?

Ланговой в замешательстве взглянул на попадью.

— Я очень извините,— весь превращаясь в улыбку, сказал Семен Мимура, посмотрев на попадью, как на икону, молитвенно сложив ладошки.

Попадья вышла.

— Я слушаю вас...

Мимура присел на корточки и, зачерпнув из миски горсть пшена, снова стал кормить павлина, изредка взбрасывая на Лангового веселые черные глазки и награждая его золотой улыбкой. Иногда он шустрыми тонкими пальцами хватал павлина за клюв. Павлин дико кричал, распуская свой феерический хвост.

По тому, как охотно капитан Мимура согласился на его предложение, Ланговой понял, что капитан только и хотел того, чтобы старший по чину русский начальник

гарнизона первый явился к нему. Мало того — Ланговой не сомневался теперь, что американцы сняли заставы по предварительному сговору с капитаном Мимура.

— Говорят, большевики занять Шкотово? — сделав монашески постное лицо, ласково спросил Мимура.— Ай-ай, какая неприятность для вас!..

— Это... это неприятность и для вас,— едва сдерживая дрожание голоса, сказал Ланговой, и на виске его забилась тоненькая жилка.— В Шкотове потерпели поражение и японские войска!..

— Ваши неприятности — всегда наши неприятности,— вежливо согласился капитан.— Я очень, очень рад вам. Такое приятное знакомство! Такой молодой человек уже полковник,— говорил он, хватая кричащего павлина за клюв.— Русские офицеры имеют сейчас так возможности проявить свои доблести, так быстро-быстро получить высокий чин!.. Мы зарабатываем свои чины долголетней службой...

Ланговой вышел от него со взмокшей от унижения спиной.

Связь с частями, отступившими из Шкотова, все еще не была восстановлена. Ланговой отдал приказ, чтобы завтра на рассвете казачья сотня выступила в деревню Екатериновку, что в двадцати верстах ниже Перятина, и, заняв деревню, оставалась там до новых распоряжений. Кроме того, он приказал высылать каждый день по дороге на Перятино, до самой переправы, конную и пешую разведки и результаты разведки докладывать лично ему.

XXIV

В мрачном настроении вернулся он к себе на квартиру. И был постыдно обрадован запиской от жены управляющего: его приглашали отужинать.

Самого управляющего не было на руднике: он уже неделю как находился в городе. Ланговой застал на его квартире только женское общество. Он догадался, что это — «смотрины».

— Вот он! — торжественно сказала жена управляющего, длинная, худая, черная дама с невыносимо широкими бедрами и близко сведенными щиколотками.— Рекомендую, господа: полковник Ланговой...

— Боже, такой молодой и уже полковник! — воскликнула полная пожилая блондинка словами Семена Мимура.

— Да у вас тут целый вертоград! — с улыбкой сказал Ланговой, задерживаясь в дверях.

— Ах, что вы! Какой вы, право, беспощадный,— смущенно говорила хозяйка («вертоград» она приняла за нечто среднее между «вертеп» и «вертопрах»).— Сегодня на руднике только о вас и говорят.

— Я, право, смущен,— говорил Ланговой, обходя дам и целуя им руки.

Маленькая женщина с лицом ребенка и совершенно седыми, блестящими, мелко волнистыми, точно гофрированными волосами сидела, глубоко уйдя в кресло, положив на подлокотники белые тонкие руки.

— Вот вы какой! — тихо сказала она, глядя большими голубыми глазами не на Лангового, а как бы сквозь него, в какую-то пустоту за ним.— Маркевич,— назвала она себя и вся изогнулась, протянув Ланговому влажную руку. Она была исключительно маленького роста, маленького даже для женщины, и так анемична и нежна, что казалась лишенной костей. На ней было легкое белое платье. Цвет ее лица, тонкой шеи и рук был предельно-нежно белый. Во всем облике ее и в том, как она изогнулась, подавая руку, и как взглянула на Лангового, было что-то порочное, что-то сумасшедше порочное, и Ланговой, вспомнив то, что говорил про нее полковник Молчанов, почувствовал внутренний трепет, коснувшись губами ее руки.

— Вы, конечно, освободите Шкотово? Иначе я буду навеки разлучена с мужем,— играя черными глазами навыкате, говорила жена управляющего.

Стыдно было сознаться, но он был рад этому пошлому фестивалю. Он был снова окружен женским вниманием, к которому так привык. И он, стряхнув с себя заботы, отдался небрежной и суетной болтовне.

Но что бы он ни говорил и ни делал, он все время чувствовал на себе странный, отсутствующий взгляд маленькой седой женщины. У нее была привычка, приподняв круглое бескостное плечо, нежно тереться о него щекой, но и тогда она не переставала искоса наблюдать за Ланговым. Время от времени она озабоченно поглядывала на маленькие часики на руке.

За весь вечер она не произнесла ни слова и отказалась от ужина. Какое-то неосознанное любопытство толкнуло Лангового проводить ее в переднюю и подать ей накидку. На мгновение он почувствовал под руками ее переливающееся тело.

— Благодарю вас,— сказала она голосом, в котором слышалось отдаленное воркованье. Потом, обернувшись к Ланговому и обращаясь словно бы не к нему, а к кому-то стоящему за ним, она спросила: — Вы живете в квартире полковника Молчанова? У вас отдельный ход, не правда ли?

— Да, а...

Он удержался от глупого вопроса.

— До свиданья,— сказала она, направляясь к двери.

В это мгновение дверь отворилась, и на пороге показался денщик Ланговего. Денщик неуклюже попятился, чтобы дать женщине дорогу.

— Пакет прислали, ваше высокоблагородие, велели срочно передать,— сказал денщик, словно бы извиняясь.

На пакете стояла печать американского штаба. В пакете было что-то твердое.

Ланговой вскрыл пакет и, подойдя поближе к лампе, тускло освещавшей переднюю, вынул несколько фотографий и письмо, напечатанное на машинке.

Некоторое время Ланговой, не понимая, смотрел на фотографии, перебирая одну за другой. Наконец он стал различать то лежащие по одному, то наваленные одни на другие обугленные, скорченные, изуродованные тела с отрубленными конечностями и перекошенными, оскаленными ртами. «По поручению майора Грехэм,— прочел он,— пересылаю вам некоторые подробности деятельности вашего предшественника. Снимки сделаны в деревне Бровничи. Лейтенант Вилькинс». Ланговой испуганно оглянулся.

Денщик молча стоял у двери, опустив громадные черные кулаки.

— Ступай... ступай домой,— хрипло сказал Ланговой.

И, быстро сунув в карман фотографии, скомканные пакет и письмо и придав лицу прежнее выражение полупрезрительной небрежности, он вернулся в гостиную.

XXV

Захваченный с динамитом рабочий Игнат Саенко, по прозвищу Пташка, работал откатчиком в шахте № 1. Пташкой он был прозван на то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу — маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошеий. Он был женат и имел двух детей, и старший его сынишка тоже умел уже подражать птицам.

Игната Саенко взяли ночью, побудив всех соседей. И когда его вели, его жена, сынишка и все соседи и дети соседей, любившие Пташку за то, что он пел, как птица, высыпав на улицу, долго кричали и махали ему вслед.

Контрразведка помещалась над оврагом, в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сенной двор. Пташку впихнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета.

С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла прийти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом.

Весь остаток ночи он не то чтобы набирался сил, чтобы не проговориться,— таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было,— а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. А еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя с двумя ребятами, косую»,— думал Пташка.

На рассвете пришли взявший его ночью унтер — большой мужик с черной бородой, росшей более в толщину, чем в ширь, и солдат с ружьем — тоже рослый, но рыхлый, желтолицый скопец. Они отвели Пташку на допрос.

Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом и, хотя он его никогда не видел, догадался, что это сам Маркевич (кто же на руднике не знал Маркевича). Ему стало страшно. Но пока Маркевич спрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем. Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу.

— Рыбки, значит, захотелось? — нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич.

— Двое ребят у меня, жалованье не платят, живем бедно, сами понимаете,— сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться.

— Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть? — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру.— Полпуда! А!..

Пташка сказал, что он, правда, хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать.

— А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов? — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали.

«Откуда он...» — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо — даже не очень удивленное, а такое, как надо,— и сказал:

— Терентий Соколов? Да я и не знаю такого...

— А что, если я его приведу сейчас и он про тебя все расскажет?

— Не знаю, кто он и что он мыслит сказать,— пожав плечами, ответил Пташка: он знал, что Маркевич не может привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина.

— Слушай,— таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич,— Соколов признался в том, что на квартире твоей передаточный пункт, откуда динамит переправляют к красным... Я знаю, тебя в это дело зря запутали. Если назовешь, кто тебя запутал, я тебя отпущу. А не назовешь...

— Я, ваше благородие, служил на царской службе, я всю германскую войну прошел,— проникновенно сказал Пташка,— а с красными дела я не имел и не могу иметь. А сознаю я то преступление, что я тот динамит

покрал для глушения рыбы по великой бедности. И коли должен я за то идти под суд, пусть будет на то ваша воля...

Маркевич вразвалку обошел вокруг стола и, постояв против Пташки и посвистав немного, изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Пташка отлетел к стене и, прижавшись к ней спиной, изумленно и гневно посмотрел на Маркевича,— из носу у Пташки потекла кровь.

Маркевич, подскочив к нему, тычком стал бить его кулаками в лицо, раз за разом, так что Пташка все время стукался затылком о стену. Пташка не успевал ничего сказать, а Маркевич тоже ничего не говорил, а только бил его кулаками в лицо, пока у Пташки не помутилось в голове и он не сполз по стене на пол.

Унтер и солдат подхватили Пташку под руки и, пиная его плечами и коленями, отволокли в амбар.

Пташка долго лежал в углу, обтирая полой рубахи горящее опухшее лицо, сморкаясь кровью и тяжело вздыхая. Он думал то о том, что он теперь пропал, то о том, что улик против него все-таки нет, и это немного подбадривало его. Потом ему захотелось покурить и поесть, но никто не шел к нему. Со двора не доносилось никаких звуков. Он был отрезан от всего мира, ему неоткуда было ждать помощи и некому было пожаловаться. Он подложил руку под голову и незаметно уснул.

Проснулся он от звуков открываемого замка. Дверь распахнулась, и вместе с солнечным светом и запахом весны в амбар вошли Маркевич и унтер. Чернобородый унтер с ключами в руке остановился у распахнутой двери, а Маркевич подошел к Пташке, с пола смотревшему на него настороженными птичьими глазами.

— Что, не надумал еще? — сказал Маркевич.— Встать! — взвизгнул он вдруг и сапогом ударил Пташку в живот.

Пташка вскочил, одной рукой поджав живот, а другой пытаясь заслониться от Маркевича.

— Говори, кто носил тебе динамит. Убью!..

— Убейте меня,— детским голосом закричал Пташка,— а я не знаю, чего вы от меня хотите!..

— Взять его! — сказал Маркевич.

Унтер крикнул со двора солдата. Через пробрызнувший молодой травкой двор Пташку подвели к длинному погребу с земляной, прорастающей бурьяном крышей

с деревянными отдушинами и зачем-то железной трубой посредине.

— Куда вы ведете меня? — спросил Пташка, бледнея.

Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком, открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью. Пташку сбросили по ступенькам,— он упал возле каких-то бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих заплесневевших бревен.

В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат держали обмякшего и притихшего Пташку, Маркевич засветил фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотный трупный запах.

С противоположного конца помещение было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу — кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка.

Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.

— За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня,— тихо и очень серьезно сказал ему Пташка.

— Раздеть его! — скомандовал Маркевич.

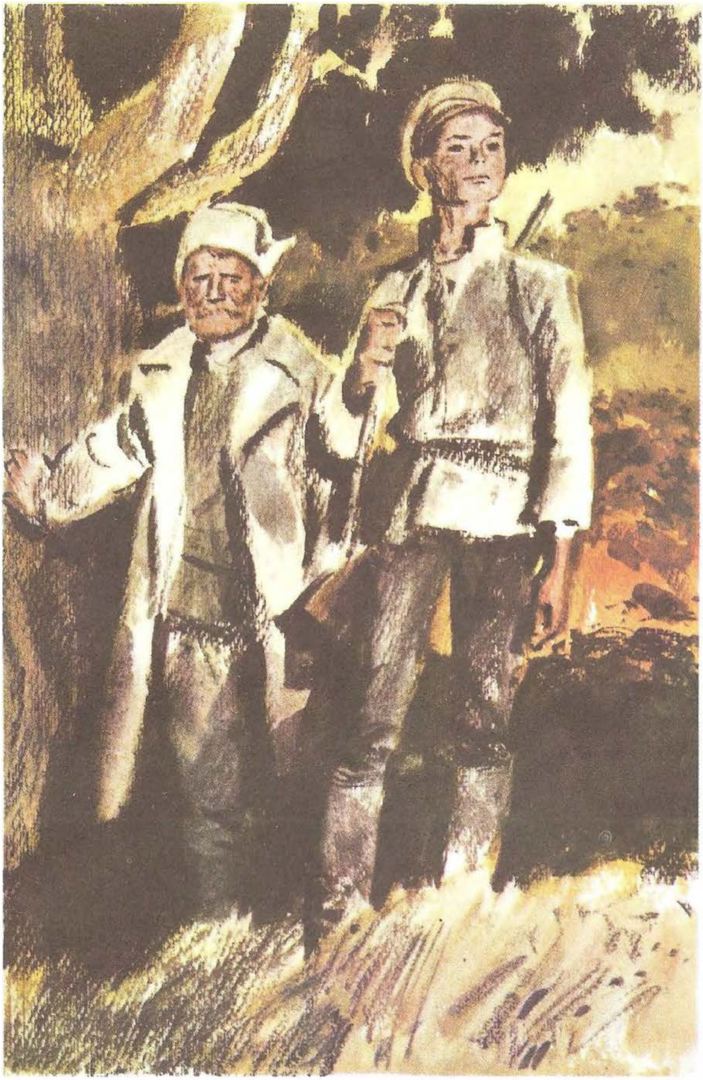
— Что вы хотите делать? — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.

Но они кинулись на извивавшегося Пташку и, пиная его и вывертывая ему руки, сорвали с него одежду и, голого, повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом — веревки начинали душить его.

Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.

XXVI

И с этого момента началась новая, страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не имеющую конца, сплошную ночь мучений, немыслимых с точки зрения человеческого разума и совести.



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть I)*.



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть I)*.

Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченный за дверь в тесную земляную каморку, он лежал в непроглядной душной и сырой тьме, забывшись сном или лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей жизни.

Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтера, откуда выглядывали его потная волосатая грудь и шнурок от нательного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собственной крови и паленого мяса — все заслоняли перед Пташкой.

Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и для того, чтобы высечь из этого, уже не похожего на человеческое, тела новую искру страдания, изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват...»

Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла. Появление ее было так невозможно здесь, что Пташке показалось — он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми пустыми голубыми глазами. И Пташка понял, что это не видение, а живая женщина, и вдруг ужаснулся тому, что все, что́ происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все это — правда.

И в то же мгновение все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когдалибо приходили ему в голову.

Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь — ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира — и теплые удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах,— чтобы эти люди могли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, немыслимым даже и среди зверей?

И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя и для всех людей.

Пташка понял теперь, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли,— что все это ложь и обман, а правда их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли тело Пташки, закованное в обручи у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть.

И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им об этом. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не до конца понимают это, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова и снова обманут их и задавят на земле все живое.

Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича с потным и бледным исступленным лицом, на освещенную багровым светом горна съежившуюся на топчане и смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка чувствовал, как в груди его вызревает сила какого-то последнего освобождения.

— Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня...— тихо, но совершенно ясно сказал Пташка.— Разве вы люди? — сказал он с великой силой презрения в голосе.— Вы не люди, вы даже не звери... Вы выродки... Скоро задавят вас всех! — торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.

Маркевич, исказившись, изо всех сил ударил его щипцами по голове.

Тело Пташки два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер.

XXVII

Рота Игната Васильевича Борисова, проведя ночь в пути, на рассвете прибыла в Перятино. Село было до отказа забито партизанами. Роте отвели общественный амбар на площади,— немного было тесновато, но старик не возражал: под боком расположилась отрядная кухня, и суп можно было получать, когда он еще густой.

Пока Игнат Васильевич устраивал роту, пришел племянник Гришка, без разрешения отставший в деревне Краснополье,— разжиться медом. Старик прибил племянника, а туес с медом отобрал в подарок командиру отряда Ильину. Ильин в одних исподниках, босой, сидел на столе и кричал в телефонную трубку:

— Хунхузы? А много?.. Как?!

Дородная белотелая жена его, заметно на сносях, и молодой ординарец сидели верхами на лавке друг против друга и чистили картофель. Помощник командира еще спал.

— Вот, Матрена Алексеевна, медок тебе. Из самого дома несли,— сказал Игнат Васильевич.— Что нового, детка?

Игнат Васильевич всех, даже стариков и старух, называл детками.

— Да почти и ничего, сап на коней объявился,— сипло, по-командирски ответила Матрена Алексеевна.

Ильин бросил трубку.

— Только хунхузов на нашу голову не хватало... Здравствуй, Игнат Васильевич! Что — мед? Это хорошо,— сказал он, посмеиваясь вотяцкими голубыми глазами.— Пришли, понимаешь, с хмыловских гольдов дань

требовать, вот медики. Придется еще взвод посылать, ну их к чертовой матери! — весело говорил он, почесывая грудь, поросшую светлыми вьющимися волосами.

Матрена Алексеевна, взглянув на мужа, вдруг вся залилась краской, как девочка.

— Хоть бы оделся,— сказала она: не то чтобы она не видела его в таком обличье, да одно дело видеть голого мужа наедине, а другое — на людях.

— А чего мне прятать? Каждый знает, что у кого есть,— отшутился Ильин.

— У меня приказ вас разлучить,— с улыбкой пробасил Игнат Васильевич.— Пётра приказал, чтобы ты ее в ревком доставил на собственную опеку его.

— Пускай берет, только какая ему радость от нее?

Матрена Алексеевна, размахнувшись по-мужски, пустила в мужа нечищеной картофелиной.

— В коленку ранила, нечистая сила! — смеялся он, прыгая на одной ноге, морщась.— Обожди, Игнат Васильевич, оденусь, продукты выпишу.

Справив все хозяйственные заботы и пообедав, Игнат Васильевич только было прилег вздремнуть в тени под амбаром, как его снова вызвали к Ильину: было получено распоряжение Суркова выслать заставу на Парамоновский хутор, и Ильин решил послать отдохнувшую на скобеевских харчах роту Борисова. Старику приказали установить под самым рудником наблюдательный пункт и о всех передвижениях противника немедленно сообщать в штаб отряда. К роте придали несколько конных связных.

Хутор Парамоновский состоял из четырех дворов, расположенных вдоль по увалу, раскорчеванному под огороды возле самых изб и лесистому на остальном своем протяжении. С начала восстания, еще с зимы, жители покинули хутор и переселились в Перятино.

Расположив роту на хуторе, Игнат Васильевич выделил группу в пятнадцать человек пеших и конных для наблюдения над рудником.

Чтобы никто не подумал, что старик жалеет своих, он включил в группу второго, самого нелюбимого сына — Константина, сорокалетнего кривоногого, белесого и злого мужика, которого старик, чтобы скрыть свою нелюбовь к нему, называл Костинька-детка (так же все называли его и в селе), и внука Саньку — сына Костиньки-

детки, молодожена, и племянника Гришку — сына Нестера Борисова, того самого Борисова, который ходил десятским в Скобеевке.

Старшим по группе Игнат Васильевич назначил старшего своего сына Дмитрия — чернобрового, несусветно бородатого, начавшего уже седеть богатыря, лучшего в долине охотника, лучшего даже среди остальных Борисовых, которые все славились как охотники. Старик назначил его не только по соображениям дела, но и для того, чтобы на время отдалить его от себя: в последние недели они так ссорились, что в день выступления из Скобеевки старик кинулся на сына с кулаками. А ссорились они из-за того, что сын требовал выделить его из хозяйства.

В Скобеевке было более двадцати дворов Борисовых, и все — от одного корня. Родоначальник этого куста, теперь уже умерший, прибыл в эти края в 1861 году, когда Игнату Васильевичу было всего шесть с половиной лет. Как и все старожилы, отец Игната Васильевича получил надел в сто десятин, но наплодил двенадцать сыновей, а сыновья тоже были изрядно плодовиты, а внуки тоже хотели быть хозяевами, а там уже подрастали и правнуки, и после бесконечных трехступенных разделов и выделов разбогатело только двое Борисовых, а большинство Борисовых жило хуже последних переселенцев.

Игнат Васильевич, отделивший уже трех сыновей, еще держался кое-как, но держался потому, что старший его сын Дмитрий, имевший в семье четыре пары взрослых рабочих рук, жил вместе с отцом.

Теперь, когда запахло всеобщим земельным переделом, заговорил о выделе и старший сын. А старику было и боязно, и обидно, и жалко чего-то большего, чем земля и рабочие руки, и он сопротивлялся уходу сына всеми силами.

— Злой он на тебя,— с довольной усмешкой на тонких бескровных губах говорил Костинька-детка, осторожно ступая кривыми ногами по тропе за старшим братом и прислушиваясь к тому, как позади партизаны высмеивают молодожена Саньку,— ты бы хоть не дражнил его, что ли?

— А что я могу сделать? — обернувшись, с добродушной и виноватой улыбкой на красивом сильном лице, сказал Дмитрий Игнатович.— Разве я дражню. Мне,

поди, жалко его. Да кабы он один да матка, а то вон их сколько ртов! И всю жизнь я вроде в батраках, а уж седина в бороде. Я ему говорю: «Коли ты, говорю, стар станешь, неужто мы четверо — хоть бы я, или тот же Костинька, или Иван, или Ларивон — неужто мы не прокормим тебя с маткою?..» — «А, спасибо, спасибо, говорит. Из милости? Я на вас сколь своих сил и души своей положил, а потом просись к вам, Христа ради?.. Я, кричит, лучше себя убью и матку вашу убью!» А правда, убьет,— с уважением к отцу сказал Дмитрий Игнатович.

— Не убьет, пугает,— усмехнулся Костинька-детка, прислушиваясь к разговору позади.

— Расскажи: как с молодой женой перву ночку коротал? — спрашивал позади чей-то издевательский голос.

— Это дело наше,— смущенно отвечал Санька.

— Нет, хорошо бы на староверские земли, под Виноградовку,— со вздохом сказал Дмитрий Игнатович,— там и с него и с нас хватило бы...

— Башмаки-то у невесты в порядке были? — доносился из-за спины Костиньки издевательский голос.

— Какие башмаки? Иди к черту! — сердился Санька.

«Так ему и надо»,— злобно подумал Костинька-детка о сыне.

Жена Саньки была из засидевшихся девок, года на четыре старше его, и с дурной славой. Когда свадьба гуляла у родителей невесты, пьяные парни, желая показать, что невеста не невинна, ночью втащили на крышу сеней телегу с задранными оглоблями; к одной из оглобель была привязана люлька, а в люльке лежал грудной ребенок, выкраденный неизвестно где, и голосил на всю улицу.

— На староверские, на староверские! — с раздражением сказал Костинька-детка и махнул рукой.— Так тебе и дадут, дожидайся. Не верю я этому...

— Известно какие,— не унимался издевательский голос.— Баба, брат, так дело поставит, будто в первый раз надела, а в них кто только не ходил...

Несколько человек засмеялось.

— Тише вы! — обернувшись, строго сказал Дмитрий Игнатович.

— Не верю я этому. Я, брат, никому и ничему не верю,— с озлоблением говорил Костинька-детка.

— Нет, почему же. А я верю. За то и пошли,— убежденно сказал Дмитрий Игнатович.

Все время, пока в погребе мучили Пташку и в расположении белых шла деятельная подготовка к наступлению на Перятино, группа Дмитрия Игнатовича жила в прорастающей папоротником лощине, отделенной от рудника только Золотой сопкой — длинной горой со скалистым, поблескивающим на вечернем солнце гребнем, похожим на застывшую волну прибоя. На этом гребне, в расселине между скал, и был установлен наблюдательный пункт, находившийся не более как в двухстах саженях от ближайшей заставы белых.

С высоты наблюдательного пункта видны были — весь рудничный поселок, выступающие там и здесь из лесу черные копры, станцийка с попыхивающими дымками «кукушками», дорога на Перятино и начало дороги на Екатериновку. Сменявшиеся через каждые четыре часа партизаны-наблюдатели видели, как сновали по Екатериновской дороге казачьи разъезды, как менялись ежедневно караулы и заставы белых и японцев, как свертывался на лугу у ручья лагерь американцев и, наконец, последний американский эшелон отбыл в сторону Кангауза.

В первое же утро после того, как было установлено наблюдение над рудником, выступила по дороге на Перятино конная и пешая разведка белых. Дмитрий Игнатович отправил конника предупредить отца.

Конник рассказал потом, как все получилось. Разведку захватили врасплох. Хотели всех порасстрелять, да Игнат Васильевич пожалел патронов и побоялся шума,— беляков порубили шашками. Конник сам порубил двоих.

На другое утро выступил на хутор небольшой отряд, до взвода пехоты. Взвод подошел к хутору и начал обстреливать его. Игнат Васильевич велел не отвечать, чтобы не показывать, сколько партизан на хуторе. Взвод пострелял, пострелял и повернул обратно.

На рассвете третьего дня выступила уже целая рота с пулеметом. Вначале все шло, как и накануне: рота обстреливала хутор, а партизаны не отвечали. Однако, когда рота попробовала оцепить хутор, партизаны встре-

тили ее дружными залпами. Белые в порядке отступили, оставив несколько человек убитыми и ранеными.

Только успела эта рота вернуться на рудник, как из казарм расположения белых повалили солдаты и стали строиться. К строящимся ротам подтягивались походные кухни и крытые брезентом подводы обоза. Две пары сытых гнедых коней примчали скорострельную пушку.

Вызванный из лощины на наблюдательный пункт Дмитрий Игнатович насчитал шесть рот и шесть пулеметов. Построившись в колонны так, что пушка, обоз и кухня были взяты в середину,— отряд белых, колыхая штыками, тронулся по дороге на Екатериновку. Дмитрий Игнатович послал связного — известить об этом отца.

В последнюю смену перед рассветом на наблюдательном пункте дежурили племянник Игната Васильевича Гришка, полный, белокурый паренек с детскими глазами, и горняк Терентий Соколов, недавно пришедший с рудника и приданный к роте Борисова, чтобы указать расположение белых застав.

Всю ночь шел дождь, все было мокро — и скалы, и кусты, и Гришка, и Терентий Соколов. И ничего не видно было вокруг. Ближе к рассвету в двух казармах осветились окна. Шорох дождя не давал хорошо слышать, но чудилась какая-то возня возле казарм.

Терентий Соколов остался слушать, а Гришка, оскользаясь по мокрой земле и содрогаясь от скатывавшихся с кустов за воротник холодных капель, спустился в лощину и вызвал Дмитрия Игнатовича.

Дмитрий Игнатович тоже не мог разобрать, что происходит возле казарм. Но, на всякий случай, отправил к отцу связного с сообщением, что что-то готовится. Не успел конник уехать, как со стороны поселка послышались нарастающие звуки чавканья сапог и копыт и хрясканье колес по грязи. И тогда Дмитрий Игнатович рассмотрел во тьме смутную массу людей и подвод, движущихся по Перятинской дороге.

Послав к отцу второго связного, Дмитрий Игнатович, не дожидаясь разрешения покинуть пост, со всей группой двинулся на Парамоновский хутор: он знал, что теперь их винтовки будут нужнее там, чем здесь. И был очень удивлен, застав на хуторе весь Сучанский отряд во главе с Сурковым.

XXVIII

Петр и Алеша Маленький уже третьи сутки жили в Перятине у Ильина.

Получив от Игната Васильевича сообщение о том, что бо́льшая часть рудничного гарнизона выступила в Екатериновку, то есть, что на руднике остались теперь только две-три роты белых и японская рота, Петр решил не дожидаться, когда противник нападет на Перятино, а немедленно, всем Сучанским отрядом, наступать на рудник. В том случае, если бы не удалось взять рудник и обратный путь на Перятино был бы отрезан, Петр предполагал отступить горными тропами в Скобеевку и там обороняться.

Сучанский отряд, хотя и был объединен общим командованием, не представлял собой единого целого. Он сложился постепенно из нескольких отрядов, каждый из которых имел свою историю, своего выборного командира, был связан корнями с той или иной местностью, национальностью, профессией. Отряды эти назывались теперь ротами. Однако количество рот во всем Сучанском отряде было неопределенным: роты получали самостоятельные задания и снова превращались в отряды, подчиненные непосредственно центральному штабу; приходил вновь организованный отряд и зачислялся как новая рота. Количество людей в ротах было неодинаковым: в иной не более сорока, а в иной и все двести пятьдесят. Роты не имели порядковых номеров, а отличались одна от другой названиями прежних отрядов: Новолитовская рота, рота Борисова, рота горняков, корейская рота.

Едва зашло солнце, эта громоздкая и неслаженная махина людей, впервые выступивших всей массой и удивившихся и повеселевших от зрелища собственной силы, обложила берег реки Сучана. Все село — от старого до малого — вышло провожать партизан.

Темная туча, в которую зашло солнце, к ночи закрыла все небо. На всем протяжении реки вдоль села — на пароме, на плотах, на лодках, конные вплавь — во тьме переправлялись через реку партизаны. Огненные языки факелов, их отблески на волнах и на стенах утесов по той стороне реки, говор толпы на берегу, звонкие голоса детей и плач женщин, крики переправляющихся партизан,

ржанье коней, всплески весел, топот ног по парому и сходням сливались в одно тревожное, бодрящее и возбуждающее впечатление.

Петр, переправившись на ту сторону, лично выстраивал и проверял роты, все более недовольно поглядывая на затягивавшуюся переправу и на темное небо, предвещавшее дождь.

Алеша с чувством неловкости, которое он испытывал от того, что, с одной стороны, как бы принадлежал к начальству, а с другой — не имел в отряде никаких прав и обязанностей, некоторое время слонялся между ротами, потом взобрался на уступ утеса и сверху неодобрительно наблюдал за переправой.

Несмотря на видимость примирения, отношения между Петром и Алешей складывались все более неестественно и дурно. По молчаливому уговору они в неофициальной обстановке избегали касаться больных вопросов и разногласий. Но у обоих была привычка искренних и честных отношений, и они, оставаясь вдвоем, или угрюмо молчали, сдерживая и накапливая взаимное недовольство, или вдруг прорывались на мелочах и оскорбляли друг друга с тем большим раздражением, что они искренне любили друг друга.

— Тебе лишь бы самолюбие свое потешить: вот, дескать, я какой сильный, да грозный, да храбрый! — язвительно говорил Алеша.

— Да, да, привычка твоя вилять да замазывать нам давно известна! — гремел Петр.— Без вазелинчика ваша милость ни шагу...

На предварительном военном совещании Алеша не высказал своего отношения к плану наступления на рудник (он понимал невозможность раздвоения руководства в боевой обстановке), но в душе он не одобрял этой операции. А Петр видел, что Алеша не одобряет ее, и злился на Алешу и не мог заставить себя не злиться на него.

Часам к двенадцати Ильин на лодке последним переправился через реку. Петр приказал потушить факелы, прекратить разговоры. Темные колонны партизан в тишине ночного леса, в которой гулко раздавался топот полутора тысяч пар ног да слышен был шум начавшего накрапывать дождя, потекли по дороге на хутор Парамоновский.

Когда Дмитрий Игнатович со своей группой прибыл на хутор, по всему увалу — от самой его оконечности и до главного хребта — лежала цепь партизан. Она образовала в соответствии с линией увала длинную дугу, вогнутой стороной обращенную к наступающему неприятелю. Внутри этой дуги была болотистая низина — хуторские покосы. В середине дуги — хутор. Правый конец дуги упирался в неприступные скалы главного хребта, левый совпадал с окончанием увала и выходил в падь, где текла небольшая речка и где были хуторские пашни.

Чтобы парализовать возможность обхода левого фланга, Ильин с двумя ротами должен был занять позицию в лесу за падью.

Уже рассвело. Моросил мелкий дождь. Петр в шинели и в обвисшей и отяжелевшей от дождя папахе, волнуясь — успеют ли роты Ильина перейти падь, недвижимо, как каменный, стоял у одной из хат и смотрел в бинокль, как партизаны редкой цепочкой, согнувшись, один за другим пересекали падь и речку. Голова цепочки была уже в лесу по той стороне пади, а хвост только еще спускался с увала.

Рота Борисова, занимавшая позицию на хуторе, так и осталась лежать здесь, в самом центре расположения, под прикрытием хат, плетней и пеньков.

Игнат Васильевич, его сыновья — Иван и Ларион, внук Егорушка (сын Дмитрия Игнатовича) и примкнувший к ним Алеша Маленький, мокрые до костей, сидели в кустарнике волчьей ягоды, немного впереди роты. Здесь и нашли их Дмитрий Игнатович и остальные Борисовы.

Игнат Васильевич, не на шутку беспокоившийся о том, что старший сын может быть отрезан белыми, обрадовался, увидев его, и хотел было похвалить его за хорошую службу, но потом подумал: «Ты ему палец в рот, а он всю руку отгрызет»,— и отвернулся от сына. А Дмитрий Игнатович решил, что отец сердится за самовольный уход с поста, и обиделся на отца. «Они, небось, только-только из хат повылазили, а мы всю ночь мокли»,— подумал Дмитрий Игнатович и, кликнув Егорушку, устроился с ним на краю кустов, подальше от отца.

Дождь то переставал, то снова моросил из низко висящих, ползущих по отрогам серых, рваных туч, но коегде обозначились уже беловатые просветы.

Все части были на своих местах, всякое видимое движение прекратилось. Партизаны залегли и притихли, и — кто с выражением тревожного ожидания, кто — любопытства, кто — деланной небрежности, а кто и — недоверия к тому, что что-нибудь может случиться, смотрели на гребень отрога по ту сторону болотистой низины. По гребню ползали рваные тучи, из которых вот-вот должен был появиться враг.

И вдруг в тишине, в которой слышен был только шорох дождя и шум опадающих с деревьев капель, послышался отдаленный винтовочный выстрел. На лицах и в позах сотен партизан этот выстрел отозвался сотнями разнообразных душевных и внешних движений, среди которых преобладали движения удивления: «Так вот оно как!» — сказало большинство лиц и жестов.

В ту же секунду зазвучали новые винтовочные выстрелы,— одни чуть поближе, другие подальше.

Петр, сопровождаемый помощником командира и двумя пешими связными, вышел из-за хаты и прихрамывающей походкой, волоча на сапогах комья земли, пошел по огороду к кустам, где лежала семья Борисовых.

— Кажись, подходят? — бодро спросил он Игната Васильевича.

— Разведка, должно,— низким голосом сказал старик, смахнув с медной своей бороды капли дождя.

Выстрелы смолкли. Петр, просунувшись сквозь кусты, припав на колено, смотрел в бинокль в то место на противоположном отроге, где выходила из лесу дорога и где сидело сторожевое охранение.

— Вы бы, товарищ Чуркин, шли бы туда, за хату. И что вам тут делать, право? — слышал Петр голос помощника командира за своей спиной.

Помощник командира по просьбе Петра уговаривал Алешу перейти в более защищенное место.

— Там, за хатой, скучно, должно быть,— отшучивался Алеша.— Ежели вы от меня хотите большей пользы, лучше велите связному винтовку мне дать...

Они начали препираться — один почтительно, другой насмешливо. «Разве он уйдет!» — подумал Петр с гордостью за Алешу.

— Не слушай, не слушай его, Дементьев! — вмешался Петр.— Пускай идет за хату, а то еще скажут, что мы представителя комитета нарочно под пули подвели...

— Это тебе — как командующему — надо бы поменьше выставляться,— ядовито сказал Алеша.

— Не пойдешь, выходит? — не оборачиваясь, спросил Петр.

— И не подумаю...

— Вели дать ему винтовку, Дементьев...

Только Алеша взял винтовку, как где-то за противоположным отрогом просыпалась пулеметная очередь, и тотчас же быстро, вперебой, заговорили ружья.

— Вот когда подошли! — радостным голосом сказал Игнат Васильевич, окидывая проверяющим взглядом своих сыновей и внуков и всю роту.

Он увидел на краю кустов старшего сына. Дмитрий Игнатович в опавшей блином мокрой ополченской фуражке, в насквозь промокшей ватной куртке и в ичигах лежал, удобно расположив на земле большое тело, приснастив винтовку на развилину куста и спокойно перебирая губами какую-то былинку. В позе его и в выражении его большого хмурого лица с огромной седеющей бородой было что-то уже по-стариковски прочное.

И Игнат Васильевич вдруг подумал о том, что оба они, и отец и сын, в сущности, уже старики, и судьба у них одна, и на лице Игната Васильевича появилось мягкое и доброе выражение.

Он сделал было движение подойти к сыну, но в это время внимание его отвлекли выкатившиеся впереди из кустов фигурки партизан сторожевого охранения, поспешно отступавшего на хутор. Стрельба смолкла, стало необыкновенно тихо. Все внимание людей обратилось на то, успеет или не успеет сторожевое охранение перейти болотистую низину, пока белые выйдут на опушку леса.

Сторожевое охранение уже достигло подножия увала, когда с острога посыпались частые и беспорядочные выстрелы и заговорил пулемет так близко и громко, что казалось, будто он стреляет где-то тут же, среди партизан.

XXIX

Теперь по всей линии противоположного отрога перекатывались винтовочные выстрелы, и вспышками то там, то здесь, смолкая и возникая вновь, строчили пулеметы.

Пули обильно свистели, визжали и пели над головами залегших по увалу партизан, чмокали в кустах и с долбящим и тарахтящим звуком били по крышам хат и стволам деревьев.

Но со стороны партизан никто не отвечал,— казалось, никого и не было здесь, на этом лесистом увале.

Все так же, просунувшись между кустов, на одном колене, стоял Петр и смотрел, не отрываясь, в бинокль на линию отрога и видневшийся слева кусок пади, за которой сидели в лесу роты Ильина.

Все в той же позе лежал Дмитрий Игнатович, хмуро глядя перед собой и жуя былинку. Рядом с ним, полуоткрыв белозубый рот, словно оскалившись, лежал песельник Егорушка и смотрел горячими черными, с косиной, глазами на линию противника.

Рядом с Егорушкой сник за пеньком партизан, пораженный пулей в голову.

Дождь перестал... Облегченные тучи с растущими в них белыми просветами всползали выше по сопкам, обнажая лес на склонах.

Петр заметил вдруг, как слева, впереди, в том месте, где оконечность противоположного отрога мыском выходила в падь, выкатилось из лесу на падь несколько фигурок в защитном. Фигурки эти одна за другой переходили речонку и редкой цепочкой, все более вытягивающейся и вытягивающейся из лесу, двигались вдоль по пади, в обход левого фланга партизан. Вскоре виден стал отделившийся от отрога хвост этой цепочки,— в ней было не более ста человек. Она двигалась почти по кромке леса, где сидели партизаны Ильина, но была еще далеко от них.

Через некоторое время такие же фигурки в защитном замелькали в кустах по склону отрога — прямо против расположения роты Борисова. Вскоре они показались в низине, и тогда все партизаны увидели развернувшуюся по фронту цепь белых, низиной наступавшую на хутор.

По всей линии партизан прошло чуть заметное движение: кто принял позу более удобную для стрельбы, кто передернул затвор, кто чуть высунул голову, чтобы лучше видеть. На лицах появились выражения озабоченности, страха, суровости и ожесточенности и еще такое, как у человека, прыгающего в холодную воду: «Ну, была не была!»

— Дементьев! — обернувшись, сказал Петр.— Пройди-ка ты сам на левый фланг, проследи, чтобы не стреляли раньше времени...

Где-то за отрогом ахнула пушчонка. Снаряд тенорком пропел над головами и разорвался позади хутора. Все время, пока двигалась по низине наступающая цепь белых, не прекращался сильный огонь из винтовок и пулеметов и размеренно била пушчонка,— вскоре ей удалось снести крышу у хаты, за которой был перевязочный пункт. В цепи партизан были уже убитые и раненые. Но партизаны по-прежнему молчали.

И вдруг с той стороны, где сидел отряд Ильина, донесся раскатистый дружный залп, за ним второй, третий, четвертый... Петр увидел в бинокль, как смешалась двигавшаяся в обход по кромке леса цепочка белых: одни упали, другие остановились, третьи бросились бежать. Из лесу показались бегущие им навстречу, вдогонку и наперерез партизаны,— донеслось отдаленное «ура».

Цепь белых, наступавшая низиной, должно быть, услышала эти залпы и это «ура» и несколько поколебалась, но не остановила своего движения.

Чем ближе подходила цепь, тем больше нервничали партизаны. Все более нетерпеливо поглядывали они на командиров,— на многих лицах появилось выражение страдания, некоторые, под видом раненых, уползали с передней линии.

Вот уже не более трехсот шагов отделяло цепь от партизан. Видно было, что идут юнкера. Уже можно было видеть их молодые лица, бляхи ремней на шинелях, погоны ведущих роту офицеров. С правого фланга наступающей цепи пулеметные номера, согнувшись и неверно ступая по кочковатой местности, волочили «гочкисы».

Петр спрятал бинокль.

— Начнем, Игнат Васильевич,— тепло и просто сказал он, доставая из-за спины японский карабин.

— Детки! — просительно обратился Игнат Васильевич к сыновьям и внукам.— Не забудьте наперво пулеметчиков посымать... Рота-а!..— торжественно загудел он.

Алеша вспомнил вдруг, что он не проверил, есть ли у него в стволе патрон (он первый раз был в бою), и перебрал затвором. Несмотря на решительность этого

мгновения, лежавший рядом с Алешей Костинька-детка, белесый, мокрый и язвительный, оторвался от мушки и посмотрел на Алешу с таким выражением, с каким мужик смотрит на барина, взявшегося за мужицкое дело.

Но Алеша уже не видел этого: сдерживая сердцебиение, которое было у него не от страха, а от разбиравшего все Алешино существо охотничьего азарта, Алеша целился в темные усы унтера, шагавшего в цепи.

— Пли!..— скомандовал Игнат Васильевич.

Ударил оглушительный залп. Партизаны роты Борисова передернули затворы. Цепь юнкеров в замешательстве остановилась,— видно было, как раненые корчатся на молодой траве. И вдруг по всей линии увала — вперекат, залпами и врассыпную — загремели выстрелы, и воздух задрожал от их грохота. В несколько минут цепь была разбита и растерзана на мелкие лоскутья. Синий дымок от бердан взошел над кустами.

Отдельные группы юнкеров залегли между кочек и начали отстреливаться. Офицер с бакенбардами кричал и показывал рукой, что надо идти вперед. Оставшиеся в живых номера успели пустить в ход пулеметы, но «детки» Игната Васильевича, не торопясь, словно выполняя какую-то работу, поснимали одного за другим и этих. Юнкера, не выдерживая огня, срывались и бежали прочь. Офицер с бакенбардами пытался задержать их, потом сорвал с головы фуражку и стал яростно топтать ее ногами.

Алеша, увидев после первого залпа, как упал унтер с темными усами, и приписав это своей меткости (хотя была еще добрая сотня возможностей гибели унтера), вылез, сам того не замечая, из кустов и, в ожесточении раздувая волосатые ноздри, стрелял с колена рядом с Сурковым.

Отдельные партизаны, видя бегущего противника, не обращая внимания на то, что огонь залегших в низине групп юнкеров стал более действительным, тоже вскакивали со своих мест и, кто с колена, кто стоя, били по бегущим. В грохоте выстрелов и в общем возбуждении боя утратилось чувство соседа, и никто не замечал, как под огнем противника то там, то здесь падали или сникали убитые и раненые.

Петр, все время не выпускавший из наблюдения левый фланг, увидел, что партизаны Ильина уже оцепляют оконечность противоположного отрога, и бо̀льшая часть огня белых резервов теперь сосредоточилась на них.

— Пошли, Игнат Васильевич,— встав с колена, решительным и бодрым голосом сказал Петр.

— Пошли, Пётра,— покорно сказал Игнат Васильевич, тяжело подымаясь с земли.— Вставай, детки!..

— За мной... Ура!..— крикнул Петр и неторопливой прихрамывающей походкой, как бегал он раньше на слободских «стенках» по склонам Орлиного гнезда, побежал с увала.

— Ура!— закричали тоненько и весело Алеша, басисто и страшно — Игнат Васильевич.

— Ура-а!..— дружно подхватили «детки», бросаясь за ними.

Дмитрий Игнатович, бросившийся вместе со всеми, вдруг схватился левой рукой за грудь и, головой вперед, упал всем своим крупным телом.

— Тятя! — вскрикнул Егорушка, остановившись возле отца.

Рота уже пробежала вперед. Егорушка, опустившись на колени, склонился к отцу, испуганно заглядывая в его большое, привычно бородатое лицо.

— Тятя! — жалобно повторил он.

Дмитрий Игнатович, лежа на животе, удивленно поворачивал глаза на сына и не узнавал его; сквозь узловатые пальцы его руки, прижатой к груди, сочилась кровь. Он сделал движение, чтобы встать, но не смог, и только тогда понял, что̀ с ним произошло, и узнал Егорушку.

— Беги, беги, сынок,— сказал он.— Беги, ну!..— повторил он как будто даже сердито.

Егорушка, всхлипнув, перехватил винчестер и побежал вдогонку за ротой.

В воздухе, все заполняя вокруг, волнами катился крик: «А...а...а...а...»

По всему склону увала, мелькая между кустов и по низине, обгоняя друг друга, лавиной бежали партизаны.

В голубой просвет меж ползущих по небу облаков прорвались длинные лучи и заиграли в мокрой молодой

листве деревьев, в миллионах капель дождя на траве и на оружии, на сапогах, на лицах бегущих живых и лежащих мертвых.

XXX

Разведывательная рота, которую Ланговой посылал накануне на Парамоновский хутор, определила силы партизан, занимавшие его, в сто — сто пятьдесят ружей.

Ланговой не мог предполагать того, что весь Сучанский отряд в течение ночи переправится на хутор, то есть рискнет оставить позади себя реку и открыть путь долиной на Скобеевку.

Отправив бо̀льшую часть своего отряда в Екатериновку с задачей наступления долиной на Перятино, Ланговой с двумя ротами добровольцев и ротой юнкеров двинулся на Парамоновский хутор с тем, чтобы разгромить засевший на хуторе небольшой отряд красных и выйти к Перятинской переправе.

Свою оплошность он почувствовал в то мгновение, когда рота, посланная в обход хутора, была встречена огнем с неожиданных позиций — из леса за падью.

Остановить развившееся уже наступление юнкеров по низине Ланговой не смог по краткости времени и потому, что вчерашние сведения продолжали путать его.

И только когда партизаны открыли огонь по наступающим низиной юнкерам, Ланговой понял, что имеет дело с противником, в несколько раз превосходящим его силами, и что речь идет уже не о том, чтобы выйти к Перятину, а о спасении отряда и рудника.

С той решительностью, которая всегда была присуща ему в критические моменты выбора между требованиями необходимости и голосом самолюбия, Ланговой отдал приказ к отступлению и послал вестовых в Екатериновку, вдогонку за главными силами, с приказанием немедленно возвратиться на рудник. Одновременно он послал записку капитану Мимура о том, что под давлением превосходных сил противника отступает к руднику и рекомендует капитану приготовиться к защите рудника.

Солнце поднялось за полдень, небо почти очистилось, ползли только отдельные облачка, временами закрывая солнце, да вершина горы Чиндалазы была еще

вся окутана облаками, когда главные части партизан подошли к руднику и вступили в перестрелку с белыми и японцами.

Передовая группа японцев занимала круглую сопочку на самой Перятинской дороге. В первом наступательном порыве рота Борисова и примыкающие к ней другие роты центрального направления, как волны прибоя, накатились на сопочку, и партизаны даже удивились, когда с вершины сопочки увидели бегущих от них японских солдат.

По мере подхода других частей стрельба все возрастала, и часам к трем по всему юго-восточному полукругу — от устья Екатериновской дороги, куда вышли роты Ильина, и до нависших над рудником скалистых вершин главного хребта, где находился правый фланг красных,— стоял синеватый дым от бердан и кремневок и желтовато-серый — от рвущихся снарядов, и воздух сотрясался от ружейной, пулеметной и пушечной стрельбы.

Расположенная правее Перятинской дороги длинная Золотая сопка была теперь занята неприятелем.

По мелькавшим иногда среди камней желто-зеленым околышам фуражек, по характерному округлому, плачущему звуку выстрелов, а главное — по силе и порядку пулеметного огня с Золотой сопки можно было заключить, что она занята японцами.

Окрыленные первым успехом, роты центрального направления попытались было «на ура» прорваться на рудник, минуя Золотую сопку, но были остановлены сильным фланговым огнем и отступили.

Рота Борисова залегла на горе, отделенной от Золотой сопки глубокой лощиной, той самой, где несколько дней жила группа Дмитрия Игнатовича. Рота завязала с японцами длительную перестрелку.

Как всегда, посредине и немного впереди роты лежал огромный Игнат Васильевич и стрелял только тогда, когда из-за камня возникал кусочек чего-нибудь живого.

На лице старика, знавшего уже о тяжелом ранении сына, не было прежнего величавого спокойствия, перемежаемого внезапной — то гневной, то радостной, то хитрой игрой жизни. Лицо его было смертельно бледно, и бледность на этом могучем меднобородом морщини-

стом лице была так неестественна и ужасна, что партизаны боялись смотреть старику в глаза.

Петр и Алеша Маленький по-прежнему находились в роте Борисова.

С того момента, как завязался бой, все моральные и физические силы Петра и Алеши были целиком отданы самому процессу боя и делу управления им.

Как ни ново было это дело для Алеши, но, будучи человеком смелым и наблюдательным, все время находясь в курсе всех планов и распоряжений Петра и все время замечая, как десятки и сотни вновь возникающих и меняющихся обстоятельств боя грозят сломать эти планы,— Алеша невольно стал помогать Петру и скоро вошел в суть и частности дела и превратился в ближайшего помощника Петра.

Ни сам Алеша, ни Петр, никто из командиров и рядовых партизан не заметили того момента, когда Алеша из человека, находящегося «не при деле», превратился в ближайшего помощника Петра. Но к тому времени, когда штаб командования расположился на горе против Золотой сопки, эта роль Алеши была принята и признана уже всеми.

И прибывавшие с флангов по тем или иным поручениям связные, и командир соседней справа роты горняков, требовавший патронов, и наезжавший из тыла завхоз, волновавшийся тем, что много тратят патронов и что стынет обед, который он сварил на Парамоновском хуторе, и фельдшер полевого лазарета, спрашивавший — свозить ли раненых в Перятино или дожидаться, пока займут рудник (фельдшер полагал, что раненых вот-вот можно будет устроить в рудничном госпитале),— все они и десятки других людей обращались теперь к Алеше как к человеку, могущему помочь и решить.

Сам Петр все чаще обращал к Алеше багровое лицо с горящими суровыми и счастливыми от напряжения борьбы глазами и говорил:

— Алеша, подшевели-ка «Латвию», она уже вон где должна быть, а она за сопкой сидит!.. Обматери рыбаков, Алешка,— куда это они поплыли? Рыбку удить?

И Алеша решал вопрос о раненых, и подшевеливал «Латвию», и материл рыбаков.

Чем жарче разгорался бой и чем больше упорства проявлял противник, тем ожесточенней становился Петр и тем спокойней и даже как-то ласковей — Алеша.

— Не отвести ли корейскую роту в тыл, Петя? — нежно, точно речь шла о ребенке, говорил Алеша.— Она невелика, а потери у нее большие...

Или:

— Петенька! Горняки опять патронов просят,— хитрят они, по-моему...

Но несмотря на то, что все силы и Петра и Алеши были заняты боем, они все время помнили и чувствовали друг друга, беспокоились и заботились друг о друге. Это не выражалось ни во взглядах, ни в жестах, ни тем более в словах поддержки или одобрения, или благодарности; но простое знание того, что оба они не сдадут и не согнутся перед лицом опасности, это чувство доверия друг к другу перед лицом врага придавало их отношениям сейчас особенную теплоту и силу мужества.

XXXI

Конник, давно уже посланный Петром в Перятино — узнать, куда движется отряд белых, занявший вчера Екатериновку,— все еще не возвращался.

Петр знал, что если этот отряд успеет вернуться на рудник до того, как партизаны займут рудник, партизанам придется отступить. А между тем после первых частичных успехов Ильина (Ильин занял крайние с юга шахты и подошел почти к самому рудничному поселку) дело не двигалось вперед. Белые укрепились на последнем отрожке перед казармами. Две попытки атаковать их были встречены ураганным огнем,— партизаны отступили с большими потерями.

Привыкнув к непродолжительным действиям — налетам, засадам, в крайнем случае к непродолжительной обороне, партизаны ни по организации, ни по психологической готовности не были приспособлены к упорным наступательным действиям, тем более, что сила огня противника во много раз превосходила силу огня партизан. Особенно подавляла артиллерия — не столько действенностью своего огня, сколько морально — оглушительными звуками, вспышками дыма, тяжестью ранений.

Попытка Суркова продвинуть вперед роты правого фланга привела к тому, что роты, двинувшись по сильно пересеченной местности и попав под артиллерийский обстрел, потеряли связь не только между собой, но и внутри самих рот и распались на мелкие кучки. Часть из них отступила в тыл, другая часть, проплутав по лесистым балкам, вместо того чтобы выйти вперед и правее, вышла назад и левее и наткнулась на роту горняков. В течение получаса роты перестреливались, принимая друг друга за белых.

Вскоре, к тому же, всеобщим стало требование патронов. Обычный запас патронов на бойца не превышал сорока — пятидесяти штук. Стрелять полагалось только по видимой цели и на близком расстоянии и только по команде. В небольшой стычке боец расходовал не более пяти патронов; в сражении, которое считалось крупным,— не более двадцати — тридцати патронов.

Теперь же, в условиях длительного наступательного боя, партизаны израсходовали бо̀льшую часть запаса патронов.

Немало среди партизан было и таких, которые вообще не понимали, зачем после того, как противник побит и загнан на рудник, нужно еще драться с ним? Рассматривая себя не только в отряде, но и в бою на положении добровольцев, такие партизаны, притомившись и проголодавшись, отходили в тайгу поспать или пообедать.

Часам к шести вечера от Ильина прибыло двое запыхавшихся связных, сообщивших Петру о том, что главные силы белых движутся из Екатериновки к руднику и вот-вот подойдут с тыла к цепям Ильина.

Петр отправил связных обратно с приказанием Ильину немедленно отойти и очистить противнику дорогу на рудник. Опасаясь паники, он спустился в полутемный, пахнущий травой распадок, где стоял его вороной, и, сопровождаемый тремя вестовыми, поехал в расположение Ильина.

При переезде через Перятинскую дорогу, по обеим сторонам которой лес был расчищен, Сурков с вестовыми был замечен с Золотой сопки. Вдоль по всему расчищенному пространству, как ветер в трубе, засвистели пули. Вестовые, пригнувшись к седлам, пустили лошадей вскачь, чтобы скорее проскочить открытое про-

странство. Петр, не желая, чтобы вестовые подумали, будто он тоже боится, по-прежнему ехал шагом, не меняя позы и не глядя в сторону противника. Он пересек уже все открытое пространство, но дорогу заграждало упавшее с вывернутыми корнями дерево. Объезжая его, Петр оказался на мгновение повернутым всем своим широким корпусом к противнику, и в это мгновение что-то ударило и обожгло его бок повыше поясного ремня.

Не смея взглянуть на это место, сразу ставшее мокрым, но чувствуя, что он по-прежнему может сидеть в седле, Петр, не понукая лошади, шагом объехал дерево и уже в тени леса, где поджидали его вестовые, не глядя, приложил ладонь к раненому месту и ощутил ладонью льющуюся на нее кровь. «Досадно-то как!» — подумал он, все еще не соображая, что означает это и для него, и для других.

В это время не так далеко, но значительно левее расположения Ильина, почти разом заговорили два пулемета, и началась ружейная стрельба. «Неужели подошли?» — побледнев, подумал Петр. Он пришпорил жеребца и во весь опор помчался по тропе к расположению Ильина.

В боку то начинало ныть, то отпускало, точно кто-то зажимал пальцами, то отпускал край внутренностей,— липкая кровь растекалась по левой ноге.

— Стой! Куда? — вдруг закричал Петр, увидев бегущие среди деревьев навстречу ему одиночные фигуры партизан.

— Казаки... Все пропало!..— выкрикнул передний партизан, выбежав, растрепанный, без шапки, прямо на Петра.— Товарищ Сурков...— вдруг сказал он, узнав Петра, и остановился.

— Назад! — взревел Петр, наезжая на партизана.

Партизан шарахнулся, косясь на окровавленную полу шинели Суркова. Другие партизаны, набегая на переднего, останавливались и, тяжело дыша, тоже смотрели на Суркова.

— Стыдно,— сказал Петр.— Казаки! Их же не более полусотни. Сейчас же по местам! А ну, возьми их в работу, ребята,— обратился он к нагнавшим его вестовым.

Вестовые конями стали теснить партизан. Партизаны повернули обратно.

Петр понял, что к руднику подошла шедшая передней казачья сотня. Совсем забыв о ране, Петр обогнал партизан и перевалил отрожек. Глазам его открылась верхняя часть пади той самой речки, что текла мимо Парамоновского хутора. По этой пади врассыпную в панике бежали группы дезертиров.

Петр выскакал на падь и, поворачивая коня то вправо, то влево, задержал человек двадцать. Они — кто со страхом, кто с удивлением, кто со стыдом— смотрели на ставшее белым как мел лицо Петра и на мокрую красную полу его шинели, с которой капала кровь.

— Чего стоите, все пропадем!..— крикнул, набегая, партизан с выбитыми передними зубами.

— Я тебе дам пропадем! Стоять! — пригрозил Петр.

Партизан, не слушая, побежал дальше. Петр выстрелил поверх него; партизан в страхе упал, несколько человек засмеялось.

— В цепь, ну! — сквозь зубы, все больше бледнея от потери крови, тихо скомандовал Петр, но все услышали его.— Вон ты первый пойдешь, ты за ним... по одному вон туда, на кромку... всех задержать...

Партизаны рассыпались в цепь поперек пади. В это время впереди показались в порядке отступавшие из лесу цепи Ильина.

Петр почувствовал вдруг свинцовую тяжесть на темени и грузно набок сполз с лошади,— кто-то подхватил его под руки.

XXXII

После отхода рот Ильина, открывших Екатериновскую дорогу, начался постепенный отход и других частей партизан. Роты центрального направления оставались на своих позициях до захода солнца, прикрывая отступление отряда.

Когда рота Борисова прибыла на Парамоновский хутор, части, отступившие первыми, были уже у Перятинской переправы. По дороге от хутора к переправе сплошным потоком двигались отставшие партизаны, раненые, могущие идти, раненые на возах и разрозненные подводы обоза. Алеша Маленький по-прежнему шел

вместе с ротой Борисова. Настроение у него было мрачное. Он боялся за жизнь Петра. Кроме того, вся операция, по его мнению, была не только неудачной, но бесповоротно доказывала всю непригодность больших партизанских армий и неправильность всего военного плана Петра.

Однако по веселым и оживленным, несмотря на усталость, лицам партизан и по разговору вокруг Алеша мог заключить, что большинство партизан расценивает бой под рудником как громадную победу.

Мнение это основывалось на том, что партизаны не только отогнали противника от Парамоновского хутора, но обложили рудник и несколько часов продержали противника в страхе; на том, что потери противника были значительно большие, чем потери партизан; на том, что отряд белых, вышедший через Екатериновку в долину, вынужден был вернуться на рудник; и, наконец, на том, что в этом бою партизаны впервые столкнулись с японцами, и японцы побежали от них.

Воспоминания о всех неувязках боя, вид раненых, сознание того, что никто не понимает смысла всего происшедшего, и боязнь за жизнь Петра — все это тяжестью лежало на сердце у Алеши.

Рота прибыла в Перятино поздней ночью. Еще на Парамоновском хуторе Игнат Васильевич узнал, что старший сын его умер. Тело сына лежало у младшей сестры Игната Васильевича, жившей замужем в Перятине.

Разместив роту, Игнат Васильевич и осунувшийся от горя и усталости Егорушка в молчании направились к избе, где жила сестра Игната Васильевича. Несмотря на поздний час, во всех окнах еще горели огни, по всему селу стояли оживление и говор. Поравнявшись с избой сестры, Игнат Васильевич молча снял шапку и вошел в избу. Егорушка вошел вслед за ним.

Вся семья сгрудилась на черной половине вокруг двух взятых на постой партизан. Один из них возбужденно рассказывал о бое. Когда Игнат Васильевич вошел, рассказчик замолк, все лица повернулись к старику. Сестра, уже сама глубокая старуха, встала к нему навстречу, хотела что-то сказать, но вдруг поднесла к глазам передник и заплакала.

— Где? — спросил Игнат Васильевич.

Она, плача, кивнула на дверь в горницу.

Дмитрий Игнатович, обмытый и расчесанный, в новых полотняных штанах и рубахе, лежал в пахнущем смолой гробу на столе посреди комнаты. У изголовья его горела свеча. Лампадка в углу освещала смуглые лики образов. Игнат Васильевич, обеими руками прижав к животу шапку, остановился в ногах у сына. Рядом, переняв позу деда, робко стал Егорушка.

Смерть не исказила знакомые черты. Лицо у Дмитрия Игнатовича было спокойное, красивое и строгое. В расчесанной бороде его явственней обозначалась седина, и от этого Дмитрий Игнатович выглядел еще старше. Со стороны можно было подумать, что это лежит в гробу ровесник Игната Васильевича, товарищ его молодости.

Сорок шесть лет назад, жарким солнечным днем косили на берегу Сучана покойный отец Борисов, девятнадцатилетний Игнат и жена его Маша, бывшая накануне родов,— сильная, высокая, чернявая молодка хорошей кости, с руками мужика и властными черными глазами. Косила она, косила, потом простонала и опустилась на рядок скошенной травы. Отец помогал сношке родить, а молодой Игнат стоял возле, опустив громадные, как сковороды, руки, и ветер играл его медной гривой. Со страхом, удивлением и жалостью смотрел молодой Игнат, как изгибается на скошенной траве могучее тело жены,— могучее и в любви и в работе.

И вот родился у Игната сын, маленький, мокрый комочек, родился и заплакал. Дед зубом перекусил пуповину.

Родился сын,—посмотрели в святцы, на какого святого родился, и назвали Митей.

И вот уже ходил маленький Митя, черноглазый, как мать его Маша, в новеньких ореховых лапоточках за бороной и учился сеять, и косить, и рубить деревья, и бить зверя. А потом пришла пора женить Митю, и начал он обрастать черной бородой, и у самого у него пошли дети, и звали его уже все Дмитрием.

Когда уходил Дмитрий на японскую войну, до самого парома провожали его — сам Игнат Васильевич с распластавшейся на груди от ветра медной бородой, и мать его Марья, и жена его Сонька с грудным на руках, и любимый сынок его Егорушка. И все плакали,

даже Игнат Васильевич прослезился. Только мать с уже легшими по ее лицу первыми морщинами старости, но с глазами орлицы, не проронила слезы. Казалось, никогда не пережить того, что ушел любимый сын на войну в чужую Корею, но пережили и это. И вот в черной бороде Митрия уже пошли первые седины, и стал он сам Дмитрием Игнатовичем.

И столько труда принял он на себя в своей жизни! Трудился он над землей, над травами, деревьями, ветрами, реками, камнями, зверями,— трудился не для чего-нибудь хорошего, а для того, чтобы прожить, и был он хорошим товарищем в труде. А теперь он лежал в гробу, товарищ молодости, человек одной с Игнатом Васильевичем судьбы.

А Егорушка стоял рядом, со страхом глядел в мертвое лицо отца и думал о том, что вот он, Егорушка, был дерзким, обижал родных и товарищей, отлынивал от работы и что так жить дальше нельзя, иначе очень страшно будет умирать.

XXXIII

Раненый Сурков лежал в избе Ильина. Алеша Маленький взялся за ручку двери, и сердце его вдруг так забилось, что он не решился отворить дверь и некоторое время посидел на крыльце. Такая тишина стояла в доме, что Алеше казалось — он застанет Петра уже умершим или умирающим.

Наконец он решился и отворил дверь. В первой горнице, освещенной висячей лампой, сидел фельдшер или санитар и читал «Партизанский вестник». Возле телефона, откинувшись к стене, дремал усталый телефонист.

Когда Алеша вошел, фельдшер приложил палец к губам и кивнул на распахнутую на обе половинки дверь в соседнюю темную комнату.

— Как он? — бледнея, спросил Алеша.

— Ничего... много крови потерял, но рана неопасная...

— Ну, как хорошо-то! — с облегчением сказал Алеша.

— Кто там? — вдруг спросил Петр из соседней комнаты обычным своим голосом.

Алеша испуганно зажал рот рукой, потом, отняв руку, сказал:

— Это я, Петя...— Он на цыпочках подошел к двери и заглянул в темноту комнаты.— Где ты?

— Я здесь,— отозвался Петр, должно быть улыбаясь.

Алеша так же на цыпочках подошел к кровати и нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо Петра. Петр взял его за руку и потянул к себе.

— Садись, расскажи все...

— Как раз самое время рассказывать,— садясь на край кровати, сурово сказал Алеша. И вдруг, не выдержав, он склонил голову и прижался к горячему лбу Петра.— Я уж думал, что навеки потерял тебя,— сказал он тихо.

— Друг мой...— Петр крепко сдавил его руку.— Друг мой. Самое лучшее, что было в моей жизни, это ты,— сказал Петр, счастливо улыбаясь в темноте.

XXXIV

Лена поступила работать сестрой в больницу. В сущности, ей хотелось бы выполнять другую работу, в которой она могла бы полнее проявить свои силы. Но Лена не посмела просить об этом.

После всего пережитого ей казалось, что ее личная жизнь кончена. Она думала, что теперь она должна смирить все свои не только лучшие желания и мечты о жизни, стремление к личным радостям, здоровью, любви, счастью, выдвижению себя среди людей,— но что она не должна и не имеет права вообще проявить себя как личность.

Она не имела права выбирать, она обязана была делать то, что умела, и стараться делать это хорошо.

В тот день, когда шел бой под рудником, по селу производили сбор белья для госпиталя: ожидалось много раненых.

Ночью несколько женщин-доброволиц стирали белье, днем белье сохло на плетнях и веревках во дворе больницы. Перед сумерками собралось до двадцати жен-

щин — в большинстве немолодых — гладить белье. Некоторые пришли со своими утюгами.

Коноводом среди женщин была Марья Фроловна — жена Игната Васильевича, рослая, сильная в кости старуха с орлиными глазами, грубоватыми и резкими манерами и голосом.

Белье гладили в помещении больничной кухни — небольшом беленом здании во дворе больницы.

Лена, дежурившая в этот день, в смутной тревоге и тоске, причину которых она не могла объяснить, то бродила по коридору больницы, то уходила в комнату для сестер и принималась читать,— но чтение не шло на ум.

Перед вечером она распахнула окно, положила раскрытую книгу на подоконник и, тут же забыв про книгу, задумалась. В раскрытые окна кухни ей видны были смутные силуэты женщин, гладивших белье.

Вот-вот должны были привезти раненых, женщины торопились, но в движениях их и в голосах не чувствовалось суеты и тревоги,— они работали уверенно и споро. И все-таки было в их работе что-то отличное от обыкновенной работы: не слышно было обычных, когда собирается много женщин, шуток и смеха. Изредка то один, то другой голос начинал тихо напевать что-нибудь протяжное и тут же смолкал.

Постепенно смеркалось, но в кухне, экономя керосин, не зажигали ламп. Иногда то та, то другая из гладильщиц выбегала на крылечко и, размахивая утюгом, раздувала угли, пуская по ветру красный веер искр.

Вдруг одна из женщин сипловатым, не сильным, но приятным душевным голосом начала знакомый Лене мотив. Лена сразу вспомнила такие же тихие сумерки, мужика, склонившегося перед ней и спиртом растиравшего ей ноги, звяканье кольца от люльки в соседней комнате и голос женщины, качавшей люльку и тихо напевавшей нерусскую песню:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Так же тихо и задушевно пела сейчас не видная Лене женщина на кухне, и все остальные гладильщицы постепенно присоединялись к ней, и их немолодые, грубые и нежные голоса вскоре слились в общем пении.

Первые же звуки этого пения отозвались в душе Лены с неожиданной страстной силой. Сила пения была в том, что пели эту мужественную и трогательную песню пожилые деревенские женщины с лицами, преждевременно изборожденными морщинами, с руками большими и грубыми, как у мужиков, женщины — матери многих сыновей-тружеников, и пели они ее тогда, когда уже многих из сыновей не было в живых и когда белье, которое гладили женщины, вот-вот будет перепачкано сыновьей кровью.

Настал-настал тяжелый час
Для родины моей,
Молитеся вы, женщины,
За ваших сыновей,—

пели женщины, и в грубом и нежном плетении их голосов хорошо выделялся низкий, вторящий контральто Марьи Фроловны:

Мой старший сын, старик седой,
Убит был на войне...

Не было здесь никакого Трансвааля и никаких буров, но то, что́ пели женщины, это была правда, нельзя было не поверить в нее. И смутная тоска и тревога, владевшие Леной весь день, вдруг разрешились обильными, счастливыми слезами.

Женщины все пели, а Лене казалось, что есть на свете и правда, и красота, и счастье,— да, они были и в белокурой женщине на станции, и в китайцах-ломовиках, боровшихся на поясах под весенним солнцем, и в сердцах и голосах этих женщин, певших о своих убитых и борющихся сыновьях. Как никогда еще, Лена чувствовала и в своей душе возможность правды, любви и счастья, хотя и не знала, каким путем она сможет обрести их.

Уже догорала вечерняя заря, звезды зажглись на небе. Женщины давно смолкли. А Лена все еще сидела у распахнутого окна. Вдруг издалека донесся стук и скрип медленно ползущих телег.

Из кухни донеслось несколько возгласов, и вдруг все женщины, оставив глаженье, гурьбой выбежали из кухни через двор за ворота. Лена, поправив волосы и накинув на плечи платок, выбежала вслед за ними.

Женщины, сбившись, стояли у ворот и смотрели на приближавшийся к воротам обоз. Синий свет звезд лежал на лицах и контурах сидевших и лежавших на возах людей и возниц, шагавших рядом с возами.

— Ворота откройте,— низким голосом сказала Марья Фроловна, выделившись из группы женщин.

Кто-то открыл ворота, но передняя подвода, приблизившись, не свернула во двор, а остановилась возле. За ней, подъезжая, останавливались и другие.

— Бабка здесь? — робко сказал Егорушка, отделяясь от первой подводы, и вдруг узнал Марью Фроловну.— Бабка...— сказал он, сделав жалобное движение рукою.

Марья Фроловна медленно подошла к возу. Длинный гроб стоял на возу. Марья Фроловна приподняла крышку гроба и, не склоняя головы, некоторое время смотрела в лицо мертвого сына. Потом, опустив крышку, подобрала вожжи, понукнула лошадь и, ни на кого не оглянувшись, широким шагом пошла рядом с подводой. Егорушка тихо побрел за нею.

Женщины, вполголоса причитая, разбегались вдоль возов,— смотреть, кого привезли. Возчик второй подводы, взяв лошадь под уздцы, повел ее во двор, за ним тронулись остальные.

Лена послала одну из сиделок за отцом.

— Кто здесь старший по больнице? — спрашивал из темноты кто-то из сопровождавших подводы, въезжая во двор со своим возом.

— Старший сейчас придет,— сказала Лена.— Куда ранен? — спросила она, подходя к возу и вглядываясь в лежащего на возу человека.

И вдруг узнала Суркова. Он лежал на спине,— казачья папаха отвалилась от его головы. Сурков крепко спал.

— Возьмите его... Осторожнее! — взволнованно сказала Лена санитарам.

XXXV

Всю ночь большой гроб с телом Дмитрия Игнатовича стоял в красной горнице дома Борисовых, и всю ночь скобеевский псаломщик и дядя покойного Нестер Борисов — десятский, бывший на два года моложе

своего племянника, по очереди читали над ним псалтырь.

Поначалу, как привезли тело Дмитрия Игнатовича, всю горницу заполонили голосящие бабы — его жена, сестры, жены братьев и просто соседки. И долго надо всей этой частью села, вдоль реки, стон стоял от складного их голошения. Потом бабы стали уставать и голосили по очереди, а потом горница незаметно опустела. Кроме читающих псалтырь, остались только жена покойного да его старшая, шестнадцатилетняя черненькая дочка Таня, лицом и повадкой вся в отца.

Все время, пока шло голошение, Таня стояла поодаль и плакала. Она плакала чистыми, сладкими девичьими слезами, не столько от того, что ей жалко было отца, а по многим и многим неясным, не связанным между собой, причинам, таким же легким и чистым, как ее слезы.

Когда все ушли из горницы, мать с видимым облегчением перестала голосить и долго поправляла перед зеркалом сбившиеся набок русые прямые волосы. И вдруг, взглянув на дочь, тихо охнула, обняла ее и заплакала тоненько-тоненько, как дитя. Она плакала оттого, что ее бабья жизнь кончилась и она была навсегда обречена трудиться на эту большую чужую семью и некому уже было заступиться за нее перед свекром, свекровью, сыновьями, а дочь должна была выйти замуж и навсегда уйти от нее.

И дочь поняла ее. Некоторое время они плакали вместе, упав на крашеную лавку, обнявшись, как подружки.

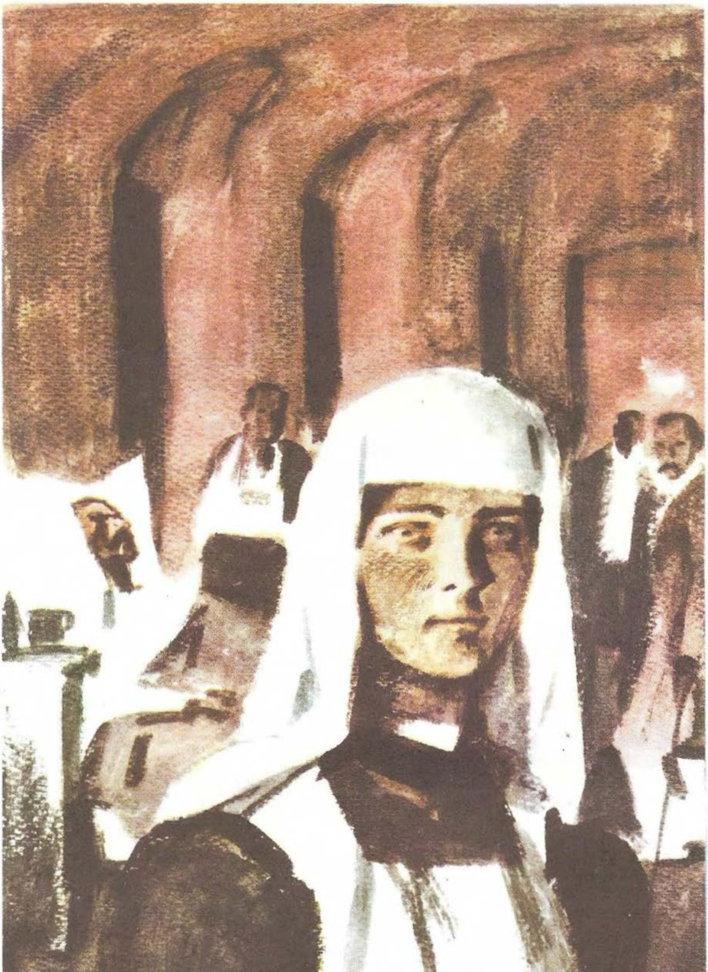
Потом дочь уснула, положив голову матери на колени, а мать еще долго сидела и думала о своем горьком положении.

В это же время во дворе, на старых бревнах, которые начали свозить до войны, чтобы расширить избу, на этих старых бревнах, проросших и обомшевших, сидели Егорушка и его старший женатый брат Павел, не любимый отцом, больше похожий на мать, русый.

Ввечеру, когда дом еще был полон соболезнующих, здесь, на бревнах, сидели и перекуривали мужики. И Егорушка сотню раз рассказывал, как был ранен отец, как упал лицом вперед и прижимал рукой рану



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» (*Часть I*).



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть I).*

и как «хлобыстала кровь», а он все хотел подняться, а потом сказал Егорушке: «Ну, беги, сынок»,— и Егорушка побежал.

Теперь все уже разошлись, Егорушке некому было рассказывать, да он и устал, хотя и не рассказал чего-то самого главного. Но ему было страшно лезть на сеновал, где он спал один, и он остался сидеть на бревнах наедине с нелюбимым братом.

Ночь была светлая, бревна, облитые светом звезд, еще хранили дневное тепло. Река шумела за вербами на задах, и слышно было, как паром брунжит катком и лошади переступают на пароме.

Павел сидел, напряженно подняв светлые брови, и все вертел и курил цигарки, а в промежутках, как клещами, обкусывал железные ногти на больших пальцах. То, о чем думал Павел, было самым насущным делом его жизни, и в этом деле Егорушка, человек несерьезный, не мог быть советчиком брату. Если бы отец был жив, они вместе отделились бы от деда, а потом отец с охотой выделил бы его, Павла, и, конечно, с землей, и дал бы что-нибудь на обзаведение, потому что отец, хотя и не любил его, но был человек справедливый, понимал, что Павел — старший сын, наследник. А теперь он или должен жить на положении дедова батрака или уйти из дома голым. Но у него уже был ребенок, и жена вот-вот должна была родить.

Так и сидели они молча на бревнах, среди звездной ночи, светлый Павел и черненький Егорушка, два братца,— пока не вышел из избы просвежиться после покойника Нестер Борисов. Невысокий, широкоплечий, с курчавой, овсяного цвета бородой и ясными синими глазами, он был так ладен и крепок,— ничто не могло сломить его — ни покойник, ни псалтырь. Он подошел к братьям и сразу все понял.

— Иди, иди, спи,— сказал он Егорушке,— домовых там нет. Понял? То-то, братец ты мой, соколик...

А когда Егорушка ушел, он подсел к Павлу на бревна и, дружески обняв его и притянув к себе, сказал:

— Не грусти, мужик, не грусти! Эх!.. Отца жаль — это так: чудесный был человек, а там... ху-у!..— Он высоко замахнулся рукой в полотняном рукаве и махнул ею от всего сердца.— Не те времена, братец ты мой, соколик,— найдется тебе путя-дорога...

— Голяком? — вдруг злобно сказал Павел.

— Ху-у... На́ тебе! — И Нестер вдруг засмеялся.— В голяках вся сила. Кто был ничем, тот станем всем,— важно сказал он.— Ты вон о ней подумай, сходи да утешь,— он указал на освещенный звездным светом амбар, где спала, взаперти, чтобы не вышла к покойнику, да не случилось с ней чего, беременная жена Павла.— Ей-то — как бабе — во как страшно! Иди, иди, братец ты мой...— Нестер Васильевич вдруг потянул носом и, выпустив Павла из-под руки, с удовольствием сказал: — Багульник зацвел,— скажи пожалуйста!..

И они разошлись. Кругом стало тихо. Только река все трудилась за вербами, да на реке трудился паром, да из дома доносилось бормотание читавших псалтырь — то очень заунывное, когда читал псаломщик, то полное жизнерадостного смысла, когда читал Нестер Васильевич.

XXXVI

Пока в доме были чужие люди, бабка Марья Фроловна так же уверенно и споро, как всегда, вела этот большой, похожий на улей дом, принимала и провожала гостей, справила все по хозяйству, успела сходить к священнику — договориться о завтрашних похоронах — и справила все к похоронам. Могучая, сухая телом, резкая, она то появлялась у гроба, где голосили бабы, то подносила стакан самогона какому-нибудь лядащему деду — седьмой воде на киселе, то порывисто шла через двор по хозяйству, размашисто ступая в своих длинных, остроносых ичигах, вызывая во всех уважение и страх.

А когда все угомонились в доме, она вошла в красную горницу, где раздавалось теперь только чтение псалтыря, и, подставив табурет, уселась у сына в ногах, выложив на колени красивые, как у мужика, сильные руки.

Нестер Борисов, приходившийся ей деверем и очень ей нравившийся в ту пору, когда Марья Фроловна подвалила уже к сорока и готова была на все, а он еще неженатый, ловкий и веселый парень (у них ничего не вышло только потому, что Нестер до смерти боялся Игната Васильевича),— Нестер Борисов и псаломщик

менялись, читая псалтырь, а Марья Фроловна так и сидела до утра, выложив руки на колени, глядя в лицо сыну. Трудно было понять, о чем она думала: никто в селе, даже Игнат Васильевич, проживший с ней всю жизнь, не знал, о чем думает Марья Фроловна.

С самого утра на просторный двор Борисовых начал собираться народ. Двери в избу и во все горницы были распахнуты, и пол посыпан пахучей травой, как в троицу, чтобы не затоптали крашеных полов.

Близкая родня и друзья Дмитрия Игнатовича и те, кто певал в церковном хоре и теперь хотел напутствовать покойника, заполнили избу. Весь двор уже пестрел разноцветными платками, рубахами. Забор был унизан ребятишками.

И вот показался в воротах старенький скобеевский попик со свертком под мышкой. Народ раздался. Попик, вобрав в плечи детскую головку, почти побежал по расчищенной перед ним дорожке, но во дворе оказалось множество старух, охочих приложиться к руке, и он, совершенно перепуганный тем, что живет в такое время, да еще этим множеством народа и вниманием, обращенным на него, стал на ходу быстро-быстро совать маленькую ручку туда и сюда. На мгновение его притиснули на крыльце, но он рванулся ввысь, как жаворонок, и исчез в избе.

Народ сомкнулся и опять расхлынул: стоявшие у крыльца видели, как дальние снимали фуражки и весело здоровались. Снова до самого крыльца образовалась дорожка, и все увидели, что на панихиду пришел ревком во главе с Владимиром Григорьевичем и телеграфистом Карпенко.

Владимир Григорьевич, чуть приволакивая подбитую ревматизмом ногу, преувеличенно кланялся, по-совиному глядя на всех, никого не узнавая, а Карпенко, в форменной фуражке почтово-телеграфного ведомства, худой и длинношеий, с большими оттопыренными ушами, похожими на крылья бабочки, только козырял, но был изрядно смущен.

Мужики, верившие в бога, знали, что если бы эти люди тоже верили в бога, они не могли бы так беззаветно, до конца идти против закона, царя, господ, чиновников. И именно таким людям можно было доверить первенство и старшинство в таком отчаянном де-

ле, как восстание против Колчака и японского императора. Но то, что эти люди, не веря в бога, пришли на панихиду по Дмитрию Игнатовичу, то есть оказали уважение всем мужикам, это еще повышало уважение мужиков к ним, и мужики особенно приветливо здоровались с членами ревкома, смущенно проходившими по образовавшемуся перед ними коридору.

Мужики не знали, что перед тем, как прийти сюда, ревком обсуждал вопрос — идти или нет. И большинство высказалось за то, чтобы идти, а против высказалась Ванда — та самая женщина в штанах и сапогах, которая так позабавила Алешу. Ее соратник по партии левых эсеров тоже считал, что нужно бы пойти, но, не будучи Ванде ни мужем, ни подчиненным, он очень боялся ее, боялся, что она обвинит его в неморальном для революционера поведении. Поэтому он против своей совести поддержал ее. И они двое не пошли, а все остальные пошли.

Кто-то успел предупредить Марью Фроловну. Она вышла на крыльцо, увидела Владимира Григорьевича, подымавшегося по ступенькам, обняла его голову своими сильными руками, быстро прижала ее к своему плечу, потом поцеловала в лоб и сказала:

— Спасибо, голубчик... Всем рада, а тебе — ты знаешь сам...

Владимир Григорьевич, издав горлом мужественный и жалкий звук, неловким движением схватил ее большую, в темных жилах руку и поцеловал.

— Проходите, милые,— говорила Марья Фроловна, низко кланяясь членам ревкома.

Толпа нахлынула на крыльцо. Началась панихида.

Когда могучее тело Дмитрия Игнатовича несли к церкви,— за ним шло уже с полсела. День выдался ясный, и, как еще ночью угадал Нестер Васильевич, по всему отрогу, точно нарочно, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Игнатовича, зацвел багульник — таким синим-синим цветом, что от неба да от багульника все вокруг стало голубым и синим. В обычные звуки большого села вплетался слитный шорох сотен шагов, и река все трудилась за вербами, и неутомимый паром все брунжал своим катком, как бы напоминая людям, что они живут в тревожное и трудное время.

Сразу за гробом шли женщины — родные покойного, с детьми, и не родные, а из тех женщин, что при жизни не видно, а после смерти голосят и суетятся так, точно они-то и были самые близкие и знали от покойного такое, чего никто не знал.

За ними шли члены ревкома и мужики — родственники, кумовья, товарищи. В этой группе все вспоминали, каков покойный Дмитрий Игнатов был хороший человек — спокойный, бесстрашный, один ходил на медведя, на тигра. А однажды мужики, поссорившись на покосе, почали рубить друг друга косами, а он с пустыми руками вскочил в самую середку, и все опустили косы: никто не отважился рубить Борисова первача.

Один из провожающих даже намекнул, что Дмитрий Игнатов был-де более ладный мужик, чем, скажем, его отец, но тут все так посмотрели на него, что он вдруг заперхал, спутался в шаге и залопотал что-то вроде: «Я ведь чего хотел сказать, я хотел сказать, что Игнат-то Васильев дюже горяч, а этот-то, Дмитрий-то Игнатов...» Но тут все отвернулись от него.

Эта огромная, пестрая, празднично разодетая масса народа, идущая за гробом отца, и все эти разговоры по-разному отзывались в сыновьях.

Егорушка. капризней которого на селе был разве только Семка Казанок, вдруг весь размяк, и даже черный и дерзкий, с косиной глаз его стал не тот, не Егорушкин глаз. А Павлу все это внушало уважение к покойному отцу и вновь и вновь напоминало о том, что он все потерял с потерей отца, и обидно было, что отец при жизни не ценил его, Павла.

Когда похоронная процессия подошла к белой каменной церкви, там ждала не меньшая толпа, набравшаяся с этого края села под отрогом.

Гроб внесли в церковь и поставили в боковой притвор на время обедни, и только к отпеванию вынесли на середину церкви.

Но вот пропел и последний хор. Старый попик опустился на колени и прочел разрешительную молитву. В молитве говорилось о том, что, если человек связал себя грехами, но о всех их сердцем сокрушенным покаялся,— от всех вин и уз будет он разрешен, а если по телесной немощи что предано им забвению — и это все будет прощено ему человеколюбия ради.

Слова эти, никак не подходившие к жизни людей, очень подошли к покойному Дмитрию Игнатовичу. Женщины заплакали.

На кладбище справили еще одну панихиду, и Владимир Григорьевич сказал речь. Потом богатырский гроб с телом Дмитрия Игнатовича опустили в могилу, и долго еще вокруг могилы стояло коловращение людей: каждый хотел бросить горсть земли на гроб сына Борисова.

В тот же день, оставив весь дом на одних женщин, Павел записался в отряд на место отца. Вместе с ним записалось еще около ста мужиков и парней.

XXXVII

Отправив Петра с обозом раненых в Скобеевку, Алеша Маленький поехал по деревням заготовлять хлеб и фураж для таежных продовольственных баз.

В помощь себе он взял из Перятина Игната Васильевича. Игнат Васильевич с верными людьми рубил бараки и амбары в местах расположения баз и перевозил хлеб и фураж, заготовленный Алешей. Они то разлучались, то вновь встречались в другой деревне, где-нибудь за тридцать — сорок верст.

В той новой роли, которую Алеша принял на себя, он вынужден был принять на себя и те заботы и тяготы, за которые совсем недавно упрекал Петра.

Теперь он не только не имел возможности говорить о несвоевременности областного съезда, но должен был разъяснять все вопросы, связанные со съездом, и руководить сходами, чтобы прошли на съезд желательные кандидаты.

Во многих местах переселенцы самовольно запахали старожильские земли, и старожилы шли жаловаться к Алеше. Везде немало было семей партизан, оставшихся без рабочих рук, и надо было организовать помощь им на полях. Жители рыбацких деревень, узнав, что Алеша не может заехать к ним, прислали делегацию — человек в двадцать. Рыбаки жаловались на то, что сидят без хлеба, и просили или дать им хлеба, или разрешить вывезти рыбу морем на городской рынок. К Алеше обращались даже с бракоразводными делами.

Он понимал, что отмахнуться от всех этих дел, значит принизить и себя и ту власть, которую он сейчас представлял. И дела эти отнимали столько сил и времени, что Алеша уже не успевал продумать, насколько то, что́ он делает, соответствует или противоречит линии областного комитета.

Наступили теплые пахучие майские ночи, долины и сопки сплошь покрылись воркующей зеленью, когда Алеша и Игнат Васильевич добрались наконец до побережья и перед ними развернулись могущественные океанские просторы — великие и тихие.

В прибрежной деревне Хмыловке им сообщили, что несколько дней назад хунхузы напали на партизанский взвод, охранявший поселок гольдов и тазов.

Никто из партизан и мужиков не ожидал этого: даже в дореволюционное время хунхузы избегали нападать на русских, тем более на русские воинские части. В бою было убито несколько туземцев — среди них одна женщина — и командир партизанского взвода.

Мужики были возбуждены не столько тем, что хунхузы напали на гольдов, сколько тем, что партизаны понесли жертвы из-за гольдов. Жители расположенного неподалеку корейского села Николаевки, занимавшиеся макосеянием и отказавшиеся в конце прошлого года выплатить хунхузам свою дань опиума, тоже со дня на день ожидали нападения хунхузов. Общий голос мужиков был: «Это дела не наши, не надо нам и ввязываться». Игнат Васильевич помалкивал, но Алеша видел, что он сочувствует мужикам.

Хмыловские гольды и тазы жили на бросовых землях, арендованных у русских старожилов. Родной язык они давно забыли и говорили по-китайски. Убожество их жизни, безропотность перед русскими поразили даже видавшего виды Алешу.

Отыскав гольда, с грехом пополам говорящего по-русски, Алеша допросил туземного старосту — древнего старика, желтого, ноздреватого, как пемза. Старик, опустив желтые веки, загибал один за другим пальцы и говорил что-то тихим гортанным голосом. Переводчик также загибал пальцы и говорил:

— Хунхуза, цайдуна, купеза... Байта много-много. Наша кругом говори: нет!.. Его говори: давай, давай!.. Хунхуза много-много пошел... Сама Ли-фу пошел...

Ничего нельзя было понять. Наконец с помощью Игната Васильевича удалось установить, что на подавление бунта народов перешло в область через китайскую границу несколько крупных хунхузских отрядов во главе с Ли-фу, которому подчинялись не только местные хунхузы, а и хунхузы Хейлудзянской провинции за кордоном. Новое было в том, что хунхузы выступили не только за свои интересы, а и за интересы китайских цайдунов и скупщиков. Дело выглядело серьезней, чем это мог предполагать Алеша.

XXXVIII

По совету Игната Васильевича он перенес место расположения базы поглубже в тайгу и, оставив старика рубить бараки, сам на хмыловской подводе выехал в корейскую деревню Николаевку. Помимо того, что ему хотелось лучше уяснить положение с хунхузами, он прослышал, что после недавнего поражения восстания в Корее в Николаевке сосредоточиваются группы бежавших через границу повстанцев.

Как только Алеша спустился с гор в долину, еще не доезжая до деревни, он почувствовал, точно попал в другую страну. Самый пейзаж изменился. В долине, защищенной с двух сторон горами от ветра, стоял почти летний зной. По обеим сторонам дороги перпендикулярно к ней тянулись, кое-где еще черные, но больше зазеленевшие всходами длинные унавоженные гряды, вззметенные под чумизу, мак, бобы, кукурузу. Не только каждый клочок земли в долине был возделан трудолюбивыми руками, но все склоны сопок по обеим сторонам долины были раскорчеваны и обработаны под табак.

Алешу поражало то, что на полях не видно было ни одного человека. Дорогой он обогнал несколько скрипящих арб, запряженных коровами с деревянными кольцами в носу и нагруженных целыми семействами — стариками с седыми редкими бородами, в белых одеждах и высоких соломенных шляпах; маленькими, точно игрушечными женщинами с неподвижными лицами и в коротких кофтах с вырезами, из которых вываливались загорелые груди; черноголовыми ре-

бятишками, испуганно поглядывавшими живыми темно-карими глазенками на вооруженного русского в телеге.

— Едут с участков, хунхузов боятся,— пояснил возница.

Деревня, выделявшаяся на плоскости длинными деревянными трубами и однотипными соломенными крышами скученных и лишенных зелени фанз, была почти сплошь обнесена глинобитными укреплениями с башенками и амбразурами. В иных местах укрепления были возведены наново, а кое-где еще не закончены, и возле них копошились люди.

Вооруженные корейцы у околицы пропустили Алешу, не опросив его.

Дымные фанзушки с решетчатыми дверьми, оклеенными бумагой, выпирали чуть ли не на самый тракт, в обе стороны от которого расходились узкие кривые улочки, полные полуголых, черных от загара ребятишек. Многие из ребят были в таком возрасте, что могли только ползать. Мужчины с трубками в зубах, полузакрыв глаза, покойно сидели на корточках у дверей фанз. Женщины с обнаженными грудями и длинными до пят юбками, иные с подвязанными за спиной грудными ребятами, возились у вмазанных в землю дымящихся котлов. В воздухе стояли незнакомые запахи — нерусского жилья, пищи, табака.

— Никишин! Ты как здесь? — вдруг воскликнул Алеша, заметив командира одной из сучанских рот, стоявшего у фанзы и державшего в руках растопыренный мешок, в который старик-кореец набрасывал спресованные пачки листового табаку.

— А, товарищ Чуркин!.. Да вот пригнали с хунхузами драться,— показав в улыбке желтые зубы, сказал Никишин.— Сегодня ночью ждем,— в аккурат срок ихнему ультиматуму. Ребята мои на позициях, а я им вот табачку.

— Ну-ну! — неопределенно поддакнул Алеша.

Навстречу Алеше выехал верхом сельский председатель — местный учитель-кореец, член ревкома. Он был в кепке и рыжих крагах и в выцветшем от солнца пиджаке с галстуком. Звали его Сергей Пак.

— Только что сообщили — начальство идет, я решил встретить,— льстиво сказал он.— Вот хунхузов

ждем,— пояснил он, пустив лошадь шагом рядом с телегой.

— Что это у вас за укрепления? Видать, давнишние? — спросил Алеша.

— Да против хунхузов же... Старая история! Этой борьбе уже два десятка лет. В прежнее время, впрочем, больше данью откупались.

— Тьфу, дикость какая! — выругался Алеша, неодобрительно тряхнув ежовой своей головкой.— Не Россия, а Вальтер Скотт какой-то! И даже еще хуже... Царишка наш, выходит, не оборонял вас?

— Не-ет,— засмеялся председатель.— А если оборонял, еще больше страдали от постоя солдат... Повстанцев? Повстанцев человек до ста,— ответил он на вопрос Алеши о беглецах из Кореи.— С неделю назад прибыла одна наша революционерка, Мария Цой, у меня на квартире живет,— вполголоса сказал он, перегнувшись с лошади,— она вам все расскажет.

Они въехали во двор школы обычного сельского типа.

— Школа-то царская,— учите вы, стало быть, по-русски? — соскочив с телеги, спросил Алеша.

— Вернее, учил,— сказал Сергей Пак со своей льстивой улыбкой, спешиваясь,— сейчас ни на каком не учим.

«Ну посмотрим, какая у них там революционерка»,— всходя на крыльцо, подумал Алеша, невольно представляя себе женщину, похожую на тех, какие попадались ему дорогой, в короткой кофте, с голыми грудями.

Сергей Пак подошел к двери в соседнюю комнату и осторожно постучал острыми костяшками пальцев. За дверью по-корейски отозвался звучный женский голос. Пак проскользнул за дверь. До Алеши донеслось несколько фраз, которыми обменялись председатель и женщина; потом показалась рука председателя, сделавшая пригласительный жест, и в дверях появилась стройная кореянка, лет двадцати пяти, в черном длинном платье, с поразительно белым, чуть скуластым лицом аскетического склада, небывалой тонкой росписи.

— Очень рада! — сказала она, заблестев навстречу Алеше умными темно-карими глазами, и крепко пожа-

ла ему руку, тряхнув ровно подстриженной челкой черных блестящих волос.

Увидев перед собой молодую женщину, каждое движение которой полно было внутреннего изящества и простоты, Алеша так смутился, что в первое мгновение не нашелся даже, что ответить. «Хорош, батюшка!» — подумал он, представив себе, каким он выглядит перед ней — заросший щетиной, несколько дней не умывавшийся, в пропыленной одежде и грязных сапогах.

— Вы сюда надолго? — спросил он наконец, не зная, куда и девать себя.

— Подожду, пока кончится этот конфликт,— сказала она своим звучным голосом,— а потом думаю выехать... как оно называется, это селение? — обратилась она к председателю.

— В Скобеевку,— почтительно подсказал Пак.

— Да, в Скобеевку. Я списалась с товарищем Сурковым, и он согласился на мое предложение созвать съезд трудящихся корейцев. И еще немало есть общих вопросов у нас. Вы знаете Суркова? — спросила она.

— Еще бы! — обрадовался Алеша.— Он сейчас раненый лежит.

— Да, здешние крестьяне-корейцы очень волнуются о его здоровье. Что он представляет из себя?

— Что он представляет из себя? — Алеша впервые услышал такой вопрос, обращенный к нему. «Наш крупный работник... Бывший военный комиссар»,— промелькнуло было в его голове.— Сурков — это расчудесный парень,— сказал Алеша.— По своему уму, характеру, по организаторской хватке своей этот человек точно нарочно создан, чтобы руководить восстанием.

— Да? — живо переспросила Цой.— Здешние крестьяне-корейцы считают его своим настоящим другом.

— И правильно считают! — не колеблясь, подтвердил Алеша.

— О, как я завидую вам! — сказала Мария Цой с внезапной грустью.

— В чем вы завидуете нам?

— Я завидую тому, что вы знаете, к чему вы стремитесь, у вас есть организация, люди, способные двигать горы, а мы... а у нас...— голос ее дрогнул.— Простите меня...— Она отвернулась и тыльной стороной изогнутой кисти руки коснулась своих глаз.— И столь-

ко жертв, ужасных, бесполезных! — сказала она, и страстная сила горечи зазвенела в ее голосе.

Алеша в волнении взял ее руку своими обеими руками и крепко потряс.

— Надо умыться, поесть, потом будем разговаривать,— издавая горлом какие-то каркающие звуки, говорил Сергей Пак.

XXXIX

— Уже несколько недель, как я не сплю ночами и все думаю, думаю об этом. Я перебираю в уме все подробности поражения, как бы они ни были горьки, страшны, постыдны,— говорила Мария Цой, сцепив на груди тонкие пальцы и быстрыми энергичными шагами прохаживаясь по комнате.

Ночные бабочки залетали в растворенное окно и бились о ламповое стекло. Поселок лежал за окном притихший, без огней. Чуть тянуло дымком от курящегося навоза. Где-то в ближней фанзе плакал ребенок. Тихий женский голос уговаривал его,— ребенок то замолкал, то снова начинал плакать.

— Что больше всего мучает меня? — сказала Цой, остановившись против Алеши.— Кто найдет в себе силы повести народ теперь, когда он лежит в крови, в слезах, а его «вожди»,— с презрением выговорила она,— ползают на коленях перед победителями и метут бородами землю? Кто мог подумать, что корейские имущие классы окажутся такими продажными! — Она в волнении снова заходила по комнате.— Мне стыдно вспомнить, что среди предателей оказались и те люди, голос которых еще так недавно звучал в моей душе как колокол... О, будь они прокляты, трижды презренные! — хрустнув на груди пальцами, сказала Цой.

Алеша сидел на табурете, подавшись вперед всем телом и не спуская глаз с Марии Цой. С лица его сошло обычное живое, веселое выражение, суровая складка легла между бровями, и на всем лице явственней обозначились черты внутренней силы.

— «Тахан-туклип» — «Независимость Кореи»! — с горечью воскликнула Цой.— Независимость — для кого? От кого независимость? Только ли от Японии? О, этого не будет никогда, пока движение зависимо от попов и господ,— это первое, что показал опыт! Бед-

ные крестьяне громили японские усадьбы, школы, полицию, но не сумели довести дело до конца, они не тронули даже корейских помещиков, потому что их сознание было отравлено попами, попами всех цветов и запахов. Секты, христианские общины — методистские, лютеранские, католические — все приложили свою руку к движению народа. Народ и не подозревал, как много среди этих неистовых и благостных людей японских шпионов и провокаторов!..

— А американские миссионеры? Вообще американцы? — спросил Алеша.

— Американцы! — жестко усмехнулась Цой.— Вели пропаганду против Японии, возбуждали народ вильсоновской болтовней и подло обманули, когда восставшие обратились к ним за деньгами и оружием... Вы не знаете, как мало было нас — людей, понимавших хоть что-нибудь в происходящем! Переживали ли вы когда-нибудь это мучительное чувство одиночества в борьбе, поисков хоть какой-нибудь организованной силы, хотя бы одного настоящего вождя? Нет, вы понимаете меня? — с тоскою спросила Цой.

— Еще бы! — в волнении сказал Алеша.

Да, он понимал ее. Он сам пережил это чувство в юности, когда путь борьбы уже приоткрывался ему, а организованная сила, способная возглавить борьбу, еще не была им найдена. Но эта сила существовала, и Алеша знал, что она существует, и он нашел ее, а там, где боролась Мария Цой, этой силы не было совсем. «И правда, счастливцы мы здесь!» — подумал Алеша.

— Вы сразу же спросили меня: какое участие приняли в движении рабочие? — продолжала Цой.— Но ведь никто и не заботился, чтобы привлечь их! — остановившись и сжав кулачки у своих висков, воскликнула она тоном сожаления и раскаяния.— Я повторяю, нас была горсть — мой брат, я, еще несколько юношей и девушек, которые только-только подошли к пониманию того, что здесь таится та сила, которую мы ищем. Может быть, были и еще такие люди, но мы их не знали. Может быть, они так же искали нас, как мы их. Кто были мы? Неоперившиеся птенцы орлицы! Мы совсем недавно научились понимать слабость своих учителей, но все еще оглядывались на них с благоговением. На чем мы были воспитаны? На том, что Корея — страна

крестьян, что ее история, ее жизнь, ее будущее не похожи на путь европейских стран. И все это сдобрено у нас религиозными предрассудками, старой мнимой «народностью». Ведь мы же страна «утренней тишины»! — с яростными слезами в голосе воскликнула Цой.— Все это еще так недавно жило в наших головах вместе с отрывками из «Коммунистического манифеста». Да, мы были слепые львята, у которых только в самом движении прорезались глаза. Оно захватило нас врасплох. Пришла пора действовать, и мы вдруг увидели, как жалки и ненадежны наши учителя, и как нас мало, и как мы ничтожны без связей в народе, без имени, без опыта, без ясной цели! Конечно, мы сразу поняли, что дело не в декларациях господ и попов, и бросили свои силы в деревню. Пошли одни мужчины,— мы знали, что крестьяне не будут слушаться женщин. В Сеуле движение прорвалось уличной демонстрацией. Это было первого марта. Наиболее революционна у нас, если не по программе, то по духу, учащаяся молодежь. У меня и моих подруг были здесь связи. И надо отдать справедливость — молодежь погибала преданно, беззаветно. Японская полиция не раз пускала в ход ружья и шашки, но колонны смыкались снова и снова. Флаги на длинных бамбуковых шестах переходили из рук в руки. На рукавах у демонстрантов были белые повязки с корейской эмблемой «тхагыкки». Демонстранты шли, подняв руки с повязкой, и я видела девушку, не старше семнадцати лет, которой конный полицейский отрубил руку, но она подняла отрубленную руку и понесла над головой... Расправа в деревнях была еще более жестокой. Сабли, свинец, пытки! До пятнадцати тысяч убитых и раненых. Не меньше тридцати тысяч брошено в тюрьмы. Но что тяжелее всего? Весь опыт, связи, которые наши товарищи приобрели в борьбе, пропали без следа, потому что погибли эти люди. Народ не знает даже их имен, чтобы сохранить их как символы! Брата моего долго пытали на допросе, наливали ему воды через ноздри и рот и били по животу палками, но, конечно, он не издал даже стона. Я часто вспоминаю теперь его слова ко мне, когда он уходил в деревню. Он сказал: «Ну, вот мы и дожили до того времени, о котором мечтали... Что мне сказать тебе на прощание? Будь до конца верна делу. Не жа-

лей в борьбе своего сердца. Если надо — разбей его!» Он может быть спокоен, мой брат...— сказала Цой голосом, натянутым, как струна.

«Милая, прелесть моя!» — едва не вскрикнул Алеша с заблестевшими глазами.

— И что же вы будете делать теперь? — спросил он.

— Что я буду делать? — Она подумала.— Вернусь на родину. Буду ловить концы оборванных нитей и связывать их в узелки.

— Вам нужна настоящая революционная партия — вот что вам нужно сейчас! — в волнении сказал Алеша, встал и несколько раз прошелся по комнате.— Вот вы изволили говорить — никто не заботился, чтобы привлечь рабочих,— продолжал он, остановившись против Цой.— Это, конечно, ошибка. Но задача не была в том, чтобы попросту привлечь их к господскому делу. Задача была — организовать рабочих так, чтобы они пошли в голове народа,— вот в чем задача. И эта задача еще стоит перед вами. Вам нужна партия рабочих и бедных крестьян. Эту партию могут и должны создать люди, подобные вам. Работа эта с виду не броская, кропотливая работа...

Алеша не докончил. Из темноты за окном донеслись один за другим три отдаленных выстрела, повторенные эхом в горах. Некоторое время постояла тишина, потом выстрелы зазвучали снова — более отдаленные и ближние. Вскоре они слились в сплошной грохот, наполнивший ночь своими однообразными и грозными звуками.

— Так вот оно как! — спокойно сказал Алеша в заключение своих мыслей о партии.— Что ж, мне придется пойти...— Он взял в углу винтовку.— Вы куда? — подозрительно спросил он, заметив, что Цой снимает с вешалки пальто.

— С вами, конечно.

Алеша, опершись на винтовку, постоял немного, скосив глаза в пол.

— Объясните-ка мне, будьте любезны,— сказал он,— зачем вам, к примеру, рисковать жизнью в этом деле? Оно глупо вообще, а в жизни вашей вовсе случайно.

— Вы же рискуете?

— К великому сожалению, это входит в прямую обязанность мою.

— Как же я-то могу не находиться сейчас там, где будут умирать наши люди? — удивленная, спросила Цой.— Что они обо мне подумают?

— Так-так! Сначала прекрасные слова об обязанности перед народом своим, а потом голову под шальную пулю. Глупо-с! — с неожиданным раздражением сказал Алеша.

— Все равно, я не могу послушаться вас!

— А это мы посмотрим...

Алеша выдернул из двери ключ, выскочил за дверь и, с силой захлопнув ее, замкнул с другой стороны.

XL

Ночь была так темна, что Алеша вначале ничего не мог различить. По слуху определив, где стреляют, он побежал в ту сторону, петляя по кривым улочкам, натыкаясь на плетни, какие-то колючки и ругаясь самыми страшными словами, какие только знал. Потом его нагнала группа вооруженных корейцев, бежавших в том же направлении, и Алеша примкнул к ним.

Постепенно он стал различать фанзы, огороды и понял, что стреляют под сопками, с восточной стороны деревни. Шальные пули изредка посвистывали где-то высоко. Пока Алеша с корейцами добежали до укреплений,— стрельба занялась уже и с северной стороны.

От стены отделился толстый кореец с большим «смитом» в руке, видно — начальник, и, тыча «смитом» в темноту, сердитым голосом закричал на корейцев, прибежавших с Алешей. Они, пригибаясь, гуськом засеменили куда-то влево.

— А русские партизаны где? — спросил Алеша, с трудом различая копошащиеся у темных амбразур белые фигуры корейцев.

— Русики там! — недовольно сказал начальник, приняв Алешу за отставшего партизана сучанской роты, и ткнул «смитом» вправо, вдоль стены.

Алеша побежал вправо.

Стрельба была уже не сплошной, а то стихала совсем, то вновь вспыхивала со стороны сопок, и тогда в ответ гремели выстрелы по линии стены. Не обращая

внимания на пули, которые, как занималась стрельба, со свистом проносились над ним, и досадуя на то, что не может принять руководящего участия во всем, что здесь происходит, Алеша миновал линию укреплений, снова попетлял где-то среди фанз и выбежал к другим укреплениям. Здесь кто-то схватил его за шиворот, закричал: «Я покажу тебе бегать тут!» — и громко обматерил его.

— Ну, слава богу! — тяжело дыша, радостно сказал Алеша.

— Фу-ты! Да это товарищ Чуркин! — смущенно сказал Никишин.

— Я как раз к вам бежал,— придерживая рукой колотящееся сердце, говорил Алеша.— Что здесь происходит?

— А ничего не происходит, патроны на г... переводим! — с досадой сказал Никишин.

— Стало быть, мне и здесь делать нечего?

— Совсем, можно сказать, нечего,— покорно согласился Никишин.

— Подумать только, на что силы и время тратим! — с яростью сказал Алеша.

— Уж верно что,— ребята и то жалуются. Главное дело, у этих корейцев пища без соли...

— Тьфу, ерунда какая! Помоги мне хоть председателя найти.

Невидимые хунхузы под сопкой снова начали стрелять. Кое-кто из партизан стал было отвечать.

— Кто там пуляет? — закричал Никишин.— Пущай они сами пуляют, ну их к чертовой матери...

Сопровождаемый связным, Алеша пошел в обратном направлении и левее того пункта, где командовал толстый кореец, нашел Сергея Пак. С ним была и Цой.

— Так-так, в окно прыгать, как девчонка... Видать, вы и у себя, в Корее, так революцию делали,— тоненько сказал Алеша.

Он был окончательно расположен к ней.

Перестрелка с хунхузами, то вспыхивая, то замолкая, длилась до утра. Как только стало светать, хунхузы ушли в неизвестном направлении, их так никто и не видел.

Алеша и Цой, эскортируемые взводом партизан, выехали в Скобеевку.

XLI

Раненый Петр лежал в доме Костенецких, в комнате, где он обычно жил вместе с Мартемьяновым.

Петр томился от вынужденного бездействия. Всякий раз Владимир Григорьевич заставал у его постели народ.

— Бо́-знать, что такое! И накурили! — сердился Владимир Григорьевич.— Все вон отсюда! Вон, вон! — кричал он, указывая длинным пальцем на дверь.

Для наблюдения над Петром была приставлена сиделка — черноглазая красавица Фрося.

Она поступила работать в больницу еще до германской войны. Фрося тогда только что вышла замуж, и муж был взят на царскую службу. На войну он пошел, не успев побывать дома, а когда после двух лет войны приехал раненый, у Фроси был ребенок, которого он не имел никаких оснований считать своим.

Выгнав Фросю из дому, мужественный солдат пропьянствовал недели три и снова уехал на фронт и был убит.

Отплакав положенный срок, Фрося стала жить еще лише прежнего и родила еще двух ребят. Черноглазые, похожие на мать ребята так и перли из нее, а она все хорошела и наливалась телом. И так легко и свободно носила она по земле вдовью свою неотразимую стать, что все скобеевские бабы, и старые и молодые, понося Фросю за глаза, в глаза льстили и завидовали ей.

Фрося выказывала Петру такие знаки расположения, какие не входили в обязанности сиделки. (Он нравился ей не больше других, да таков уж был ее норов.) Но Петр, внимание которого не было направлено в эту сторону, не замечал этого, как не замечал и той откровенной неприязни, которую Фрося выказывала Лене, часто заходившей к нему.

Фрося ненавидела Лену за то, что Лена была чистая, образованная барышня, с тонкими руками. и могла, как казалось Фросе, осуждать ее жизнь, а как все свободно и весело живущие женщины, Фрося считала свою жизнь очень несчастной. И ненавидела она Лену за то, что Лена нравилась Петру.

Петр и любил и стеснялся, когда Лена неумелыми детскими движениями поправляла ему перевязку, по-

душки, избегая смотреть на него, а когда он заговаривал с ней, вдруг бросала на него из-под длинных ресниц теплый недоверчивый звериный взгляд.

В ее сдержанности и в том, что она могла так смотреть на него, была для Петра особенная прелесть непонятности того духовного мира, которым жила эта девушка.

Ему приходилось так много иметь дела с жестокой, корыстной и грубой стороной жизни, что он испытывал чувство нравственного отдыха и какого-то озорного, радостного любопытства, когда у постели возникало это непонятное ему тонкое и нежное создание.

Он не предполагал, что с того самого вечера, когда его привезли раненого, все чувства и мысли Лены были сосредоточены на нем.

После того вечера, когда Лена слышала так взволновавшее ее своей красотой и правдой пение деревенских женщин, в ней точно раскрепостились ее жизненные силы. Огромный мир природы и людей предстал перед ней.

Яркие зеленели луга, сады. Пахло багульником, от которого сплошь посинели сопки. Только успела развернуться в лист черемуха, как брызнули за ней липкой глянцевитой листвой тополя, осокори. И вот уже лопнули тверденькие почки березы, потом дуба, распустились дикая яблоня, шиповник и боярка. Долго не верил в весну грецкий орех, но вдруг не выдержал, и его пышная сдвоенная листва на прямых длинных серо-зеленых ветках начала покрывать собою все; а его догоняло уже бархатное дерево, а там оживали плети и усики дикого винограда, и кишмиша, и лимонника.

Солнечные облака бежали в прудах и лужах. На полях и огородах пели девушки. Вооруженные, в тяжелых сапогах люди текли по улицам. Конники, величественные, как рыцари, проплывали перед окнами, и по всему их пути фыркали кони и звенели колодезные ведра. По ночам парни ухали так, что вздрагивало сердце. Когда Лена, днем, в одном сарафане, босая, выходила на любимую с детства проточку за садом, ощущение подошвами нагретой солнцем влажной земли трепетом проходило через все ее тело.

Лена не знала, как, кому, на что отдать эти проснувшиеся в ней силы жизни, но она чувствовала по-

требность отдать их кому-то, и все силы ее жизни сосредоточились на Петре.

Правда, внешность Петра, его манера держать себя расходились с тем, как Лена могла представить себе любимого человека. Ей больше нравились высокие, стройные, а Петр был коротконог, тяжел и лицом и телом. В движениях его не чувствовалось внутренней свободы, он точно всегда помнил, что на него смотрят. Лена очень стеснялась при нем. Но все, что она знала о нем,— и ужасная смерть его отца, и героическая защита штаба крепости, и бегство из плена, и ранение в бою, и то, что он возглавлял борьбу с врагом, мощь которого Лена считала почти неодолимой,— делало Петра в глазах Лены живым олицетворением той силы, к которой она бессознательно стремилась все последнее время своей жизни.

Трогало ее то, что Петр был сейчас беспомощен. И было что-то необыкновенно привлекательное в том неожиданном мальчишеском выражении на мужественном лице, выражении, которое проскальзывало где-то в твердых полных губах и во взмахе светлых густых ресниц, когда он взглядывал на нее.

XLII

После дневного дежурства в больнице Лена отважилась зайти к Петру не по обязанности «сестры», а по желанию навестить его.

Солнце садилось за хребтом, и желтый закат стоял в окнах. Петр в белой чистой рубашке, под которой чувствовались его сильно развитые грудь и плечи, лежал, покойно выпростав поверх одеяла тяжелые руки с широкими загорелыми кистями.

По разбросанным по полу окуркам и слоям дыма под потолком Лена поняла, что у Петра весь день был народ. Его большое, в крупных порах лицо было землистого оттенка, но, как только Лена вошла, оно мгновенно осветилось мальчишеским живым выражением, так нравившимся ей.

— А вы опять принимали! — укоризненно сказала она, избегая встретиться с его взглядом.— Можно хоть окно открыть?

— Откройте...

Запахи двора и сада и дальние звуки с улицы хлынули в комнату.

— Хотите, я подмету у вас?

— А вы разве умеете? — усмехнулся Петр.— Нет, вот что: вы не заняты? Посидите со мной.

Лена быстро взглянула на него и молча села на стул у его ног.

— Вы не удивитесь, если я...— Петр запнулся.— Я часто думаю,— решительно сказал он,— что понудило вас отказаться от всего, что вы имели в жизни, и приехать к нам, сюда? — Он смущенно улыбнулся и повел рукой вокруг, словно показывая Лене все, что происходило за стенами этой комнаты.

— А от чего, вы думаете, мне трудно было отказаться? — спросила она.

— Все-таки привычки, привязанности. Ведь вы воспитывались у Гиммера?

— Разве среди вас нет людей, которые так же отказались от этого?

— Есть, конечно. Но у каждого свой путь. Или, может, я не должен спрашивать об этом? — вежливо спросил он.

— Нет, почему же, я могу ответить... Мне кажется, мне не от чего было отказываться,— спокойно сказала Лена и прямо посмотрела на Петра.— Если говорить о внешних условиях, они никогда не имели для меня цены. А все то, что могло бы доставлять радость в жизни, оказалось при ближайшем рассмотрении призрачным и ложным...

— Что, например? — с любопытством спросил Петр.

— Ну, как вам сказать? — Лена смутилась.— Я не умею рассказывать о таких вещах,— сказала она, и лицо ее сразу окаменело, приняв то особенное выражение недоступности, которое так нравилось Петру.— Я думаю, что только то, о чем человек может мечтать с детства, во что он в эту пору верит, к чему стремится — любовь, дружба, семья, готовность жертвовать собой, желание людям добра — только это может дать истинное счастье в жизни, может привязать к чему-либо... или к кому-либо. Но...— Лена, вывернув кверху свои продолговатые ладошки, искоса взглянула на Петра, и губы ее смешливо задрожали.— Но в этом мне не повезло...

— Почему же? — спросил он с таким искренним удивлением, что даже польстил ей.

— Все это очень скоро обнаружило довольно корыстную и подлую изнанку,— сказала она.

— И разочарование во всем этом толкнуло вас...— удивленно начал Петр.

— Разочарование во всем этом может толкнуть только в могилу,— сказала Лена, бросив на него взгляд, полный лукавства и удовольствия, противоречивший серьезности ее слов.— Я просто поняла, что люди, среди которых я живу, лишены этого, чего-то самого человеческого. И сделала из этого необходимый вывод, вот и все...

«Она умна»,— подумал он. Некоторое время он внимательно смотрел на нее.

— А здесь вы нашли то, что искали?

— Разве это можно искать? Я просто приехала к отцу, потому что мне больше некуда было деться.

«Умна и прячется»,— вдруг весело подумал Петр.

— Но я благодарна тому, что здесь впервые почувствовала жизнь. Ведь я, действительно, не испытала еще ни ее радостей, ни ее трудностей.

— Ну, трудностей вы найдете здесь немало,— сказал он с озорным блеском в глазах.

— Вы хотите сказать, что совсем не знаете радостей? — спросила Лена невинным голосом.

— Нет, я боюсь, что они вам не подойдут,— засмеялся он.— Ведь мы люди грубые. Попаримся в бане и рады.

— Видите, даже этого удовольствия я была лишена!..

— И люди недобрые,— с усмешкой говорил Петр,— как бы вы не разочаровались в нас, грешных!

Лена искоса взглянула на него, и в горле ее вдруг тихо, нежно и весело, как выбившийся из-под снега родничок, зазвенел смех.

— Для этого надо быть сначала очарованной,— сказала она.— Или быть самой уверенной, что можешь очаровать...

— А это у вас выйдет...

— Вы думаете?

— Да. Для этого у вас есть все преимущества слабости.

— То есть?

— Я разумею такие слабости, как доброта, чувствительность. Люди очень ценят эти качества. Люди не догадываются, что два десятка злодеев не в состоянии причинить столько зла, как один добрый человек...

— Как вы сказали? Это вы... чудесно сказали! — вдруг воскликнула Лена, с удивлением и восхищением глядя на Петра.

— К тому же вы хороши собой,— продолжал Петр,— а за это вам везде всё простят.

— И вы тоже?

— Я, возможно, меньше, чем другие...

— Вы чувствуете себя имеющим право на бо́льшую строгость?

— Дело не в праве... Вот что, зажгите лампу, а то о нас невесть что подумают.

— Вы боитесь этого? — спросила она, вставая и оглядываясь на него.

— Конечно, боюсь. Я человек подневольный...

— Печально, что вы боитесь этого,— говорила Лена, стоя спиной к Петру и глядя в открытое окно, откуда тянуло вечерней прохладой и сыростью из сада. Губы ее смешливо подрагивали.

Она затворила окно и зажгла лампу на столике у изголовья Петра.

— Ну что ж, прощайте,— сказала она.

— Обождите...— Он сделал невольное движение к ней.

Из соседней комнаты донеслись торопливые шаги, дверь распахнулась, и на пороге показалась Аксинья Наумовна.

— Гости к тебе,— недовольно сказала она Петру, указав рукой через плечо.

Хрисанф Бледный, весь в грязи, и телеграфист Карпенко шумно вошли в комнату.

— Что случилось? — быстро спросил Петр и, поморщившись, сел на кровати.

— С двух концов жмут, товарищ Сурков,— со смущенной улыбкой сказал Хрисанф Бледный,— с Угольной японцы, а с Кангауза американцы! Бредюк послал...

— Знаю, зачем он послал! Бредюк послал за дозволением оставить Шкотово? — зло сказал Петр.— Не будет этого! Шкуру спущу, а...

Он спохватился и, взглянув на Лену, виновато развел руками, будто говоря: «Пока мы ведем тут с вами прекрасные разговоры, жизнь идет своим чередом, и видите, какие она несет неприятности».

Лена тихо вышла из комнаты.

XLIII

Несколько раз украдкой от Владимира Григорьевича и Фроси Петр вставал с постели и бродил по комнатам. А в тот день, когда Мартемьянов вызвал его из Ольги к прямому проводу, Петр решился выйти из дому. Только стало темнеть, он на цыпочках, с бьющимся от мальчишеского озорства сердцем вышел на улицу.

Вечер позднего мая в густых, точно настоянных за день, тенях и запахах ударил ему в голову.

Пока Петр добрел до телеграфа, он не испытывал ничего, кроме переполнявшего все его существо восторга, почти детского.

Телеграфист долго не мог связаться с Ольгой. И только здесь Петр почувствовал, что табурет плывет под ним и сползла повязка и рубаха прилипает к мокрой, не заживившейся ране. Но чувство радостного обновления и полноты жизни вновь охватило его, когда он вышел на воздух и теплая темная ночь с журчащими, стрекочущими и скрежещущими речными и лесными звуками, стенящим комариным пеньем и запахом освеженных росою цветов и трав обступила его.

«Нет ничего невозможного, все, все возможно, когда такая ночь!» — думал он с детским чувством торжества и все прибавлял шагу, стараясь вернуть ощущение собственного тела.

В окнах Лены был свет. Только Петр стал подыматься по ступенькам крыльца, свет двинулся и исчез. За дверью чуть прозвучали шаги, и дверь отворилась. Лена в длинной украинской сорочке, с выпущенной поверх нее темной косою, держа в одной руке лампу, а другой придерживая дверь, с окаменевшим лицом всматривалась перед собой, не видя, кто это.

— Это я... Напрасно потревожились,— стараясь говорить обычным голосом, сказал Петр, охваченный внезапной радостью и нежностью при виде ее в этой длинной сорочке и с этой ее милой косою.

— Боже, как вы побледнели! — сказала она одними губами.— Идите тихо, а то вам попадет от отца... Что это? — вдруг сказала она взволнованно.— У вас рубаха в крови? И рука... Идите, я сейчас же разбужу отца...

— Тсс...— Он, смеясь глазами, чуть дотронулся до ее руки.— Не подводите меня. Не волнуйтесь. Я сам все сделаю...

— Пойдемте, я помогу вам... Тихо! — Она предостерегающе подняла пальчик.

Держа перед собой лампу, Лена пошла впереди него.

— И что это вы придумали? — сказала она, когда они очутились в комнате Петра.— Как вы бледны! И как это вы ухитрились сами надеть сапоги? Давайте я вам сниму их...

— Елена Владимировна, нельзя... Я все равно не позволю...

Но она усадила его на кровать и, быстро опустившись на колени, своими тонкими руками с неожиданной ловкостью и силой стащила с него сапоги.

— Разденьтесь пока, а я принесу новый бинт. Да вымойте руку, а то на нее страшно смотреть,— говорила Лена.

Она шмыгнула за дверь.

«Хорошо, я разденусь, я вымою руку, я все сделаю, что ты мне прикажешь»,— счастливо думал Петр, снимая рубаху и полощась в тазу.

— Говорите шепотом, а то на кухне свет, видно, Аксинья Наумовна не спит,— прошептала Лена, снова юркнув в комнату с бинтом и ватой в руке.— Ой, как вы себе разбередили! — сказала она, приглядываясь к ране, и он очень близко увидел ее уютную продолговатую, в мелких морщинках, ладошку.— Почему вы не разделись совсем? — удивленно спросила она.

— Елена Владимировна, прошу вас... Я сам все сделаю,— вдруг густо краснея, сказал Петр.— Нет, право! После того, как я встал, я уже не чувствую себя больным. И, честное слово, я стесняюсь!..

— И как вы можете говорить такие глупости! — с досадой сказала Лена.— Раздевайтесь немедленно!

— Отвернитесь,— покорно сказал Петр.

Покрытый до пояса одеялом, он полусидел на кровати, откинув свой могучий белый, с прямыми боками

торс на руки, а Лена, склонившись над ним и по-зверушечьи снуя руками, туго опоясывала его бинтом, то и дело закидывая косу, которая скатывалась из-за ее движущихся под расшитой сорочкой острых плечиков.

— Дайте мне слово, что вы завтра будете лежать весь день. Ведь вы так можете погубить себя... И имейте в виду, эта перевязка не по правилам... И это очень опасно... Я как раз завтра дежурная... Я все приготовлю и перевяжу вас... Папа ничего не узнает,— беспрерывно шептала она ему, снуя вокруг своими тонкими руками.

Она то отдалялась от него, то почти обнимала, когда ее руки, пройдя ему за спину, перенимали одна из другой катушку бинта, и Петр, чувствуя на себе нежные прикосновения этих рук и запах ее волос, чуть касавшихся его щеки, слышал совсем не то, что она ему говорила, а что-то бесконечно таинственное, и сидел, как мраморный, боясь вздохнуть, сказать хоть слово...

— Ну вот,— с облегчением сказала она, широким движением раздирая конец бинта так, чтобы хватило завязать вокруг пояса. И снова обняв его и копошась пальцами где-то у него сбоку, на сильных выпуклых ребрах, обернула к нему свое улыбающееся лицо: — Даете слово?..

Он крепко и нежно обнял ее и посмотрел ей в глаза. Некоторое время она, дыша ему в лицо, словно поддерживала собой его лишившееся опоры тело. Потом руки ее ослабли, и она упала ему на грудь, и тяжелая коса ее, опрокинувшись через плечо, свесилась до полу.

Он бережно целовал ее глаза, плечи и косу возле теплого затылка. Но только Лена сделала слабое движение подняться, он сразу отпустил ее. Она села на постели и посмотрела на него своим теплым звериным взглядом. И, вдруг схватив его руку, поцеловала ее и выбежала из комнаты.

XLIV

Ночь темная-темная, напоенная влагой, окутывала сад. В двух шагах уже ничего нельзя было различить. С проточки за садом доносилась чуть слышимая весенняя возня; далеко за рекой кто-то кричал, кликая паро́м.

Лена долго сидела на скамье под яблоней, ничего не видя вокруг себя, полная неясных то ли надежд, то ли сожалений. О чем могла она жалеть, она не знала, но какой-то голос все упрекал ее, и от внезапного чувства униженной гордости ей становилось грустно до слез. Но снова и снова все только что пережитое накатывалось на нее, как могущественная волна прибоя, и новое, очень широкое и ясное чувство радостно пело в ее душе.

То она видела себя со стороны, и ей казалось, что все это было ложно, а потом она видела его глаза и чувствовала его губы и руки, и какие-то очень нежные, обращенные даже не к нему, а к кому-то, кого она представляла себе вместо него, слова любви рождались в ней.

«Я ничего не знаю и не умею, но самое лучшее, что я ношу в себе, если вы увидели это во мне, оно принадлежит вам, вы можете распоряжаться мной»,— думала она с выступающими на глаза слезами.

Летучая мышь черной тенью промелькнула над яблоней. Лена вздрогнула и заторопилась домой.

Окна в комнате Суркова всё еще были освещены,— как видно, он тоже не спал. В соседнем растворенном освещенном окне кухни видны были силуэты отца и Аксиньи Наумовны. Они стояли друг против друга, и что-то странное показалось Лене в виноватой позе отца и в наклоне головы Аксиньи Наумовны, утиравшей глаза краем передника.

Не давая себе отчета, Лена подошла ближе. До нее донесся виноватый голос отца:

— Ну, что ты, Аксиньюшка, право... Да и поздно уже нам плакать,— говорил отец.— И разве я хотел тебя обидеть? Я вижу, столько новых забот, а годы наши уже не те, да и разве ты обязана? Я хотел...

— Об том ли я думала, когда ехала за вами? — не глядя на отца, всхлипывая, сказала Аксинья Наумовна.— Вы были одни для меня, как солнце на небе, я все бросила для вас. Что я без вас? Разве мне деньги нужны?.. Как я была молода, я была вам нужна, а как стара стала...

— Ты не так поняла меня. Ведь я же тебя не гоню! — взволнованно сказал отец, сделав какое-то жалкое движение плечом.— Я — одинокий, старый человек, чего я еще могу ждать от жизни? Мне не только лучше, если бы ты навсегда осталась со мной, мне бы-

ло бы горько, если бы ты покинула меня, горько и больно,— повторил он, и голос его задрожал.— Но я думал, что, может, ты устала от такой жизни, хочешь самостоятельности, покоя... Я хотел тебе сказать...

— Видать, вы меня за последнюю считали, раз я пошла на такую жизнь с вами,— не слушая его, говорила Аксинья Наумовна,— пошла на такую жизнь, да еще при светлом ангеле, Анне Михайловне, а того вы не думали, что я любила вас...— Голос ее осекся, она заплакала навзрыд.

— Как ты можешь так говорить! — с отчаянием сказал Владимир Григорьевич.— Я ведь хотел тебе добра. Ну, прости, прости меня! — Он двумя неловкими движениями погладил ее по голове и обнял ее.— Ну, все, значит, ладно! Ну, не будем, не будем об этом говорить,— повторял он, неловко прижимаясь бородой к ее седеющим волосам.

«О чем это они?» — взволнованно подумала Лена. И вдруг оскорбительная догадка все осветила перед ней. Потрясенная, Лена отошла от окна.

Но неужели мать не знала об этом или знала, но все-таки продолжала жить с отцом? А может быть, отношения между отцом и матерью были в последние годы только видимостью семейных отношений ради Лены и Сережи?

Лена не могла осуждать Аксинью Наумовну, такая сила преданности и любви к отцу, полной отрешенности от себя, была в этой женщине. И ведь она так любила Лену и Сережу — чужих детей, когда она имела право на своих! Лене трудно было осуждать и отца, таким одиноким и жалким он предстал перед ней. Но ее ужаснуло то, что прошлое ее отца и матери, бывшее как бы и ее светлым детским прошлым, тоже было осквернено ложью и нечистыми страстями.

«А *он* мог бы поступать так же и так же жить в этой лжи? — вдруг подумала Лена, вспомнив мужественную улыбку Суркова и то мальчишеское выражение в его губах и глазах, которое так нравилось ей.— Нет, он бы не мог! — сказала она себе с нахлынувшей на сердце волной любви и благодарности.— Он — орел, он — боец, отважный и благородный, и я люблю его!» — взволнованно и растроганно думала Лена, идя вокруг дома, чтобы постучаться с улицы.

XLV

Тот нравственный перелом, который совершился в Лене и пробудил в ней и скрытые физические силы, и лучшие стороны ее ума, незаметно вызвал к жизни и те ее воспитанные с детства привычки и склонности, которые были подавлены в ней последнее время под влиянием жизненных неудач.

Это не были внешние бытовые привычки. Наоборот, Лена испытывала чувство удовлетворения от того, что она избавилась от внешней показной мишуры и как бы опростилась. Это была несознаваемая ею самой привычка и склонность к признанию другими ее незаурядности, к мужскому поклонению перед ее умом и красотой, к первенству и влиянию среди сестер, подруг, поклонников.

На достижение этого она никогда не тратила сознательных усилий,— это давалось ей само собой. Но именно поэтому ощущение значительности уже того факта, что она существует на свете и все признают это необыкновенным и добиваются ее благосклонности,— стало естественным и необходимым условием ее существования. Люди, воспитавшие в ней это качество, давно уже были разоблачены и отвергнуты ею, а самые привычки и склонности остались.

Ни на следующий день, ни после Лена не пошла перевязывать Петра. И даже не могла заставить себя спросить у отца, а тем более у Фроси,— хуже ли ему, лучше ли.

Одна мысль, что он, может быть, раскаивается в том, что́ произошло, и может подумать, что она снискивает его любви, подымала в ней такую волну гордости, что какое бы то ни было проявление внимания к нему, идущее от нее, первой, было совершенно невозможно для нее.

Но чем дольше она его не видела, тем больше она хотела его видеть. Ночами она терзала себя представлениями того, что было между ними, и как он лежит теперь рядом, один, беспомощный, ждет ее. Или вдруг ей казалось, что своим пренебрежением она навсегда оттолкнула от себя этого сильного, гордого человека, и ее охватывала такая страстная любовная тоска, что

она готова была сейчас же вскочить с постели и пойти к нему, и — будь что будет.

«Что же это? Люблю ли я его?» — так думала она, спустя несколько дней, проснувшись поздно утром в комнате, залитой солнцем, с приятным ощущением свободного от дежурства дня и возможности лени.

И вдруг в дверь постучались, и вошел отец.

— Прости, друг мой,— сказал он,— сделай ему перевязку! Это последняя, с завтрашнего дня он уже будет выходить. А у меня сейчас две квартальных сходки подряд...

«Вот еще не хватало! Точно нарочно!» — подумала она, охваченная радостным волнением, но еще сообразила спросить:

— Кому ему?

— Да Петру Андреевичу... Я уже распорядился, чтобы тебе все принесли.

Она тщательно, перед зеркалом, надела косынку. «Идти или нет? Сейчас или подождать?»

Но только она с эмалированной коробкой под мышкой вышла в коридорчик, как столкнулась лицом к лицу с Вандой, которая, даже не взглянув на нее, в своих штанах и сапогах, с револьвером на боку и с полевой сумкой через плечо проследовала к Петру.

«Я тоже могла бы быть красивой, нежной, любимой, но я наплевала на все это, и я презираю вас за то, что вы можете стремиться к этому»,— проходя, сказала она Лене своими штанами, сапогами, волосами, свисающими вдоль ушей, как бакенбарды.

И Лена, струсив, вернулась в свою комнату.

Несколько раз Лена выходила в столовую и слышала их спорящие голоса...

— Слишком широко и беспредметно...— доносился голос Петра.

— Мне кажется, антирелигиозная пропаганда... Разве ты не знаешь, что весь ревком...— самолюбиво говорила Ванда.

— Согласен. Но кто же сможет все это проповедовать? Хрисанф Бледный, что ли?..

Через столовую, весело переговариваясь, прошли Алеша Маленький, небритый, грязный, жизнерадостный, и незнакомая Лене кореянка в черном платье, запылившемся по подолу. Послышались радостные воск-

лицания, сбивчивые голоса какого-то вновь возникшего спора, потом дружный смех, который уже не умолкал.

Лена, измученная ожиданием, слышала этот смех. И вдруг, повинуясь закипевшей в ней недоброй силе, с выражением — «никто и ничто не может помешать мне выполнить мою *обязанность*», она прошла в комнату к Петру.

В этот момент, когда она вошла, Петр, рассказывавший о подвигах Бредюка, только что привел слова Хрисанфа Бледного о том, как Бредюк и Шурка Лещенко вошли к спящему начальнику гарнизона и Лещенко сказал:

«Який гладкий... видать, ще николы не битый».

Лене бросилось в глаза лицо Петра, полное такого веселья, какого она еще не видела в нем, и особенное выражение лица этой незнакомой кореянки с блестящим, как вороново крыло, узлом волос на затылке, которая глядела на Петра влюбленными глазами и громко смеялась, сверкая белыми, крепкими зубами.

Лена, держа под мышкой коробку с бинтами и ватой, остановилась посреди комнаты. Смех тотчас же прекратился. Все с удивлением обернулись к Лене. На всех лицах появилось выражение недовольства, но ей ничего не оставалось, как продолжать то, что она начала.

— Я пришла сделать вам перевязку,— сказала Лена с окаменевшим лицом.— Простите, что задержалась, но я все время ждала, что придет отец.

Петр быстро взглянул на нее и отвернулся, как показалось Лене, с выражением досады и неловкости.

— Перевязку? — медленно повторил он, не глядя на Лену.— А нельзя ли подождать с перевязкой? Не можете ли вы зайти попозже ?— Он прямо посмотрел на нее.

На лице Лены вдруг появилось жалкое, униженное выражение. Она еще успела увидеть торжествующую улыбку Ванды и, чувствуя на своей спине взгляды всех, находившихся в комнате, вышла неверной походкой.

Ничего не замечая перед собой и до крови кусая губы, она прошла сквозь какие-то двери и комнаты, спустилась с крыльца. Доски забора, ветви деревьев плыли мимо нее. Вдруг она увидела перед собой ска-

мейку, яблоню и поняла, что пришла не в больницу, а в сад. Некоторое время она постояла перед скамейкой, держа в руках эмалированную коробку. И вдруг, обняв ее, упала на скамейку и разразилась рыданиями.

XLVI

— Самоуверенности у тебя, Петя, извиняюсь, на десятерых, а на что она опирается, неизвестно,— говорил Алеша поздним вечером, стягивая сапоги со своих маленьких ног, любуясь новыми полотняными портянками.

— Это тебе так кажется,— улыбнулся Петр,— и кажется тебе потому, что ты сам колеблешься по всему фронту... Да, да, да! Азарта прежнего в тебе нет. Жизнь тебя многому научила.

— А тебя ничему! — Алеша сердито задвинул сапоги ногой под кровать.

— Мы же условились не ругаться? — засмеялся Петр, исподлобья взглядывая на него.— У тебя еще есть возможность выступить на корейском съезде и сказать: «Вот, мол, что, друзья: хунхузы будут вас палить и резать, а мы будем смотреть на вас да сочувствовать, а помогать вам мы ничем не можем». То-то обретешь союзничков!..

— И демагог же ты, честное слово! — Алеша безнадежно махнул плотной своей ручкой.

— А потом, что это за линия, право? — продолжал Петр.— На словах не соглашаться, брюзжать, а на деле поступать не по-своему, а по-нашему?

— А что мне делать, коли ты морской разбойник и я на твоем корабле в плену? Другого я и делать не могу. А в общем, ну тебя к черту! И правда, ругаться не хочется. Свет-то утушить?

— Туши.

— Ишь какую старый хрен ямку пролежал, как в люльке,— говорил Алеша, с наслаждением вытягиваясь на кровати Мартемьянова в чистом после бани белье.— Что это за сиделка все вертится тут возле тебя, чернявая такая?

— Сиделка? — Петр представил себе весь ход Алешиных мыслей и улыбнулся.— Ох ты, Алешка!

— А что? — не обиделся Алеша.— Это у меня голова так повернута, а сам я — смирный, как каплун. Я думал — промеж вами что-нибудь есть.

Некоторое время они лежали молча.

— И что это за идиотство такое, что наши никак с тюрьмой не свяжутся? — вдруг воскликнул Алеша, садясь на постели.— Нет, ежели уж тебе правду говорить,— сказал он проникновенным голосом, пытливо вглядываясь в Петра,— коли б не ваша военная тактика «одним махом всех побивахом» да не созывали бы вы этих съездов не вовремя, я бы, пожалуй, вас поддержал,— смущаясь от сознания, что отступает, говорил Алеша.

— Спасибо за щедрость души! — фыркнул Петр.— Ух, до чего занудлив стал! Иной раз хочется тебе прямо морду побить!

— Вот-вот, морду побить! Это и есть вся твоя военная тактика,— озлился Алеша.— За это тебе и наклепали под рудником.

— Что? — Петр, возмущенный, приподнялся на постели.— Ты считаешь нашу операцию...

— Спи, спи, ну тебя к черту! — торопливо сказал Алеша, ложась и натягивая на голову одеяло.

— Да если бы не наша операция под рудником,— гремел над ним Петр,— белые сейчас были бы хозяевами в долине, и мы бы с тобой не разговоры разговаривали, а оборонялись от них здесь, под Скобеевкой!

— И ладно! И оставим этот бесполезный разговор,— бубнил Алеша под одеялом.

— Всякой, знаешь ли, шутке есть предел. Когда люди погибают, этим шутить нельзя!..

Петр откинулся на подушку и замолчал.

Алеша выждал, потом высунул голову из-под одеяла. Они долго лежали в темноте, каждый чувствуя, что другой не спит.

— Как тебе кореяночка понравилась? — снова спросил Алеша.

— Хорош каплун! — усмехнулся Петр.— Придется Соне написать.

— Да я и не думал того, что́ ты думаешь! Я в общественном смысле спрашиваю.

— В общественном смысле она не из той породы, чтобы на оттеночках жить,— зло сказал Петр.— И я ее понимаю: чего сто́ит человек без металла в душе!

— Поди, того же, что и человек с металлом в голове,— ехидно сказал Алеша.

Они снова замолчали.

— А ты знаешь, что мне показалось? — зевая, сказал Алеша.— Будто дочка Костенецкого на тебя обиделась.

— Ты думаешь? — живо спросил Петр, обернувшись к нему.

— Конечно. Девочка к тебе же с перевязкой, а ты на нее, как зверь.

Петр некоторое время внимательно вглядывался в Алешу, не подозревает ли тот чего-либо. Нет, Алеша не подозревал.

— Что ж поделаешь! Не всегда есть время деликатесы соблюдать,— угрюмо сказал Петр и отвернулся.

Алеша скоро уснул, а Петр долго грузно лежал, глядя в темноту перед собой. Он все вспоминал, как Лена в белой косынке стояла посреди комнаты с эмалированной коробкой под мышкой, и то жалкое выражение, которое появилось на лице Лены, когда он грубо ответил ей.

Петр был недоволен собой и жалел ее.

Вопреки распространенному мнению, исходящему из того, что общественная жизнь сложнее личной, быть правдивым в личных отношениях часто труднее, чем в отношениях общественных, труднее потому, что личная жизнь есть та же общественная жизнь, но менее осмысленная.

«Почему я так поступил?» — спрашивал себя Петр. Девушка нравилась и продолжала нравиться ему. И все было естественно и просто до той ночи, когда он стал обнимать и целовать ее. А после той ночи все стало неясно и непросто, потому что он увидел свои возможные отношения с Леной глазами других людей.

Лена, бывшая сейчас «милосердной сестрой», дочерью всеми уважаемого *своего* доктора Костенецкого, сразу поворачивалась в глазах у мужиков как чистенькая городская барышня, путающаяся — да еще в такое время! — с председателем ревкома. И когда Петр видел Лену этими глазами, он сомневался в подлинности своих чувств к ней и жалел о том, что произошло между ними.

Сознание того, что обнимать и целовать женщину можно тогда, когда есть взаимное чувство, а если есть взаимное чувство, надо жениться, то есть образовать семью, а если это невозможно, то не надо и начинать, а если начал, то это нехорошо и надо отвечать перед женщиной,— правдивое и ясное сознание этого мучило Петра.

Самолюбие мешало ему теперь признаться в том, что грубость его была вызвана внезапностью появления Лены и смущением от присутствия других людей и боязнью того, что они могут подумать. Но он чувствовал, что поступил нехорошо, и был недоволен собой.

«Нет, это надо как-то исправить»,— говорил он, мрачно глядя перед собой и с нежностью представляя себе ее глаза, тяжелую косу, продолговатые детские ладошки, даже эту эмалированную коробку, но так и не представляя себе, как это можно исправить.

XLVII

Накануне открытия корейского съезда Петр и Мария Цой проводили совещание делегатов-стариков. Домой Петр попал уже поздней ночью. Ключом, который он обычно носил с собой, чтобы не тревожить Аксиньи Наумовны, он открыл наружную дверь и, стараясь тише ступать, тяжело переваливаясь на цыпочках, прошел в столовую. Приглушенная лампа на столе освещала оставленный Аксиньей Наумовной ужин, стакан молока, прикрытый блюдцем. Петр заглянул к себе в комнату. Алеша уже спал.

В это время скрипнула дверь из кабинета Владимира Григорьевича, и шаги Лены зазвучали по коридору,— она прошла на кухню.

Несколько минут Петр постоял над холодным ужином, раздумывая. Только шаги Лены зазвучали в обратном направлении, он открыл дверь и вышел в коридор. Лена в своем коричневом сарафане, с полотенцем через плечо, испуганно отпрянула и искоса, дико, взглянула на Петра.

— Простите,— сказал он,— давно вас не видел, хотел бы поговорить с вами.

Она отвела от него взгляд, и лицо ее приняло каменное выражение.

— Хорошо, пройдемте ко мне.

Петр вслед за ней вошел в кабинет и притворил за собой дверь.

В былые времена Петру приводилось работать в этом кабинете, пропахшем табаком и книгами. Ничто как будто не изменилось в обстановке, но вся комната преобразилась. Чувствовалось, что здесь живет женщина и что эта женщина — бездомная женщина.

Лена повесила полотенце на оленьи рога над диваном, опустилась на диван, на котором лежала ее постель, приготовленная к ночи, и подобрала под себя ноги. Настольная лампа, прикрытая бумажным абажуром, освещала только середину комнаты,— в углу, где сидела Лена, было полутемно.

— Садитесь...— Лена, не глядя на Петра, указала глазами на кресло.

— Я постою. Я просто хотел проведать, как вам живется,— сказал он, чувствуя, что говорит совсем не то, чтó нужно.

— Спасибо.

— Давно следовало бы сделать это,— неуверенно говорил Петр.— Но... чертовски много дел. И вы так давно не заходили...

Лена молчала.

— Как идет ваша работа? — спросил он.

— Ничего, спасибо.

— Вы удовлетворены ею?

— Ничего, спасибо.

Петр стоял у письменного стола и вертел в руках пресс-папье. Что-то еще нужно было сказать.

— Простите меня, если вам неприятно это слышать,— решительно сказал Петр,— но вы не в обиде ли на меня?

— Я в обиде на вас? — Лена удивленно подняла свои широкие темные брови.— Странно даже слышать это от вас. Ведь вы олицетворяете собой целое учреждение. Разве можно обижаться на учреждение?

— Значит, правда, обиделись,— утвердительно сказал Петр и с улыбкой взглянул на нее.— Я пришел просить у вас прощения. Я, возможно, грубовато обошелся с вами в прошлый раз...— Он просил прощения не в том, в чем был виноват.— Это вышло непроизвольно в силу

большой занятости, да это и вообще в моем характере. Забудьте это.

— Так вы вот о чем! — протяжно сказала Лена.

Некоторое время она, облокотившись на подушку, молча смотрела мимо Петра.

— Уж если вы заговорили об этом,— жестко сказала она,— вы, действительно, были грубы... как-то нарочито грубы. Точно вам хотелось показаться передо мной и перед вашими товарищами более монументальным, чем вы есть на самом деле...

Петр удивленно посмотрел на нее.

— Но ведь это же неправда! — воскликнула она.— Ведь, насколько я знаю, вы учились так же, как и все мы, смертные? Насколько я помню, вы были обременены кантами и меркуриями коммерческого училища? Да, да!.. В детстве мне даже довелось быть свидетельницей, как вы унижались, чтобы сохранить их, эти канты и меркурии. Вы даже заставляли унижаться свою мать, насколько я помню! — сузив глаза и не спуская их с Петра, говорила Лена.

— Что?.. Я вас не понимаю,— сказал он.

— Нет, вы не всегда были таким монументальным, таким беспощадным, как это вы недавно продемонстрировали по отношению ко мне! — не слушая его, продолжала Лена.— Как это было мужественно с вашей стороны!.. А ведь было время, когда вы сами в передней у Гиммера вымаливали, чтобы вас не лишили вашего местечка под солнцем, даже заставляли делать это вашу старую, больную мать! — говорила она звенящим голосом.

То, что́ она говорила, было так неожиданно, и смысл того, зачем она говорит это, так не скоро дошел до Петра, что он вдруг начал оправдываться.

— Я сделал это ради матери! — хрипло сказал он.— Ей так хотелось, чтобы я был образованным, чтобы я не страдал всю жизнь от грязи, унижений, как страдала она! Это не я ее, это она меня понудила просить. Я пошел из жалости к ней.

— Приятно слышать, что вам были присущи хоть эти простейшие чувства,— усмехнулась Лена.— Теперь-то вы, вероятно, постарались освободиться от вашей матушки? И в самом деле, кому приятно вспоминать об унижениях! Теперь вы сами получили право унижать

людей, а ваша мать, возможно, и сейчас сидит в чьей-нибудь передней? — голосом, в котором клокотала злая сила, говорила Лена.

Мясистое лицо Петра вдруг все покрылось бурыми пятнами. Он осторожно, обеими руками, положил пресс-папье на стол и вышел из комнаты.

Выражения испуга, горя, отчаяния мгновенно прошли по лицу Лены. Она вскочила, быстрыми шажками подбежала к двери и, остановившись на одной ноге, приложившись ухом к щелке, прислушалась.

Петр, находившийся в том редком состоянии бешенства, когда он уже ничего не мог соображать, тяжелыми шагами прошел к себе, разделся и лег.

И сразу весь разговор с Леной встал перед ним в действительном свете.

«На что замахнулась! — гневно думал он, с мучительной жалостью вспоминая мать свою, как он видел ее в последний раз за столом, пьяную, в нижней рубашке, с опухшими ногами.— Вы никогда не знали, что такое нужда, вы не сделали ни одной вещи своими руками, прекрасная барышня, и вы беретесь рассуждать о жизни! — гневно думал Петр.— Да, да, вы благородная барышня, как же. Вы обвиняете меня в бесчеловечности, в неправде. Но грош цена *вашей* правде! Даже самые дурные страсти лучше вашей правды на тонких ножках!..»

Он так терзался, что не спал всю ночь. А когда измучился вконец, Лена с ее детскими руками и с этим ее теплым звериным взглядом вдруг встала перед ним, и он ощутил такое мучительное слияние нежности и оскорбленной страсти, что уже не мог сомневаться в истинном значении своих чувств.

Он не заметил, успел ли он уснуть, но он открыл глаза оттого, что кто-то толкал его в плечо.

Уже светало. Алеша сидел на койке, свесив босые ноги и протирая кулаками глаза. У кровати Петра стояли Яков Бутов и еще какой-то шахтер с жидкими серыми волосиками, смущенно теребивший в руках фуражку.

— Прости, товарищ Сурков, что рано подымаем. На руднике у нас неладно,— говорил Яков Бутов.

Так начался тот самый день, когда прибыл из-под Ольги отряд Гладких и Лена познакомилась на проточке с младшим Казанком и Мартемьянов и Сережа вернулись в Скобеевку.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В политической жизни, как и в обыденной, большинство людей видит факты и явления односторонне, в свете собственного опыта и знания. Из этого не следует, однако, что в политических спорах так называемых рядовых, то есть обыкновенных людей, все они более или менее не правы. Здесь так же действителен тот непреложный закон жизни, который говорит, что при возможном обилии точек зрения спорящих сторон может быть, в сущности, две, и ближе к правде может быть только одна — именно та, которая выдвинута самой жизнью в ее развитии, ее как бы завтрашним днем.

Петр, Алеша Маленький, Сеня Кудрявый и Мартемьянов в первый же вечер, как они сошлись вместе, заперлись в той самой, с окнами во двор, комнате, где Петр почти месяц пролежал раненый, и спорили всю ночь до утренней зари и проспорили бы до вечерней, если бы Аксинья Наумовна их не разогнала.

Особенностью их спора было то, что никто из них — ни Петр, ни Алеша, ни Сеня, ни Филипп Андреевич — не знал, каково действительное положение на фронтах, окруживших Советскую Россию с севера и юга, с востока и запада, и какова судьба советских республик в Баварии и Венгрии, и какие силы сможет бросить в Сибирь Япония, и как ответит на это Америка, и как

отнесутся к действиям Японии и Америки Англия и Франция, и насколько отвлекут силы мировых держав индийские, китайские, корейские дела. Обо всем этом они знали очень мало, а если бы и знали больше, соединить вместе все эти обстоятельства и сделать из них правильные выводы было неподсильно их разуму.

Люди, которые знали эти обстоятельства и могли сделать из них правильные выводы, находились за десять тысяч километров отсюда, отделенные сибирской тайгой, Уральскими горами, барьером фронта.

Люди, которые могли хотя бы в грубых чертах разбираться в этих обстоятельствах, сидели в тюрьме, и связь с ними была утеряна.

Но хотя все четверо не знали этих обстоятельств, они понимали, что правильное решение задачи зависит от правильного понимания этих обстоятельств. И в споре они все время оперировали этими обстоятельствами, заполняя незнание дела догадками и чувствами.

Это была трагикомическая черта их спора.

Тем не менее, в их споре было глубокое жизненное содержание, от того или иного понимания которого зависела судьба десятков и сотен тысяч людей.

Опыт восстания подсказывал Петру, что, если не идти сейчас навстречу коренным мужицким интересам, мужики скоро остынут и не пойдут на длительную вооруженную борьбу.

А представление о силах интервенции подсказывало Алеше, что мужицкие интересы не могут быть сейчас осуществлены и лучшие силы тратятся бесполезно, вместо того чтобы правильно организовать вооруженную борьбу.

Это же представление говорило Алеше, что вооруженная борьба должна быть организована так, чтобы быть наименее уязвимыми. И он отстаивал тактику мелких отрядов.

А логика борьбы толкала Петра на создание крупных отрядов, потому что он не понимал, зачем нужно стремиться к мелким операциям, когда обстановка позволяет совершать крупные.

С точки зрения Петра наиболее сильным ударом по колчаковскому тылу явился бы захват Сучанского рудника, лишавший город, и порт, и железную дорогу уг-

ля и вливавший в партизанские отряды несколько тысяч рабочих.

А Алеша видел, что эти крупные отряды уже несколько месяцев безрезультатно возятся под рудником, вместо того чтобы выйти на Уссурийскую дорогу, от которой зависела материальная связь Колчака со всем внешним миром.

Мартемьянов в этом споре целиком стоял на позициях Суркова. Там, где Мартемьянов мог опереться на свой опыт, этот опыт говорил ему то же, что и Суркову; а там, где он не понимал сути дела, он поступал по сложившейся уже привычке доверия к Суркову.

Сеня же, сам того не замечая, занимал позицию примирения двух сторон, то есть Петра и Алеши,— по мягкости характера и из наивного представления, что, взяв от каждого то, что кажется хорошим, и отбросив то, что кажется плохим, он найдет как раз то, что нужно. Он никогда бы не мог предположить, что его позиция не только не может быть правильной, но вообще не может быть позицией, потому что позиция не есть отделение всего хорошего от всего плохого, а есть определение главного и решающего сейчас среди всего остального.

Таким образом, в этом споре, как и во всяком другом, было две стороны, из которых только одна могла быть ближе к правде в основном и главном. Но так как каждый из участников спора считал себя ближе к правде, то спор длился всю ночь, в течение которой они наговорили друг другу много обидных и несправедливых вещей.

Но, в отличие от житейских споров, этот спор имел ту особенность, что, впервые собравшись вместе, они поняли, что из всех окружающих людей именно они, четверо, со всеми недостатками их ума, знаний, характеров, призваны решать и направлять все это движение мужиков, за которое они отвечали и перед мужиками, и перед своей партией, и перед собственной совестью. И несмотря на обидные и несправедливые вещи, которые они наговорили друг другу, они с еще бо́льшим рвением принялись каждый за свое дело, после того как рассерженная Аксинья Наумовна, всю ночь слышавшая через стену их громкие голоса, вытолкала их из комнаты.

II

Мария Цой, жившая в помещении школы, лежала одна в этом большом пустом доме и тоже не спала всю ночь.

С заседания корейского съезда она прошла в расположение корейской роты, где должны были судить партизана-корейца за то, что он, играя с ружьем, убил русского мальчика.

Не только вся семья крестьянина, потерявшая мальчика, но крестьяне и крестьянки со всего десятка, где жили и столовались корейские партизаны, пришли на собрание роты: одни — полные мщения, другие — ища справедливости.

Собрание происходило на лужке в самом конце этой части села, под отрогом.

Вместе с Марией Цой на собрание пришли телеграфист Карпенко — как представитель ревкома — и старичок с головкой-одуванчиком, Агеич. Агеичу по его должности завхоза тут делать было нечего, пошел он, по его словам, «для интересу», а на самом деле — из боязни потерять Карпенко, с которым они по вечерам тайно выпивали.

Вооруженные партизаны-корейцы, в большинстве молодые люди, в русских гимнастерках и сапогах, в кепках, стриженые, обсели лужок вокруг, поджав под себя ноги. За ними, обступив их плотной враждебной стеной, частью уже в кустах, молча вытягивая лица из-за голов передних, стояли русские мужики, бабы. Деревья вокруг были унизаны ребятами.

Несмотря на напряженность минуты, почти все корейские партизаны смотрели только на Марию Цой. Эта необычайная, в русском платье, но не русской, родной красоты девушка со своими страстными темно-карими косыми глазами, узкими кистями рук и челкой черных блестящих волос, спадавших на белый матовый лоб,— была для них не просто одной из руководительниц корейского восстания, а нежной душою, символом этого дела, казавшегося им самым великим и святым делом в мире. И они смотрели на нее с таким обожанием, что она сидела бледная, чувствуя свою власть над ними.

Подсудимый, худенький паренек лет семнадцати, стоял посреди зеленого лужка, безжизненно свесив тонкие

руки, подняв бледное лицо с смотрящими куда-то вдаль длинными глазами густого темно-лилового цвета. Он чувствовал вокруг себя враждебную стену мужиков, видел, что товарищи избегают смотреть на него, но это было уже безразлично ему. Он страдал оттого, что расспросы председателя-корейца и какого-то русского старичка в картузе, рыдания матери погибшего мальчика и подробности, рассказываемые плачущей бабкой, вновь и вновь возвращали его к виду бьющегося головкой в пыли тела мальчика во взбившейся гороховой рубашке. И страдал он еще оттого, что Мария Цой, перед которой он хотел бы быть благородным рыцарем, как покойный король Ли Гванму, что значит «Светлая воинственность»,— видела его несчастье и позор.

— Зачем же ты с ружьем-то баловал? Разве ружье затем дадено? — прижмуриваясь под смятым на́косъ картузиком, допытывался Агеич, окончательно влезший в разбирательство дела.

Подсудимый, глядя поверх людей, вспомнил, как он всегда мечтал иметь ружье, и как блестело оно, когда он смазал его маслом, и как гордился он, когда на него возложили охрану имущества роты, и какое азартное чувство владело им, когда он, сидя на лавочке, нахмурив брови, щелкал затвором, и золотистый патрон выпрыгивал из ствола, как бурундучок,— подсудимый вспомнил все это и не ответил на вопрос. Он понимал, что все эти детские подробности не могут оправдать его теперь, когда он навеки обречен видеть это бьющееся головкой в пыли тело мальчика в гороховой рубашке.

— То-то вот и оно, что нельзя баловать с ружьем,— радостно сказал Агеич.— Ружье дадено супротив врагов трудового народа, ружье надо беречь, как...

— Будет тебе...— тихо сказал Карпенко, сурово и молча отгонявший комаров от своих ушей, похожих на крылья бабочки.

— Что ж будем делать теперь? — смущенно спросил председатель, обращаясь глазами к Карпенко и Цой.

— А нас чего спрашивать? Ты у собрания спроси! — сердито сказал Карпенко, снова принимаясь за свои уши.

Председатель молча обвел глазами собрание.

Приговор был уже вынесен в каждом сердце. Приговор был суров. Все смотрели в землю и молчали; мол-

чали и мужики. Только ребята на деревьях жили своей громкой отдельной жизнью.

— Ни! Скажи собранию, какое наказание ты считаешь справедливым за свое преступление? — кротко обратился председатель к подсудимому.

Подсудимый по-детски вздохнул и тихим спокойным голосом сказал, что он заслуживает смерти.

— Правильно... правильно...— тихо, но одобрительно отозвалось несколько голосов из среды корейцев-партизан.

Мария Цой встала и подняла руку.

— Есть ли здесь хоть один человек, который думает, что Ни убил мальчика нарочно? — спросила она.

Все молчали.

— Нет таких? Я советовалась с председателем ревкома, товарищем Сурковым,— сказала Цой,— и мы вместе считаем, что Ни виноват в том, что он плохой, недисциплинированный партизан,— это привело его к несчастью. Поэтому было бы правильнее, если бы отобрали у него оружие и выгнали его из отряда...

Подсудимый медленно повернул голову и, прямо взглянув в глаза Цой своими темно-лиловыми глазами, сказал, что он не уйдет из отряда: как будет он глядеть в глаза отцу и матери и маленьким сестрам? Он просит товарищей оказать ему последнюю услугу и расстрелять его.

Отец убитого мальчика, босой мужик с седой прядью на темени, все время стоявший молча в своей длинной полотняной рубахе без пояса, сделал жалкое движение рукой, в которой он держал облезлую собачью шапку, и сказал:

— Как я есть отец его...

Взгляды всех, кроме подсудимого, повернулись к нему.

— Как я есть отец его... а вот она есть... матка его...— с трудом подыскивая слова, говорил мужик,— и его, как сказать, не вернешь... парнишку... Вот мы просим... Я и вот матка его... Я и вот она... Не губите парня и не судите его. Он сам еще, ясно, малый... Простите, Христа ради.— И он низко поклонился на четыре стороны, касаясь земли собачьей шапкой.

Подсудимый упал лицом в траву и зарыдал. Бабы в толпе завсхлипывали. Молодые корейские партизаны

сидели униженные. А среди мужиков творилось невесть что:

— Да разве мыслимо за такое дело человека губить!

— А с кем того не могло случиться?

— Да он же еще мальчик! — всхлипывая, сказала молодая баба.

— Тебе бы такого... мальчика! — съязвил было ее сосед.

Но настроение мужиков уже переломилось в пользу подсудимого.

— И эти злыдни туда же! Такая беда — и вдруг расстрелять!

— Правду говорят, у них пар заместо души!..

— А ревком тоже надумал, прости господи! Чего ж его теперь с отряда гнать? Уж он теперь вот как аккуратно будет с ружём!..

— Ну, стало быть, жив будет,— с удовольствием сказал Агеич, поняв, что Карпенко теперь от него никуда не уйти.

Мария Цой, с трудом сдерживая рыдания, покинула роту.

И теперь она лежала одна в большом пустом доме, глядя во тьму мерцающими косыми глазами,— поверженная.

Цой знала, что она скоро вновь увидит родную землю, но она знала, что никто ее там не ждет, и нет у нее там не только друга, но просто человека, которому она могла бы довериться, что ей все придется начинать сначала, терпеливо собирать по зерну. И сердце ее разрывалось самой страшной тоскою — тоскою одиночества и неверия в свои силы.

Она не замечала, что, чем больше она думала об этом, тем чаще ее воображение останавливалось на Суркове.

Этот человек казался ей тем, о ком могли только мечтать она и ее погибшие друзья. И все, что он делал и говорил, даже его внешность, даже его короткие ноги и то, что он хромал, все это казалось Цой неотделимым от его прекрасной сущности,— он мог быть только таким, и только таким она могла полюбить его.

Все, что она видела здесь в эти дни, казалось ей бесконечно прекрасным. И тем ужасней казалось ей все, что она оставила у себя на родине.

III

По выработавшейся во время похода привычке Сережа проснулся чуть свет, увидел спящего с подушкой на голове отца и вспомнил, что он уже дома. Что-то очень важное, обеспокоившее его, сказал ему отец во время ночного разговора. Что это было?

А было вот что: отец сказал, что быть истинным революционером — это не только всем сердцем любить народ, но и ненавидеть его врагов глубокой ненавистью.

Вчера, не желая нарушать счастливого настроения, Сережа отложил эту мысль, а сейчас он проснулся с этой мыслью и, еще полусонный, стал перебирать в уме, кого же он ненавидит глубокой ненавистью. И, к величайшему удивлению и конфузу, обнаружил, что он решительно никого не ненавидит.

Но не могло же быть, на самом деле, чтобы Сережа не был настоящим революционером! И он, тут же забыв об этом, насвистывая шепотом, чтобы не разбудить отца, оделся и вышел на кухню.

Аксинья Наумовна, залезши руками и головой в отверстие русской печи, разжигала печь, что-то мурлыча.

— Доброе утро, Наумовна! — весело сказал Сережа.

Она высунула голову и улыбнулась, блеснув крепкими еще зубами.

— А ну, поди, поди сюда! — сказала она, обтирая о передник смуглые худые руки.— Вчера я так затуркалась с народом этим — и не расцеловала тебя как следует.

— Вот еще нежности!

Сережа, морщась, вертел головой, пока она, обняв его, целовала в обе щеки.

— Ладно! Иди, мойся. Вижу — уже взрослый стал,— сказала она и легонько подтолкнула его в спину.

Сережа, надев черную сатиновую рубаху и подпоясавшись лаковым ремешком, вышел во двор. Все вокруг — строения, сад, склоны отрога,— все было в тумане раннего утра, но птицы уже посвистывали в саду. У Сережи было такое ощущение, точно он не был здесь очень давно.

Сиделка Фрося, громко зевая, доставала ведром на журавле воду из колодца, поставленного на границе дворов усадьбы и больницы. Фрося находилась по ту сто-

рону сруба. В тот момент, когда вышел Сережа, Фрося, нагнув журавль, только что зачерпнула воды и начала подымать ведро, перебирая руками по шесту. И в это время увидела Сережу и задержала руки. Журавль остановился.

— Ах, боже мой, Сергей Владимирович! — взыграв черными глазами и бровями, воскликнула она волнующимся голосом, который, казалось, исходил не из ее гортани, а из какой-то самой дальней и таинственной глубины ее тела.— Когда же вы воротились? Мы здесь по вас, ну, прямо, соскучились!

— Здравствуйте, Фрося!

Сережа мгновенно залился краской и, потеряв всякое самообладание и ощущение окружающего, пошел на Фросю, как на огонь.

— Ой, Сереженька, какой вы совсем мужчина стали! — неожиданно смутившись, сказала она и, отведя взгляд в колодец, начала быстро перебирать руками по шесту, вытаскивая ведро.

Сережа, не находя слов, прямо глядел на ее чуть тронутое пушком, совсем еще молодое лицо счастливыми, глупыми глазами.

— Такой красивенький стали! — тихо, не глядя на него и подрагивая ресницами, говорила Фрося.

— Как ты живешь? — через силу спросил он, чувствуя, что молчать дольше невозможно.

— А какая уж наша жизнь! — сказала она со вздохом, но быстрый, лукавый взгляд ее черных глаз сказал ему другое.

Она легко подхватила обеими руками ведро за дужку и, оттягивая его на себя вместе с шестом от журавля, нечаянно сплеснула себе на подол и на босые ступни.

— Ай! — притворно взвизгнула она.

Она быстро вылила воду в ведро, стоявшее на дощатом помосте рядом с другим, уже налитым, и, отпустив ведро от журавля, сразу взвившееся кверху, стала отряхивать подол.

— Как замочилась! — приговаривала она своим идущим из глубины тела голосом.

Сережа, испытывая приятное кружение в голове, видел мелькание пестрого подола, загорелых рук и ослепительно белых выше колен, стройных, сильных ног.

Фрося опустила подол, продела коромысло под дужку одного, потом другого ведра и легким, свободным движением взяла коромысло через плечо.

— Прощайте пока, Сергей Владимирович! — сказала она, улыбаясь.— Что это вы никогда не зайдете к нам?

— Я зайду,— поспешно сказал Сережа.

«К кому это — к нам? Ведь она живет одна с детьми? Ну да, она хочет, чтобы я зашел к ней и к детям!» — говорил себе Сережа, глядя, как Фрося идет по двору больницы, упершись одной рукой в бок, изгибаясь на ходу стройным и большим телом.

IV

Вдоль по гребню отрога и по верхушкам деревьев в саду, еще окутанных понизу туманом, побежало золотистое солнце восхода. Роса заискрилась в траве и на листьях.

— Да, вот при каких обстоятельствах нам довелось увидеться,— грустно говорила Лена, идя по аллее рядом с Сережей.— Ты вырос, вообще изменился, не знаю — в лучшую или в худшую сторону. Кажется, в лучшую. Но мне все-таки труднее найти с тобой общий язык. Сядем здесь,— указала она на любимую скамейку под яблоней.— Расскажи, что ли, как вы там бродили?

Сережа начал было рассказывать, но увидел, что Лена с окаменевшим лицом, не слушая его, смотрит на склоны хребта за рекой, где по жилам ключей медленно всползали вверх клочья тумана.

— Да ты не слушаешь меня!.

— Ты все не о том говоришь,— протяжно сказала она.— Мне хотелось бы больше услышать о тебе самом.

— Начинаются фокусы! — обиделся Сережа.— Я о себе и рассказываю. И вообще, я думаю, было бы лучше, если бы ты рассказывала о себе,— подчеркнуто сказал он.

— Почему?

— Согласись сама, ты проделала более необычный путь,— сказал он, не решаясь уточнить свою мысль.

— Очевидно, ты так же, как и все, расцениваешь меня, как какой-то чуждый осколок, попавший в честную

пролетарскую среду, вроде тебя и папы? — Она враждебно и зло усмехнулась.

— Ленка! Что с тобой? — вдруг прежним, добрым и ласковым Сережиным голосом сказал он.— Ты какая-то нервная, злая и вчера и сегодня...

— Должно быть, от непроходимой монументальности чувств, в которой все упражняются почему-то надо мной и передо мной... Очевидно, потому, что я жизненно слабее других,— с едва сдерживаемым раздражением говорила Лена.— Боже мой! Неужели нет на свете простых людей, людей ясных чувств, чистого взгляда! — вырвалось у нее из самого сердца.— Не люди, а какие-то памятники! Даже ты предстал передо мной в виде какого-то маленького памятничка...

— Я не понимаю, что́ ты хочешь...— начал было Сережа и не докончил.

Лицо Лены преобразилось от внезапно осветившего его любопытства, удовольствия, кокетства. Она поднялась со скамьи и быстро пошла по аллее.

Сережа увидел вышедшего из кустов навстречу Лене Семку Казанка в сдвинутой набекрень американской шапочке на белой головке.

Семка и Лена, улыбаясь и прямо глядя друг на друга, довольно продолжительное время подержались за руки. Сереже не было слышно, о чем они говорили, но он видел, как чередовались на лице Семки то задорное и нахальное, то детски наивное и даже нежное выражение, и как Лена явно кокетничала с ним и один раз громко засмеялась, и как Семка раза два машинальным движением девичьей своей руки снял с плеча Лены не то пушинку, не то ниточку.

Вот какой разговор происходил в это время между Леной и Казанком:

— Здравствуйте, Казанок!

— Здравсьтвуй! Я уже часа два жду, когда выйдесь,— нежно шепелявил он.

— Я очень рада видеть вас, Казанок!

— Рада? А я думаль, ты там все с нацяльством,— где тебе помнить маленького человечка!

— Я сама маленький человечек, Казанок. Начальству нет до меня никакого дела.

Как и в прошлую встречу, Лена испытывала необыкновенную легкость и свободу общения с Казанком. Она

могла говорить с ним решительно обо всем и молчать, не испытывая неловкости, и трогать его, и не удивилась бы, если бы он начал делать то же.

— Что — братишка твой приехал? — спросил Семка, поведя бровью в сторону Сережи, и усмехнулся.— Он тебе про меня насказет!

— Разве у вас дурные отношения?

— У него дурные, у меня умные,— насмехался Семка.

— Если ты хочешь, чтобы я была дружна с тобой,— сказала Лена, не замечая, что стала называть его на «ты»,— ты должен помнить, что я очень люблю его.

— Я тозе,— дерзко отвечал он.

— Ты все же очень нахальный парень,— просто сказала она.

— А ты — красавуська. На тебя глядеть, аж глазам больно.

— Красавушками, положим, коров зовут,— Лена улыбнулась.— Я, правда, нравлюсь тебе, Казанок?

— Очень. Я мог бы ходить за тобой, как нитка за иголькой.

Она засмеялась.

— Мне придется вынуть нитку из иголки. Мне пора в больницу. Я еще увижу тебя, Казанок?

— Захочешь, увидись.

— А как я найду тебя?

— Я сам найду тебя, махонькая.

— До свиданья, Казанок!

И Лена, как и вчера, нежной своей ладонью чуть коснулась его головы между ухом и шапочкой.

— Как ты можешь с ним так... с этой сволочью! — мрачно говорил Сережа, не будучи в силах глядеть на Лену.— Ведь это же сволочь! — повторил он.

— Почему ты так ругаешь его? — спросила Лена, пытливо глядя в глаза Сереже.

— Это же сын местного барышника, прожженный, бесстыдный парень!

— Он же партизан?

— Что из того!

— Ты завидуешь ему,— спокойно сказала Лена.

— Я завидую ему?!

Сережа смутился. Он смутился оттого, что в его отношении к Казанку действительно был элемент зави-

сти. Он чувствовал, что не только этим определяется его враждебное отношение к Семке, но Лена, как обычно, нашла именно эту нездоровую и личную сторону в его поведении.

— Глупости какие! — сказал он смущенно и сердито.— Да что же, поступай, как знаешь...

— Не любишь ты правды,— усмехнулась Лена. Она вздохнула.— Пойдем, если так...

Да, отношения между Леной и Сережей уже не были прежними дружескими, искренними отношениями.

От прекрасного утреннего настроения не осталось и следа. Как в последние дни похода, Сережей овладело чувство недовольства собой и ощущение какой-то неустроенности всего.

V

Наскоро позавтракав на кухне, Сережа в том же настроении беспокойства и недовольства собой пошел в ревком. Его официальная должность в ревкоме была — инструктор культурно-просветительного отдела. Он работал под руководством Ванды. Мысль о том, что он снова должен будет вернуться к исполнению этих скучных, немужественных обязанностей, была ему невыносима.

Сережа вошел в помещение канцелярии ревкома и, удивленный, остановился. Посреди комнаты стоял Хрисанф Бледный и, держа в руках толстую непереплетенную книгу, громко читал по ней какие-то стихи. Против него, подбоченясь, как гусар, стояла Ванда и слушала. Выражение ее красивых, недобрых глаз было восторженное. Черноголовая машинистка, упершись подбородком в спинку стула, смотрела на них обоих, ничего не понимая.

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз,
Впереди — Исус Христос.

Хрисанф Бледный опустил книгу и, ошеломленный, посмотрел на Ванду.

— Изумительно! — с чувством сказала она.— Прекрасно!.. «В белом венчике из роз, впереди — Исус Христос...» Вот как надо писать, Хрисанф!.. Ты слышал? — обратилась она к Сереже.

— Что это такое? — мрачно спросил он.

— Новая поэма Блока! Хрисанф на офицерской квартире в Шкотове захватил несколько книг; я смотрю — петербургский журнал «Наш путь», и вдруг такая изумительная вещь!

— Ничего изумительного не нахожу,— холодно сказал Сережа,— мистика какая-то.

— Какая же это мистика? Это же символ! Ты просто ничего не понимаешь,— оскорбленная, сказала Ванда.

— Нет, главное, частушки хорошие есть,— сказал Хрисанф Бледный.

— Когда я смогу отчитаться перед тобой? — не глядя на Ванду, сухо-деловито спросил Сережа.— Предупреждаю заранее: многие твои задания не удалось выполнить...

В это время отворилась дверь, и вошел Сеня Кудрявый.

— Сеня! — радостно воскликнул Сережа.

— Застал, слава богу,— сказал Сеня, с трудом переводя дух, и, схватив Сережу за руку, улыбнулся, показав свои ровные кремовые зубы.— Пойдем со мной. Живенько...

Сережа, даже не взглянув на Ванду и Хрисанфа, вместе с Сеней вышел из ревкома.

— На рудник посылают нас с тобой,— идя по улице рядом с Сережей, вполголоса, весело говорил Сеня.— Я думал, вчера сказали тебе, да вижу, не ищешь меня, думаю — не схотел.

— Что ты, я с радостью! — воодушевился Сережа.— А что мы должны будем там сделать? — с волнением спросил он: он подумал, что, может быть, их посылают что-нибудь взорвать или кого-нибудь убить.

— Бастовать хотят они, а мы должны уговаривать, чтобы не торопились... Только ты все это в секрете держи.

— Что ты, Сеня! Я очень рад,— Сережа поймал Сенину руку и на мгновение крепко сжал ее.— Ты знаешь, мы так переволновались за вас!

— Из-за хунхузов? Пустяками обошлось,— собрав у глаз веселые морщинки, сказал Сеня.— А как добрались вы? Как сестра? — спросил он с некоторым смущением.

— Сестра? Хочешь, я вас познакомлю? — сказал Сережа, обрадовавшись возможности загладить этим размолвку с Леной.

— Не официально ли выйдет? Стоит ли? — колебался Сеня, но чувствовалось, что ему очень этого хочется.

— Глупости какие! На минутку забежим в больницу — и всё.

Они, чтобы не привлечь внимания раненых, зашли в больницу не с главного хода, с улицы, а со двора, и сразу наткнулись на Фросю.

— Ай-ай, в служебное время! Ну только для вас, Сереженька,— сказала Фрося, обдавая его светом своих веселящихся бесовских глаз.

Лена в белой косынке, озабоченная тем, от чего ее оторвали, вышла на крыльцо.

— Я хочу познакомить тебя с моим лучшим другом — Сеней Кудрявым. Вот...

Сережа указал на Сеню, который со своим обычным, спокойным, грустноватым выражением смотрел на Лену.

Она оказалась совсем не похожей на Сережу, но еще прекрасней, чем он ожидал.

— Кудрявый? Я знаю вашу фамилию из газет,— без улыбки говорила Лена, внимательно приглядываясь к нему: несомненно, она где-то видела это чуть тронутое нежным загаром бледное лицо.— Простите, не могу подать руки. Я очень рада. И особенно рада за Сережу.

Она не лгала. Лицо Сени сразу понравилось ей своим выражением — выражением душевной тонкости, ума и простоты.

Она помолчала, ожидая, что он скажет что-нибудь, но Сеня ничего не говорил, а все смотрел на нее со своей спокойной, умной, грустной улыбкой.

— Я так и знал, что вы понравитесь друг другу! — нетактично сказал Сережа.

Сеня так смутился, что на него жалко было смотреть. За ним смутилась и Лена.

— Мне надо идти,— заторопилась она.— До свиданья!

В дверях она обернулась и виновато улыбнулась Сене. «Где я его видела?» — подумала она.

VI

Они выехали на рудник верхами, а потом пошли пеше по той самой тропе, где происходило свидание Суркова с американским майором.

По этой тропе проходила вся связь между партизанским штабом и рудником, а через рудник — с городом.

Километрах в трех от рудника на тропе был установлен пост.

Когда Сеня и Сережа с проводником достигли поста, была уже ночь. Скалы и кусты вокруг и распростершаяся далеко позади долина Сучана лежали в бледном свете ущербного месяца.

На каменистой площадке перед темным входом в пещеру горел костерик. Человек десять — двенадцать невооруженных людей сидело и лежало вокруг костра. С площадки виднелись звездное небо, вершины деревьев, растущих откуда-то из темного низу, и дальние скалы, облитые светом месяца.

Эти освещенные таинственные скалы и темные провалы распадков, и пламя костра, и сборище людей в ночи — все это сразу наполнило Сережу волнующим романтическим чувством.

Человек в одежде горнорабочего привстал на коленях и, защищаясь ладонью от костра, всматривался — кто подошел.

— На рудник, что ли? — глуховато спросил он.

— А что вас много так? — спросил Сеня.

— Свои это. Пленные красноармейцы из России,— ответил горнорабочий.

— Пленные красноармейцы?! — лицо Сени так и озарилось радостью.— Выходит, можно новости узнать у вас, про Россию-то? — взволнованно спрашивал он.

Красноармейцы зашевелились, заулыбались.

— Мы ведь уже скоро год, как в плену,— сказал один.— Нас в эшелонах смерти везли.

— Вот оно что!..— сочувственно протянул Сеня.— Где ж вы сидели?

— На Чуркином мысу.

— Давно бежали?

— Недели две.

— Кто вас направил сюда?

— Рабочий «Красный Крест». У нас письмо есть от комитета,— торопливо сказал красноармеец, забоявшись, что ему не верят,— да велено прямо в руки товарищу Суркову отдать.

— Ну, поздравляем вас от лица всех наших товарищей партизан с благополучным прибытием! Будем знакомы! — торжественно сказал Сеня.

Сеня и Сережа обошли всех красноармейцев, крепко, с чувством приветствуя их рукопожатиями.

— Здоровы все? — спрашивал Сеня.— Рады, небось?

— У-у...перву ночку, как вольно вздохнули! Даже не верится, что среди своих! — вперебой радостно заговорили красноармейцы.

— Вы, как в Скобеевку придете, в отряд Гладких проситесь. Скажите, такой договор у вас со мной...

— Так вы, значит, Кудрявый? — медленно и глуховато сказал человек в одежде горнорабочего, когда Сеня и Сережа уселись у костра перекусить.— Мне в аккурат велено на рудник вас провести, да я бы советовал денек вам обождать...

— А что? — насторожился Сеня.

— А то, что я их с трудом провел,— горняк кивнул на красноармейцев,— тревога кругом. Охрану усилили, и, где сейчас посты, даже не знаю.

— С чего тревога-то?

— Сегодня у нас забастовка началась... всеобщая,— спокойно сказал горняк.

Весь вчерашний спор с Бутовым мгновенно прошел перед Сеней.

— Как же оно получилось? — спросил он.

— Оно все копилось, копилось. А сегодня в четвертой шахте двух в гезенке насмерть задавило, вся шахта бросила работу, пошла по другим шахтам народ сымать. Часам к двум весь рудник встал.

Сеня, сильно побледнев, некоторое время молча смотрел на огонь. Сережа, взволнованный тем, что путешествие может сорваться, нерешительно спросил:

— Что же мы теперь? Домой?

— Домой? — удивился Сеня.— Нет, братец ты мой, придется нам теперь, не теряя ни минутки, на рудник идти. Теперь там самая нужда в нас. Придется тебе, товарищ, как хочешь, а доставить нас немедля, хоть по воздуху. Уж там, на руднике, закусим,— улыбнулся он Сереже.

Сережа торопливо стал укладывать суму. Двое красноармейцев бросились ему помогать. И все красноармейцы сразу засуетились вокруг Сени и Сережи.

— Хлеб, хлеб передай, не видишь? — укоризненно говорил один другому.

Сережа вдруг понял, что эти люди, год просидевшие в плену, чувствуют себя как бы виноватыми в том, что они избавились от опасности, которая угрожает Сене и Сереже.

— До свиданья, товарищи дорогие! Скоро увидимся! — Сеня прощально поднял руку.

Сережа, улыбаясь, поднял свою.

Все повставали. На лицах красноармейцев было взволнованное, теплое и мужественное выражение.

— Счастливо добраться!.. Успеха вам! — говорили они, прощально махая руками. Некоторые сняли шапки.

«Как все это прекрасно!» — растроганно думал Сережа, в последний раз взглянув на красноармейцев, на пламя костра в ночи и устремляясь в темное страшное отверстие между скалами.

VII

Чтобы повидать Суркова, Яков Бутов и товарищ его по рудничному комитету использовали воскресный день и не спали две ночи. У Бутова вот-вот должна была родить жена, а у товарища его, Фили Анчишкина, любимая дочь, Наташка, лежала больная. Но как только прогудел гудок утренней смены, оба стали на работу.

Бутов работал забойщиком в шахте № 1, расположенной почти в самом центре поселка. Филя — черно-

рабочим эстакады на шахте № 4, одной из самых дальних.

Незадолго до обеда на забойщика Ивана Николаева и его подручного Ваню Короткого, работавших в шахте № 4 в дальнем квартале и почти уже добравшихся до верхнего горизонта, хлынула многотонная лава угля, воды и грязи. Лава сбила их со стоек, и вместе со всей лавой, колотясь о нижние стойки, они полетели с шестидесятиметровой высоты в узкое горло гезенка, где их трупы были забиты углем и породой.

Первым о катастрофе узнал китаец-коногон: подкатив к устью гезенка с поездом вагонеток, он увидел, что из гезенка не поступает уголь и сильно сочится вода.

Рабочие нижнего горизонта, побросав работу, побежали по штрекам к месту катастрофы. Забойщики и их подручные, быстро и ловко, как обезьяны, скача по стойкам, спускались вниз и тоже бежали к месту катастрофы.

Штейгеры, десятники, боясь самосуда, кто клетью, а кто по лестнице, бросились вон из шахты.

Рабочие были в том состоянии предельного возбуждения, когда одно горячее слово могло толкнуть их на самые отчаянные поступки. И слово это было сказано.

Забойщик Максим Пужный, обладавший ужасной силы голосом и считавший себя анархистом, после того как в восемнадцатом году приезжий анархист назвал его «братом по мысли», поднял над головой лампу и крикнул:

— Бросай работу! На-гора́!..

И все подняли над головами лампы, кирки, лопаты и закричали:

— На-гора́!.. На-гора̀!..

Изуродованные трупы были извлечены из гезенка. Неся их впереди, потрясая тяжелым горняцким инструментом, поблескивающим при свете ламп, рабочие хлынули по главному штреку к клети.

Филя немедленно послал человека известить обо всем Якова Бутова.

Слух о несчастье, сильно преувеличенный, мгновенно прошел по рабочим жилищам. Толпа родственников, стариков, женщин, детей, все пополнявшаяся рабочими вечерней и ночной смен, бросившими домашнюю работу

или разбуженными от сна, стояла поодаль от надшахтного здания; милиция не подпускала ближе к копру.

Но как только первые рабочие утренней смены с еще не потушенными лампами на поясах, с черными руками и лицами, на которых страшно выделялись горящие глаза, вывалились из надшахтного здания, толпа прорвала редкую цепочку милиционеров и окружила погибших.

Жена Николаева упала мужу на грудь и стала биться и кричать. Старики его, держась за руки, и дети его с выражением удивления на лицах стояли возле. И все вокруг смотрели на них и ждали, чем все это кончится.

А Ваня Короткий был никому не известный бродяжка, и на него мало обращали внимания. Потом сквозь толпу пробилась девушка в голубой кофте, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от бега. Она пробилась сквозь толпу грудью и локтями, никого не видя перед собой, и остановилась, только когда никого уже не оставалось между ней и Ваней. Она увидела кровавую грязную кашу вместо его лица и сразу присмирела. Она не отвернулась, не заплакала, а так и осталась стоять над Ваней, прижав к груди смуглые кулачки, в одном из которых зажат был батистовый платочек.

Филя, страдая от сознания, что приказ Суркова не может быть выполнен, поднялся на эстакаду, жалобно сморщился и открыл митинг.

VIII

Яков Бутов с товарищами обедал под землей, когда ему доставили сверху две записки: о том, что поднялась четвертая шахта, и о том, что жена его начала рожать.

Сославшись на то, что жена начала рожать, Бутов побежал к стволу шахты. Платком, в котором ему принесли обед, он завязал голову, чтобы при выходе подумали, будто он поранил голову и идет в больницу.

Едва он вышел на улицу, мимо него, обдав его комьями земли, промчался полувзвод казаков.

Ближний путь к шахте № 4 проходил улицей, на которой жила в маленьком беленом домике семья Бутова. Он побоялся, что кто-нибудь из родни перехватит его и тогда трудно будет уйти от рожающей жены, и побежал другой улицей.

Он миновал поселок и тропою между шахтами копры которых выступали над лесом, выбежал на поросший кустарником отрожек. Перед ним открылся лужок, весь покрытый оранжевыми купальницами. Из леса, по дороге через лужок, медленно шла демонстрация: рабочие утренней смены в черных от угля робах и рабочие вечерней и ночной смен в домашних одеждах. Среди демонстрантов немало было женщин и детей.

Впереди колонны на носилках несли покрытые рогожами трупы погибших. По обеим сторонам демонстрации, топча оранжевые купальницы, гарцевали казаки в фуражках с околышами под цвет купальниц.

Бутов понял, что четвертая шахта уже успела снять рабочих шахты № 6 и 5-бис и все вместе идут снимать другие шахты и что казаки растеряны и боятся затронуть демонстрацию.

Бутов был природным вожаком, которые всегда таятся в рабочей среде, как искры в кремне. Достаточно ему было увидеть эту демонстрацию с трупами вместо знамен впереди, чтобы понять, что теперь уже никак невозможно выполнить приказ Суркова, а надо возглавить стачку и развернуть ее во всю силу.

Когда демонстрация, сопрозождаемая казаками, подвалила к шахте № 5, половина рабочих была уже наверху, и Бутов, окруженный толпой, сидел на бревнах посреди двора и распределял делегации по шахтам, еще не затронутым стачкой,— чтобы шахты примыкали к бастующим.

Толпа демонстрантов, слившись с рабочими пятой шахты, заполнила весь двор. Бутов поднялся на бревнах. Казаки, оттиснутые со двора, сдерживая приплясывающих коней, переругивались с задними рядами, не решаясь пустить в ход плети. Осмелевшие поселковые мальчишки проныривали под брюхами у коней. Стая голубей, вспугнутых толпой, кружилась над вершиной копра, где у них были гнезда. Бутов поднял свои черные руки. Наступила тишина.

— Товарищи! С чего пошли все беды наши? — спросил Яков Бутов.— А с того они пошли, беды наши, что ни на земле, ни даже под землей не дают нам жить и работать по своей воле и разуму. За что погибли товарищи наши? — Он указал пальцем на покрытые рогожами трупы Николаева и Короткого, покоившиеся на носил-

ках у его ног.— За что пухнут с голоду дети наши? За что замучили Игната Саенко и других, несть им числа? За что гибнут в сопках партизаны, прекрасные герои наши? — спрашивал он, поводя над толпой своими могучими усами.

Толпа грозно молчала. Все смотрели на него. У Максима Пужного глаза горели, как у кошки. На лице у Фили, стоявшего у самых носилок, было выражение наивной торжественности.

— А за то, что не сами мы установили эту власть,— сказал Бутов, погрозив пальцем в пространство,— а чужие штыки посадили ее на шею нам. Дозвольте же наперво заявить этим господам, что никто из нас не станет работать, доколе хоть один солдат чужой державы останется на земле нашей!..

Только он сказал это, над толпой точно разорвалось что-то. Люди исступленно, яростно хлопали в ладоши, кричали «ура», «правильно», вздымали кулаки, фуражки.

С высоты бревен Бутову видны были серые крыши поселка и пыльная Екатериновская дорога,— она шла мимо шахты № 5. Он вдруг увидел показавшуюся вдали из поселка колчаковскую пехоту. И в это же время рядом в лесу протяжно загудел гудок: шахта № 7 извещала о том, что она присоединяется к бастующим.

Собрание приветствовало гудок новым взрывом криков и аплодисментов.

— Кто за эти требования, товарищи, подыми руки! — командовал Бутов.

Все подняли руки. Народу было уже не менее трех тысяч.

— Можно добавить? — угрожающе спросил Максим Пужный.— Два слова от анархистов! — кричал он.

— А теперь, товарищи,— не слушая его, продолжал Бутов,— рудничный комитет призывает всех к спокойствию и предлагает всем по домам разойтись. Подставлять свою грудь под пули расчету нам нет! Расходись все поодиночке, держись кустов. Каждый держи связь со своим шахтным комитетом. Шахтные комитеты — держи связь с рудничным комитетом...— Он снова поднял над толпой черные свои руки и потряс ими.— Держи дисциплину, товарищи! — крикнул он помолодевшим голосом.

Собрание, как вышедшее из берегов озеро, сначала медленно, потом все быстрей и быстрей растекалось во все стороны; отдельные его струи видны были уже далеко в кустах. Одиночные фигуры казаков то появлялись на людской волне, то исчезали, уносимые течением.

Вахмистр с усами, не хуже, чем у Якова Бутова, и еще несколько казаков пробились наконец к бревнам, где стоял Бутов, но его уже и в помине не было. Сторож рудничного двора, безбородый, сморщенный инвалид с деревянной ногой, сидел на бревнах и облизывал цигарку.

— Куда он пошел, не видел? — взняв плеть, сдерживая косящуюся на плеть лошадь, грозно спросил вахмистр.

Сторож искоса взглянул на вахмистра и выпустил два-три неопределенных старческих кашля, а может быть, и смешка: смерть давно уже не была страшна старику.

Шахта № 8 гудела в лесу о том, что она присоединяется к стачке.

IX

После поражения белых частей под Шкотовом и провала наступления на Перятино Ланговой уже не мог обманывать себя в том, что ему удастся удержать рудник без поддержки японских войск. И по мере того как беспомощность и униженность его положения становились все наглядней для него, рушился тот моральный стержень, который поддерживал его в состоянии внутренней собранности, независимости и деятельности.

Зевая от тоски и скуки, он просиживал долгие бесплодные вечера у управляющего, с ленивой и презрительной усмешкой принимая ухаживания дам; играл в карты и много пил, заглушая всякую возможность работы мысли.

И всюду, где бы он ни появлялся, он встречал жену Маркевича, молча преследовавшую его своим голубым, пустым, порочным взглядом. Этим своим взглядом, улыбками, скрытными и в то же время какими-то по-детски и низменно откровенными, прикосновениями рук, всегда неожиданными, мягкими, кошачьими, она сразу

устанавливала свои особые и очень интимные отношения не с Ланговым, а с кем-то жестоким и слабым и опустившимся внутри него.

Этому второму она как бы говорила о том, что с ней *все можно.* И Ланговой чувствовал, как между ним и этой женщиной исчезают всякие установленные жизнью преграды.

Когда поднялась четвертая шахта, Ланговой находился не на руднике, а на позициях на Перятинской дороге, где в ожидании наступления партизан рылись окопы и блиндажи.

Ланговой тотчас же выехал на рудник.

Его встретила всеобщая растерянность. Шахты одна за другой бросали работу. Управляющий поминутно звонил в штаб, взволнованным голосом просил принять меры. Маркевич, дергаясь лицом и плечами, говорил о том, что он давно предупреждал, а теперь умывает руки, и Ланговой вдруг понял, что Маркевич боится.

Ланговой послал усиленные наряды на шахты, еще не захваченные стачкой, с распоряжением никого не пропускать в шахты и не выпускать из них.

В четыре часа прогудел гудок вечерней смены, но никто не стал на работу.

Большинство шахт пустовало, работали только водоотливные насосы. Рабочие первой и второй шахт, расположенных в самом поселке, и девятой и десятой, находившихся под японской охраной, не успели подняться на-гора́ и бастовали под землей.

Шахта № 1, в которой работал Яков Бутов, была самой старой и самой крупной на руднике. В ней работало до полутора тысяч человек, из них свыше трехсот китайцев.

Председателем шахтного комитета здесь был Пров Саенко, однофамилец замученного Пташки, бесстрашный, веселый, в осенних кудрях парень, уличный вожак и озорник, любимец поселковых девушек.

О положении дел веселый Пров, работавший под землей, узнал по телефону от администрации, когда перестала работать клеть и выяснилось, что штейгеры и десятники, за исключением двух-трех, находившихся в дальних выработках, выбрались на-гора́.

Оставшихся штейгеров хотели было тоже выпустить по лестнице, не желая, чтобы в шахте оставались хозяй-

ские уши. Но Пров, нехорошо и весело подрожав ноздрями, сказал:

— Пущай-ка с нами посидят...

И штейгеров заперли в конюшню для слепых подземных лошадей, велев аккуратно ухаживать за ничем не виноватой скотиной.

В большом скоплении людей всегда есть немало трусов и еще больше людей неясных, поведение которых зависит от того, кто берет верх. Но старики шахтеры, когда они не наверху, а под землей, обладают особенным чувством дисциплины и дружбы, похожие в этом отношении на старых моряков во время аврала.

Только в первые минуты возникла паника в более отдаленных выработках и постояла толчея возле подземного рудничного двора, где обосновался теперь в конторке забастовочный комитет. Но не прошло и получаса, как создалась такая обстановка, когда не только бегать зря, но даже задавать вслух относящиеся к событию вопросы было уже неудобно.

Рабочие со всех выработок были стянуты в ближние штреки. Китайцев решили не неволить и собрали их па митинг,— китайцы примкнули к стачке.

Через некоторое время по всем штрекам, как в детской игре в телефон, из уст в уста пошел опрос: у кого есть часы. Опрос установил, что ни у одного из полутора тысяч шахтеров часов не было.

Но если ни у кого из горняков не было часов, то у многих обнаружились карты. Когда Пров пошел по штрекам проведать людей, уже во всех местах, где висели или стояли горящие лампы, образовались кружки. Молодежь группировалась больше вокруг откатчиц, веселыми шутками встречавших кудрявого Прова.

— Только смотрите у меня!..— Пров погрозил золотисто-черным пальцем со стальным колечком.

— Это ты у нас ходо́к, Пров Алексеич, а это что ж за народ,— зелень! — бодренько сказала старуха Чувилиха, лет тридцать уже работавшая по шахтам.

— Под землей-то грех, бабушка! — отшутился Пров при общем смехе.

В чуть освещенном мокром тупичке человек до тридцати молодых шахтеров и шахтерок, наладив на расчески и гребешки папиросную бумагу, играли «Барыню», и парень и девушка, похожие на водолазов, полуприсев,

чтобы не стукнуться головами о крепление, оттаптывали ее, «Барыню», тяжелыми горняцкими башмаками.

— ...И лежит она, та Атланида, на дне морском — улицы, церкви, бани, кабаки, а поверх ее вода. Соленая,— дребезжал в кромешной тьме стариковский тенорок.

— А люди? — спросил Пров, приподняв свою лампу.

— Люди! Сказано, на дне морском! — отвечал кто-то из слушателей.

— Ну, это как сказать, это никому не известно,— поправил его рассказчик, покосившись на подошедшего,— это еще никому не известно, чего оно там на дне морском,— продребезжал он своим тенорком.

— А оно без людей еще интересней,— сказал кто-то,— стоят башни, дворцы царские, замки́,— он имел в виду за̀мки,— а округ них рыбы плавают. Большие... акулы, сомы...— таинственно говорил он.

— В море сомы? Сам ты сом! — сказал Пров.— Давайте лучше песню сыграем. Хорошую. Из тех, что не полагается...

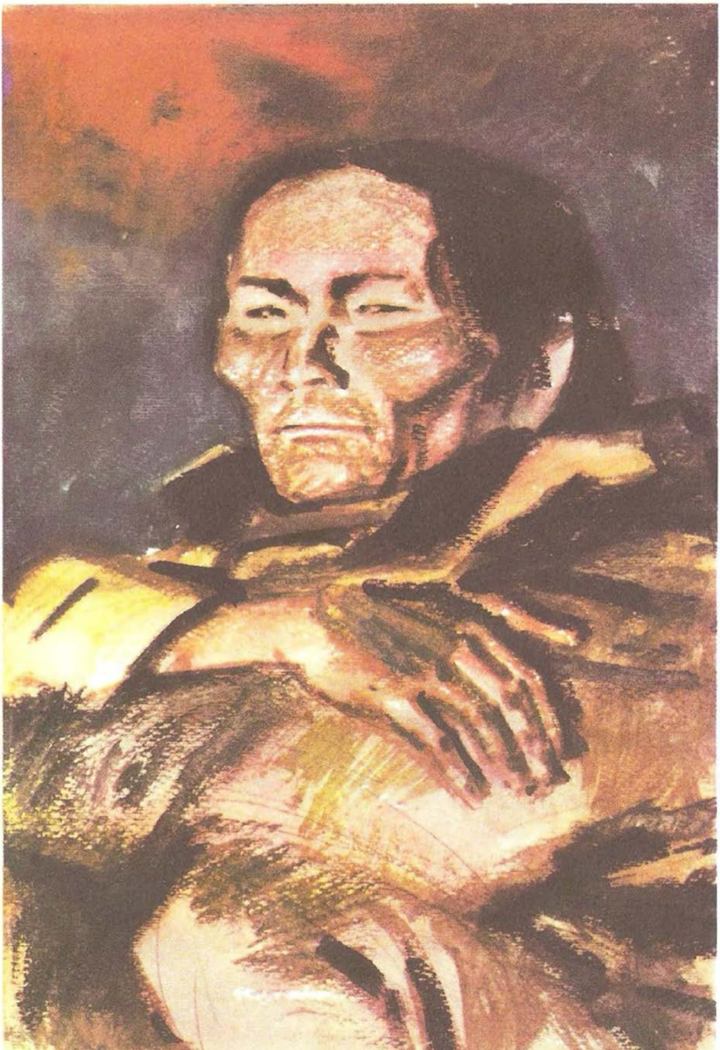
Старик рассказчик, видавший виды, с готовностью кхекнул в бородку и затянул «Замучен тяжелой неволей», но Пров нашел, что до этой песни еще не дошло. Он завел «Вставай, подымайся, рабочий народ». Соседние группы примкнули к ним, и песня покатилась по штрекам.

Тысяча с лишним людей, рассевшихся звездообразно под землей на общем протяжении в два километра, не могла петь в лад. Песня перекатывалась из одного штрека в другой, возвращалась обратно; ее накатывавшиеся волны с грохотом сшибались с встречными,— казалось, это сама земля гудит.

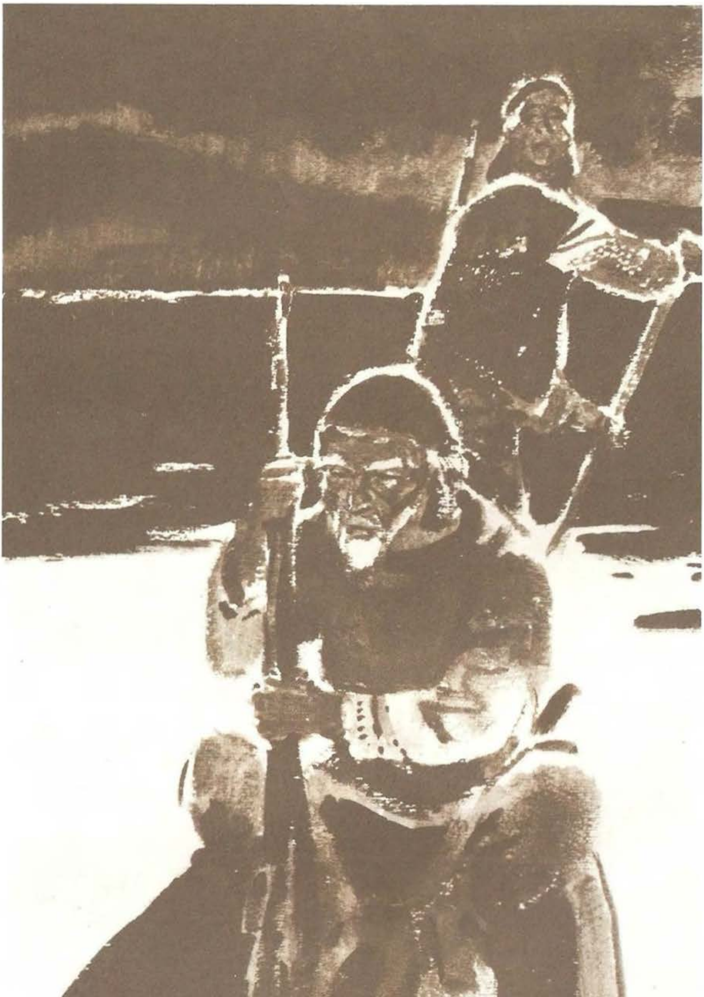
Но там, на земле, не было слышно этой песни. Слушали песню только китайцы, молча сидевшие в темном штреке на корточках друг против друга.

X

Вокруг шахт, забастовавших под землей, собрались толпы женщин и детей. Женщины осыпа́ли солдат насмешками и бранью и чуть не плевали им в лицо. Дети, что постарше, кидались камнями, а те, что поменьше,



»ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» (*Часть II*).



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть II)*.

плакали. Казаки разгоняли толпы плетьми, но толпы собирались снова, с каждым разом становясь смелее.

У шахты № 2 женщины стащили с лошади отбившегося от своих казака и сняли с него штаны и сапоги.

Часам к пяти забастовали железнодорожники, рабочие подвесной дороги, рабочие коксовой печи и электрической станции.

Ланговому сообщили из конторы управления, что пришли представители стачечного комитета и управляющий просит принять участие в переговорах.

Он поехал в сопровождении Маркевича, адъютанта и эскорта казаков.

Не слышно было ни привычного жужжания вагонеток подвесной дороги и грохота сгружаемого и нагружаемого угля и маневрирующих составов, ни по́свиста «кукушек» на станции. С горы виден был весь поселок, дальний край которого под сопками был уже в тени, а ближняя, бо́льшая, часть еще освещена солнцем. Там и здесь виднелись пестрые кучки женщин, то разбегавшиеся, то возникавшие вновь. По улицам маячили конные с желтыми околышами фуражек. В прозрачном воздухе стоял слитный гомон женских и детских голосов.

Едва Ланговой и сопровождавшие его офицеры и казаки свернули на улицу, идущую мимо шахты № 1, дорогу им перегородила толпа женщин и детей. Казаки и солдаты, охранявшие шахту, завидев начальство, снова кинулись разгонять толпу, но она, в состоянии крайнего исступления, не обращала на них внимания. Женщины садились или ложились на землю и пронзительно визжали.

Ланговой, стиснув зубы, пришпорил жеребца и карьером помчался прямо на толпу. Маркевич, адъютант и казаки ринулись за ним. Толпа раздалась. Несколько секунд они мчались в окружавшем их сплошном визге и свисте, осыпаемые камнями, щепками, комьями земли и конским пометом. Ланговой почувствовал, как что-то вскользь задело его повыше виска, и фуражка слетела с его головы, но он не остановился, понимая, что каждая минута задержки поставит его в еще более смешное положение.

Через минуту его догнал адъютант и подал фуражку. Ланговой, боясь встретиться глазами с Маркевичем,

вырвал фуражку из рук адъютанта и снова дал шпоры жеребцу.

Несколько человек рабочих сидело в приемной. При виде офицеров все они встали. Ланговой, бледный, с подрагивающими губами, прошел в кабинет управляющего.

— Наконец-то! Здравствуйте, мой дорогой! — управляющий, тряся кадыком и задыхаясь, вышел к нему из-за стола, протянув свои отечные руки.— Вот, изволите ли видеть-с,— начал было он хрипло-певучим, как у старой цыганки, голосом.

Ланговой, не замечая его, круто обернулся к адъютанту и срывающимся на визг голосом закричал:

— О чем вы думали? Вам что было приказано? Вызовите мне командира первого батальона!.. Мерзавцы!..— сказал он, нервными движениями снимая перчатки, и быстро зашагал по комнате.

— Тише, ради бога тише! — говорил управляющий, косясь на двери.— Садитесь, господа. Я думаю, мы должны вначале сами обсудить положение. Вот, изволите ли видеть-с, документ...

Он двумя пальцами взял со стола лист бумаги, наполовину исписанный фиолетовыми чернилами, и протянул Ланговому.

— Командир первого батальона у телефона,— сказал адъютант.

— Я поручил вам, господин капитан, заботу о порядке в поселке,— заговорил Ланговой в трубку тонким и резким фальцетом,— но, видно, не только ваши солдаты, а и вы сами боитесь женщин! Приказываю немедленно прекратить безобразия! Неповинующихся арестовывать, кто бы они ни были. Вы поняли меня? — Ланговой со звоном повесил трубку.— Мерзавцы! — снова сказал он.

Некоторое время он походил по комнате, потом взял из рук управляющего бумагу и прочел ее при общем молчании.

Стачечный комитет извещал о том, что он не считает возможным предъявить требования и вступить в переговоры, пока рабочих четырех шахт насильно и бесчеловечно задерживают под землей.

«Если же управление и командование не внемлют голосу рассудка,— так кончалось письмо,— и подвергнут

репрессиям посланцев наших, рядовых тружеников-шахтеров, то мы напоминаем, что нас, тружеников, на руднике более двенадцати тысяч и нам не останется ничего, кроме беспощадной мести».

— Что вы на это скажете? А?

Управляющий покачал головой, и его обрюзгшее, в коричневых складках, лицо со свисающим кадыком приняло обиженное дамское выражение.

Ланговой брезгливым движением отбросил письмо.

— Не вы у меня должны спрашивать, Николай Никандрович,— сказал он с холодным раздражением,— забастовка у вас, а не у меня!

— Помилуйте, Всеволод Георгиевич, это же дело государственное! Вот, изволите ли видеть-с, я послал телеграммы Михал Михалычу и господину министру в Омск, где я прошу выслать немедленно задолженность по жалованью и транспорт с продовольствием, как единственный, по моему убеждению, способ безболезненно ликвидировать все это... Если же вам угодно знать мое мнение касательно этих четырех шахт,— пониженным голосом сказал управляющий, покосившись на письмо стачечного комитета,— я думаю, их, действительно, надо выпустить и начать договариваться, в расчете на благоприятный ответ Михал Михалыча.

— Вот как! — Ланговой удивленно посмотрел на него.

— Поймите мое положение,— сказал управляющий, приложив руку повыше живота.— Народ озлоблен, два месяца без жалованья, продовольствия нет, в бараках тиф. Я не против репрессий, но, господа, как только они бросят работу у насосов, шахты будут затоплены! Еще несколько дней стачки — и коксовая печь выйдет из строя на несколько месяцев. А в какое положение мы ставим город, дорогу? Я уж не говорю о том, что у этих людей припрятано оружие, динамит — это господину Маркевичу лучше меня известно. С отчаяния они на все пойдут.

— Ваше мнение, господин поручик? — спросил Ланговой.

Маркевич жалобно сморщился.

— Что ж мое мнение? По-моему, господин управляющий прав. Ведь сил-то у вас нет? — сказал он плачущим голосом, искоса взглянув на Лангового, и в круглых

желтоватых глазах его зажглись огоньки хамского торжества и удовольствия.— Посмотрите, какой порядок у капитана Мимура! Никаких переговоров, никаких демонстраций, бабы боятся даже близко подойти. Политика сильной руки! По-моему, надо японцев вызвать, они заставят людей работать! — сказал он, с нескрываемой уже издевкой глядя на Лангового.

Кровь прихлынула к лицу Лангового, и на виске его забилась тоненькая жилка.

— Господин поручик, происхождения которого я не имею чести знать, забывает, что мы в России, а не в Японии...— холодно сказал он.

— Воля ваша,— сказал управляющий,— а этих представителей я еще попробую уломать. Будьте добры, дорогой мой, пригласите-ка их сюда,— обратился он к адъютанту.

Адъютант распахнул дверь:

— Па-жалте!..

XI

За все время пребывания на руднике Ланговой не промолвил и двух слов ни с одним из двенадцати с лишним тысяч людей, живших и работавших вокруг него, даже не пригляделся ни к кому из них.

И вот они вошли, пять человек, подталкивая друг друга, держа перед собой фуражки, видимо робея. Впереди шел парень в синей косоворотке, черноволосый, с открытым, тронутым оспой лицом и твердыми серыми глазами. За ним — двое пожилых: один — лет уже за сорок, приземистый и, должно быть, силач; другой — помоложе него, худой, с поблескивающими на впалом лице выпуклыми глазами,— оба в тяжелых сапогах и потертых черных пиджаках. Четвертый был уже совсем старик, с черепом Сократа, с курчавой бородой и мелкими-мелкими, черными от угля, морщинками на лице. А пятый — почти мальчик. Жесткие стальные волосы торчали на его голове во все стороны, выражение лица было светлое и суровое.

При виде этого юношеского светлого и сурового выражения что-то дрогнуло в нижней части лица Лангового, и он отвел взгляд: внутренний голос подсказывал ему, что сюда он не должен смотреть.

Рабочие вошли и остановились возле двери и во все время разговора уже не отходили от нее.

— Ну-с, так...— управляющий своими отечными пальцами сделал неопределенное движение.— А главные ваши что ж? Боятся? Заварили кашу и послали вас расхлебывать, а сами боятся?

Рабочие молчали.

— Кто вас послал?

— Кто? Народ послал,— спокойно сказал черноволосый парень с лицом, тронутым оспой.

— Народ? Какой-такой народ? Русский народ?

— Разный, какой есть. Шахтеры.

— Большевики, что ли?

Парень промолчал.

— То-то вот, а ты говоришь — народ. Ты еще молод, да-с! А я-то знаю русский народ. Никогда он не пойдет на такое дело, если не натолкнут его злые люди.

Ланговой, искоса взглянув на управляющего, поморщился.

— Вот я вижу среди вас Соловьева, Анания,— продолжал управляющий своим хрипло-певучим голосом,— и диву даюсь: русский человек, старый солдат... Поди-ка сюда поближе, Соловьев!

Управляющий поманил пальцем. Старик, похожий на Сократа, протискался вперед, стал рядом с черноволосым парнем и кашлянул, прикрыв рот фуражкой.

— Скажи вот ты мне, Соловьев, ты же меня хорошо знаешь: помнишь — ты просил у меня теса на сарайчик, и ведь я тебе не отказал, и ты знаешь, что я всегда готов пойти навстречу всякой нужде и вместе с вами разделяю то тяжелое бремя, те, что ли, лишения, временные лишения...— управляющий запутался в придаточных.— Вот, например, я послал телеграмму самому министру и скоро ожидаю денег для вас и продовольствия, и мы могли бы обо всем прекрасно договориться. Так скажи же ты мне, как же ты, старый, умный человек, поддался на уговоры этих людей, у которых нет ни бога в душе, ни дома, ни родины, ни... встал на путь преступления, государственного преступления, и во вред себе! Как все это получилось?

— Да ведь наше дело, как все, Николай Никандрович! — зачастил старик неожиданно-веселой скороговоркой, и его лицо, испещренное черными морщинками, за-

светилось хитростью.— Все — значит, и мы. Мы — значит, и все. Так ведь оно... А тесу, не спорю, вы мне отпустили, верно, и за это я вам вполне благодарен. Уж что верно, то верно,— сказал он и оглянулся на своих товарищей, как бы за сочувствием.

Никто из них не отозвался, только по каменному лицу приземистого пожилого рабочего пробежала мгновенная тонкая усмешечка, относившаяся скорее не к старику, а к управляющему.

— Ты хочешь сказать, что поступил по своей воле? Так, что ли? — допытывался управляющий.

— Да ведь человек по своей воле не живет, Николай Никандрович. Раз пришло — значит так, а раз по-другому — значит по-другому. А до смерти мне уж недолго, да мы, шахтеры, правду сказать, с издетства ее не боимся. Так ведь оно...

— А вы вот что, господин управляющий,— блестя выпуклыми глазами, сказал вдруг худой рабочий низким резким голосом,— вы нас про то, кто нас послал, да по своей ли воле пошли, вы нас про то не спрашивайте. Дело известное: послали нас рабочие,— не нас, так других...

— Правильно,— поддержал его черноволосый парень с оспинами,— и на то есть у вас письмо. А вы нам ответ скажите.

— Про что ж я и говорю! — сказал старик, хитро и бодренько оглядев сидящих перед ним господ.

— Как твоя фамилия? Твоя, твоя! — вдруг закричал Маркевич, перегнувшись через ручку кресла и ткнув пальцем в черноволосого парня.

— Городовиков,— сказал парень с достоинством.

— На какой шахте работаешь?

— На третьей.

— А твоя? — Маркевич ткнул пальцем в худого рабочего.

Тот назвал себя. Маркевич опрашивал каждого и заносил в записную книжку. Когда он дошел до паренька с непослушными стальными волосами и наивным суровым выражением лица, Ланговой не удержался и поднял голову и тотчас же опустил: этого лица он решительно не должен был видеть.

— Разрешите отлучиться, господин полковник? — многозначительно сказал Маркевич и встал.

Ланговой махнул рукой. Рабочие переглянулись, и лица их потемнели. Маркевич, усмехаясь, шел прямо на них. Рабочие, чтобы пропустить его, отодвинулись в сторону, прижавшись друг к другу.

— Так... Ну что ж, господа,— грустно сказал управляющий,— я дал вам возможность одуматься, но...— он развел руками: — Конечно, вы могли бы взять обратно эту... эту бумагу,— он полированными ногтями оттолкнул по столу письмо,— да, взять ее обратно и передать своим товарищам, что если они станут на работу...

— Бумагу мы взять не можем,— покорно, но твердо сказал черноволосый парень с оспинами на лице,— не мы ее писали.

— Подумайте, к чему это приведет, господа!

— Довольно! — вдруг сказал Ланговой звенящим голосом и длинной белой своей ладонью тихо стукнул по столу.— Они ждут, чтобы с ними поступили, как со всеми бунтовщиками и изменниками. Так пусть пеняют на себя!

— Это будет ваш ответ? — тихо спросил парень с оспинами.

Никто не ответил ему. Рабочие, подталкивая друг друга, вышли из кабинета.

XII

Денщик в прихожей раздувал сапогом самовар и тоненько пел какую-то заунывную песню без слов.

Ланговой, сбросив ему на руки фуражку, перчатки, прошел к себе. Как ненавидел он свою холостяцкую запущенную квартиру, пахнущую грязным бельем, ваксой, умывальником!

На столе лежала неразобранная, скопившаяся за неделю почта — газеты, письма. Все это были казенные письма из штаба, донесения, сводки. Никто не беспокоился лично о Ланговом, не спрашивал о его здоровье, настроении. Не было на свете ни одной живой души, которая помнила бы о нем. Вениамин, Дюдя, друзья детства, юности?.. Мираж, мираж!

Если бы он хотя бы изредка мог ждать письма от Лены! Хотя бы письма! С каким бы трепетным волнением

он распечатывал их, чего бы только он не мог совершить на свете ради единой строки ее письма! Но...

Машинально он стал разбирать почту, привычно угадывая по конвертам и бандеролям, что надо, а что не надо читать. Он вскрыл тяжелый, с сургучными печатями пакет от командования корпусом.

«Начальникам военных отрядов, действующих в районах восстания. Приказываю неуклонно...»

Ланговой побежал глазами по строчкам, не вдумываясь вначале в смысл того, что читал.

«...При занятии селений, захваченных разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются,— расстреливать десятого.

Деревни и села, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно.

Как общее руководство, помнить: на население, явно или тайно помогающее разбойникам, должно смотреть, как на врагов и расправляться беспощадно, а их имуществом возмещать убытки той части населения, которая стоит на стороне правительства...»

«Так, так!..» Брезгливыми, методическими движениями он изорвал приказ на мелкие клочки и бросил в пепельницу.

Машинально он распечатывал одну за другой газеты и быстро проглядывал их.

«Приамурские известия». 26 мая. *Хабаровск*. «...В Зею приехали семь японских инженеров для покупки приисков по реке Селемдже, принадлежащих Франжоли. По словам «Голоса тайги», японские инженеры знают округ лучше, пожалуй, чем наше министерство торговли и промышленности. Оказывается, что Н. А. Франжоли им ничего не писал о продаже приисков, и когда он им начал рассказывать о состоянии своих приисков, то они просто ему сказали: «Это нам все известно...»

«Забайкальская новь». 20 мая. *Чита. Обращение забайкальского епископа Мелетия*. «...Доблестные войска дружественно верной Японии целый год помогают возрождению нашей государственности. Они уже обильно обагрили нашу землю своею кровью и в настоящее время совместно с нашими верными воинами приступили к полному очищению нашего Забайкалья от большевист-

ских разбойничьих банд, грабящих и убивающих мирное население...»

«Дальневосточное обозрение». 28 мая. *Обращение представителей всероссийского совета съездов торговли и промышленности к начальнику японской дипломатической миссии:* «...Японцы с таким удивительным мужеством и самоотверженностью борются с большевиками, охраняя законность и порядок на русской земле. Нам известны в высшей степени доброжелательные и корректные отношения японских войск к частным русским жителям. Наконец, нам известно ваше, вашей миссии, прекрасное и чуткое отношение к России и трогательное понимание ее теперешних нужд. Благородная политика Японии вселяет в нас уверенность, что все трудности...»

«Наше дело». Иркутск. «...16 мая в Чите происходило совещание русских и японских торгово-промышленных и финансовых организаций. В совещании этом приняли участие представители торгово-промышленной палаты, русских и японских торгово-промышленных предприятий и банков, представители атамана Семенова и военные представители Японии. На совещании было достигнуто соглашение о переходе на иену и об организации торгово-промышленного товарищества на акционерных началах. В вышеназванное акционерное предприятие вступили русские и японские торгово-промышленные круги, некоторые русские и японские банки. Кроме того, непосредственно в качестве акционеров в этом предприятии принимают участие атаман и целый ряд видных военных чинов при штабе атамана Семенова...»

Ланговой отбросил газеты и некоторое время постоял, глядя перед собой блестящими невидящими глазами.

«И вот за это мы отдаем свою кровь, лучшие силы молодости, любовь, счастье!..» — думал он с грустью и злобой.

И снова он увидел перед собой Лену, как она стояла перед ним в гостиной тогда, в самый счастливый день его жизни.

— А чем вы можете проверить, что вы проливали свою кровь не зря? — спрашивала она своим милым протяжным голосом.

«Боже мой, боже мой! Как все это непоправимо!» — вдруг подумал он с отчаянием. В тяжелом волнении он зашагал по комнате. Да, он сделал какую-то решающую

ошибку в своей жизни, но где, когда и в чем ошибка, и что он должен был делать, если не это?

Он остановился у окна. Багровый закат стоял за хребтом. На фоне заката видны были суровые темные очертания хвойного леса, ломаные линии скал, выпуклости гор, похожие на спины уснувших допотопных животных. Все это было такое холодное, древнее. Такой закат видели закованные в броню и кольчугу могучие казацкие старшины во время их непреклонного и страшного движения на Восток и дед Лангового, огибавший на утлом паруснике угрюмый остров Сахалин. Когда-то это были любимые герои его юности. Мираж, мираж!.. Позор и бесчестье, ужасная и жалкая роль палача — вот что досталось ему.

Усилием воли он сдерживал себя, но горло ему перехватывало, и что-то беспрерывно дрожало в нижней части его лица.

Красноватый сумрак разливался по комнате. Денщик за стеной все еще пел свою заунывную песню. Кто-то тихо-тихо постучал в дверь.

— Да!..— Ланговой обернулся.

Маленькая фигурка в темной накидке скользнула из-за двери, притворила дверь за собой и остановилась.

— Вы?..— Ланговой подался назад и уперся ладонями в подоконник.

Белое лицо в таких же белых кудрях плыло на него. Он сделал несколько шагов навстречу ей, он весь дрожал.

Она снизу вверх, доверчиво, точно они знали уже все друг о друге, смотрела на него.

— Зачем вы...— начал было он, но она быстро подняла свою маленькую гибкую, бескостную руку и приложила пальцы к его губам.

— Он сегодня всю ночь не будет дома,— сказала она с тихим смехом,— я смогу остаться с тобой долго, долго... Ой, милый мой! — И она вдруг, охватив его шею своими гибкими и неожиданно сильными руками, прижалась к нему всем телом.

Внезапная бешеная сила ударила Ланговому в голову. Одно мгновение — и он отшвырнул бы от себя это маленькое, страшное тельце и затоптал бы его ногами, но вместо того он подхватил его на руки и стал осыпать его исступленными поцелуями...

XIII

Сеню Кудрявого и Сережу поместили в избе у Фили, далеко от поселка, в лесу.

Изба была маленькая, из двух комнат и кухоньки. В одной комнатке жили Сеня, Сережа и Филя с двумя мальчиками, а в другой лежала в бреду дочка Фили, Наташка. Ее мать, некрасивая, рано постаревшая от труда и невзгод женщина, с кроткими синими глазами, безропотно обслуживала и семью и постояльцев и ухаживала за дочкой, просиживая ночи у ее постели.

Семья Фили была маленьким трудовым союзом, где каждый работал, как мог, и заботился обо всех остальных. Даже самый младший член семьи, восьмилетний мальчик Коська, застенчивый и веснушчатый, как его отец, носил воду, рубил дрова, мыл и перетирал посуду. И ни разу Сережа не слышал, чтобы кто-нибудь из них попрекнул друг друга, пожаловался на жизнь. Как ни трудна была она, эта их жизнь, особенно теперь,— во всем, что они делали и говорили, была какая-то внутренняя слаженность и теплота.

Каждое утро Сережа тихо входил в комнатку, где лежала больная Наташка, и с серьезным лицом и смеющимися глазами протягивал ей конфету или пряник.

Золотоволосая девочка с приплюснутым темечком, с тоненькими длинными руками,— она любила просовывать их в дырки в одеяле и играть с руками, как с куклами,— ждала его, страстно поблескивая маленькими глазками,— она вся горела.

— Видал, какии злыи куклы? Ух, злы-ыи!..— Она с удивлением поглядывала то на Сережу, то на свои попясывающие в дырках бледные руки.— Уходишь?.. Умру. Не веришь? Ну, смотри... Раз! — говорила она с мрачным блеском в глазах.— Два!..

— Ой, и дурочка же ты, золотенькая ты моя! — пугалась мать, с кроткой улыбкой взглядывая на Сережу, совестясь за дочь.— Идите, идите, вам нужно...

В ту ночъ под рудником, когда Сережа впервые услышал о стачке, все его существо снова опалила жажда подвига.

Люди, с которыми он соприкоснулся в первую же ночь,— Яков Бутов, двоюродный брат его Андрей Бутов, Семен Городовиков, чудом спасшийся от ареста, ко-

гда схватили на улице всю рабочую делегацию, отец его, тоже Семен, могучий сивоусый шахтер, которого, чтобы отличить от сына, звали «старый Городовиков», даже Филя — показались ему титанами. Это были люди подземного труда, который всегда казался Сереже величественным и страшным,— и не рядовые среди них, а вожаки, главари стачки. Долго он не мог избавиться от смущения, что они как-то сразу, естественно и просто, приняли его в свою среду.

И вот перед Сережей очутился гектограф, совсем такой же, как у Ванды в Скобеевке. А потом он должен был пойти туда-то, сказать: «Бабка просила ниток»,— и получить сверток, который надо было отнести туда-то и сказать: «Не купите ли табачку?» Или пойти туда-то, там будет Андрюша, и прийти и рассказать, что́ он передаст. Или просто повертеться в лавках, столовках и рассказать, о чем говорят люди и как настроены.

Сережа, бродя по улицам, испытывал смешанное чувство жалости, благоговения и ужаса, когда представлял себе, что где-то у него под ногами тысячи людей сидят без пищи, в темноте и сырости.

Люди, круг которых все расширялся по мере расширения поля деятельности Сережи, уже не казались ему такими необыкновенными. Нет, люди были разные, но обыкновенные. Наиболее бросающимися в глаза качествами лучших из них были — немногословие, точность, простота, естественность в обращении друг с другом, какая-то органическая веселость, не шумная, спокойная, и абсолютное бесстрашие. Немало он видел вокруг себя людей неумных, слабых, несдержанных и просто пьяниц, хвастунов. Но и они были сильны те́перь какой-то общей связью со всеми, которой соединила их жизнь.

Первым и главным человеком на руднике,— это Сережа видел по всему,— был Сеня Кудрявый.

Никто не избирал Сеню, никто не назначал его на эту роль. Да и где была та сила, которая могла назначить человека первым и главным среди двенадцати тысяч забастовавших рабочих? Он сам стал первым и главным среди них. Может быть, он умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости, выступал среди этих людей в качестве учителя жизни?

Нет, Сеня явно не стремился утвердить себя среди людей и никогда не оценивал людей по тому, насколько их личные качества совпадают с его собственными. И вообще никаких черт властности в Сене не было. Он брал людей такими, какими сложила их жизнь, в многообразии их привычек, слабостей, достоинств и всем умел найти место, и сам был среди людей всегда на виду, со всеми своими слабостями и достоинствами, никем не умел и не хотел «казаться».

В чем же был секрет того, что окружающие люди слушались его и верили ему, как собственной совести?

Такие вопросы смутно возникали в Сережиной голове, и хотя он не мог дать на них ответа, он все больше привязывался к Сене и незаметно для себя подражал ему во всем.

XIV

Под вечер четвертого дня стачки Сережа и Филя оказались в районе железнодорожной станции.

— Глянь, Серега, а ведь нам отсюда не выйти! — тревожно сказал Филя, увидев вдруг, что весь район станции оцеплен японцами.

Сережа тоже увидел японцев и обратил внимание на то, что, кроме них двоих, никого уже не было на улице.

— Пойдем-ка обратно, у свояка на чердаке пересидим. Оттуда и станцию видать,— заторопился Филя — и вдруг, схватив Сережу за руку, потащил его за собой в ближайшую калитку.

— Ты что? Что? — испуганно спрашивал Сережа.

— Беляки едут!

Невысокий редкий заборчик отделял их от улицы,— спрятаться было уже некуда,— и оба, замерши, смотрели, как слева по улице приближается к ним группа офицеров на лошадях, сопровождаемая казаками.

Офицеры, весело переговариваясь, поравнялись с калиткой. Сережа взглянул на молча едущего впереди на мохнатом гнедом жеребце худощавого, стройного офицера с холеным и сильным по выражению загорелым лицом и вдруг узнал в нем того молодого человека, которого он несколько раз видел у Лены, последний раз — в день своего отъезда к отцу. Сережа знал, что фамилия

этого человека Ланговой, и несколько раз слышал эту фамилию на руднике, но никогда не связывал их в одно. А теперь он узнал его, и сердце Сережи пронзилось до боли ощущением невозможной, преступной, порочащей Лену близости ее к этому человеку, близости, мгновенно протянувшейся из прошлого в сегодняшний день.

Офицеры, казаки проехали.

— Жируют, сволочи! — сказал Филя.— Идем к свояку.

Из окна чердака видны были некрашеные деревянные строения станции,— возле одного из них стояли две пролетки и много верховых лошадей,— видны были пересекающиеся линии путей; одна из них уходила в сторону Кангауза и исчезала в лесистом распадке. Вдоль по открытому перрону вытянулись шеренги японских солдат и спешенных казаков в синих шароварах с лампасами, с шашками наголо. Перед шеренгами стояли кучками и прохаживались японские и колчаковские офицеры.

— Ждут кого-то,— чугунным голосом сказал Филин свояк, дыша махоркой из-за Сережиной спины.

Жесткая щетина его бороды проникала через Сережину рубашку, но Сережа ничего не чувствовал, всем существом устремившись к тому, что предстояло сейчас увидеть.

Над лесом в распадке закурился белый дымок; донесся протяжный свисток «кукушки». Из распадка вынырнули два паровозика, за ними зеленый служебный вагон, и потянулся длинный состав красных вагончиков, перемежаемых платформами, на которых виднелись жерла и щитки орудий, снарядные ящики, японская прислуга при них.

— Японцы едут... Пропало наше дело, Серега! — надтреснутым голоском сказал Филя и, всхлипнув, закрыл лицо руками, но тут же отнял руки, не в силах оторваться от окна.

Поезд, замедляя ход, подошел к станции. Свет закатного солнца лежал на крышах вагонов и на стволах и щитках орудий. Японские офицеры и офицеры-колчаковцы, придерживая кобуры, шашки, бежали к служебному вагону, проволочившемуся дальше перрона. Из вагона, приподняв за эфес саблю, чтобы не задеть ступенек, сошел, не сгибаясь в туловище, седоголовый японский офицер; за ним выскакивали другие.

Офицер-колчаковец, в котором Сережа признал Лангового, рапортовал что-то седоголовому японцу, тот, скучая, кивал головой, другие стояли поодаль, держа руки у козырьков. Седоголовый японец, за ним Ланговой, за ним остальные пошли по перрону вдоль шеренг.

И вдруг до слуха Сережи донесся пронзительный одинокий старческий голос, похожий на крик ночной птицы; голос тотчас же был заглушен слившимися вместе стенящим теноровым «банзай» и протяжным низким «ура».

Офицеры двинулись к лошадям и пролеткам. Послышались звуки команды. Шеренги солдат очищали перрон. Почти одновременно открылись двери у вагончиков, и вдоль всего состава посыпались, как горох, японские солдаты, сразу заполнившие все расположение станции мельканием лиц, фуражек, бряцанием оружия, снованием и говором.

Сережа с побелевшими губами оторвался от окна, увидел налившееся темной силой щетинистое лицо Филиного свояка и мокрое от слез веснушчатое лицо Фили и, судорожно обняв Филю, прижался щекой к его плечу.

XV

Комитет заседал ночью в Филиной избе. Мальчишек положили на кухне. Оконца были завешены ряднами, рваными одеялами. Иногда из соседней комнатки доносились стоны больной девочки, и все невольно покашивались на дверь.

Сережа, примостившись в полутемном углу, на табуретке, серьезно и испытующе оглядывал каждого вновь входящего, точно отыскивая на его лице ответ на мучивший Сережу вопрос о судьбе стачки.

Сеня, пожелтевший, осунувшийся,— все эти дни он почти не ел и не спал,— сидел за столом, поджав под себя ногу, как портной, и вполголоса разговаривал с Яковом Бутовым.

— А сколько вооружить можно все-таки? — спрашивал Сеня, блестя на Бутова большими темно-серыми глазами.

— Трудно сказать, такие штуки скрывают. По памяти прикидываем, кто с германского фронта принес, кто

с Красной гвардии, кто раньше имел, охотничал,— думаем, ружьев с двести имеется,— отвечал Бутов.

— Скажи вот что еще,— Сеня откинулся к стенке и привычным жестом, который возникал у него, когда он решал что-нибудь трудное, провел рукой по редким кольцам волос: — Народ с рудника бежит все?

— Много,— неодобрительно сказал Бутов.— А теперь, как узнали про японцев, еще больше побегут.

— Это хорошо,— неожиданно сказал Сеня.— Это очень хорошо!

Бутов удивленно посмотрел на него.

— Как твой новорожденный? — вдруг весь осветившись в улыбке, спросил Сеня.

— Да ведь я еще не видал, говорят — девочка,— сконфузился Бутов.— Через пятые уста узнаю. Говорят — такая же, как у всех людей: по правилам,— Бутов улыбнулся в усы.

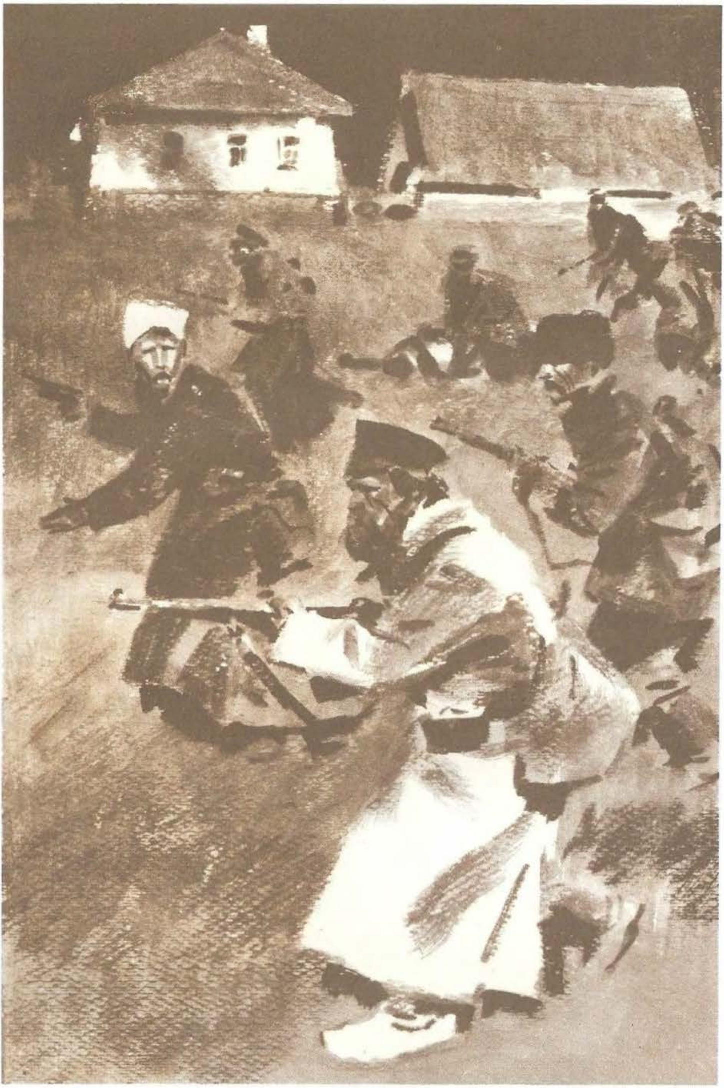
Сеня снова откинулся к стенке и посидел так некоторое время, закрыв глаза. Приезд японцев понудил его принять решение о стачке, которое, он знал, не будет хорошо встречено сейчас комитетом. И он невольно оттягивал начало заседания в тайной надежде, что вот-вот будет ответ на письмо, посланное с нарочным в Скобеевку. Но нарочный не приходил.

— Начнем, товарищи,— решительно сказал Сеня, выпростав поджатую ногу, и лицо его приняло обычное — спокойное, грустноватое — выражение. Все, смолкнув, придвинулись ближе к столу; только Сережа остался в углу на табурете.

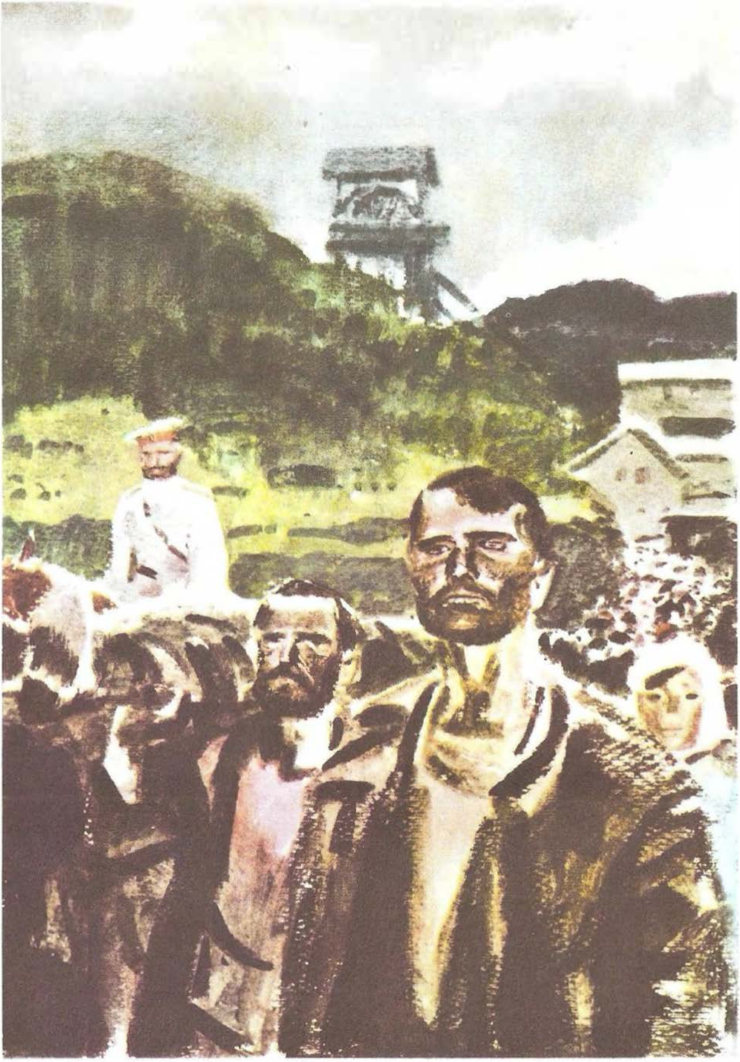
План Сени сводился к тому, чтобы немедленно начать переброску рабочих с рудника в восставшие села, переброску всех, кто способен носить оружие. И в первый момент самая возможность такого выхода показалась людям оскорбительной: им предлагалось в тяжелую минуту спасти сильных, в том числе и себя, а всю тяжесть последствий того дела, которое они начали, переложить на плечи слабых, прежде всего — детей и женщин.

Некоторое время все неловко и угрюмо молчали.

— Я вот что в толк не возьму,— сказал наконец младший Городовиков, глядя на Сеню своими твердыми глазами.— В сопки? Хорошо. Да всех в сопки не уведешь. А как же с остальными будет?



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть III)*.



«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ» *(Часть IV)*.

— А так же будет, как было бы с нами со всеми,— стараясь быть спокойным, но, видимо, волнуясь, отвечал Сеня.— Пока сила есть, бастовать будут. А силы не станет, сдадутся и примут на себя все муки...

— Они же завтра сдадутся, коли мы у них самый хребет вынем! — с едва сдерживаемым возмущением сказал младший Городовиков.

— А по-твоему, лучше сдаться послезавтра, да всем, да с переломанным хребтом? Неужто ж так выгоднее?

— Значит, выгоднее обмануть народ? Так я тебя понимаю? — подрагивая губами, спрашивал Городовиков.

— Обмануть? И что ты, братец ты мой, слова мне говоришь такие? — удивленно и устало сказал Сеня.— Ты мне дельное говори. Точно мы забираем людей в сады райские! Еще день промедления — и мы лучшую силу нашу истинно загубим, в руки врага безоружную предадим ее.

Городовиков замолчал, раздираемый на части противоположными доводами и чувствами, бушевавшими в его душе. И Сене было тоже так тяжело — лучше в гроб лечь.

— А как с теми, что под землей сидят? — угрюмо спросил Яков Бутов, покосившись на отца и сына Городовиковых. Все знали, что в шахте № 1 остался под землей с дядей забойщиком самый маленький Городовиков, но ни отец, ни брат сейчас не говорили об этом.

— И с семьями как? — сочувственно и робко спросил Филя.

— Как с теми, что под землей сидят? — переспросил Сеня.— Когда выпустят их из-под земли,— а не смогут не выпустить их,— это уж будут люди невиданной закалки: не люди, а кремни. Эти все в сопках будут, поручусь за то. А семьи — это дело тяжелое очень...— Сеня остановился и некоторое время молча и грустно глядел в стол.— Да разве у всех нас нет семей? Разве семьи партизан-мужиков не так же маются?

— А чем вы людей оружите? Тех, что в сопки пойдут? Оружия в сопках у вас нет,— вынув изо рта трубку, вмешался старый Городовиков.

Возникали все новые доводы против Сени. Доводы были так убедительны, что, когда говорил кто-нибудь против Сени, Сереже казалось, что уж во всяком случае

правильно, а когда говорил Сеня, казалось, что все-таки прав Сеня.

Филя, Яков Бутов и старший Городовиков постепенно вышли из спора; не мог выйти только Семен Городовиков.

— Вот, доколе ты про эсеров и анархистов молчал, я еще думал, просто жалость да гордость говорят в тебе,— жестковато выговаривал Сеня,— а теперь я вижу, сколь у тебя в голове самой вредной дурости и от кого она в тебе. Ты сам себя раскрыл, кого ты боишься!

— Не в том дело, что я их боюсь,— с обидой в голосе говорил Городовиков,— а в том, что они на рабочем горе капитал себе наживают, а мы вроде трусов выйдем перед ними...

— А ты сумей все разъяснить рабочему человеку! Да и не поверю я, чтобы рабочий человек обвинил в трусости более смелого товарища своего, коли он в сопки пойдет, биться насмерть! Рабочие последнее отдадут нам, вот это вернее!

— Правильно! — воскликнул Филя.— Ты пойми: *надо*,— обратился он к Городовикову, приложив руку к слабой своей груди.— Тебе понятно это? *Надо*. Об чем нам спорить теперь?

— Я знаю, что надо, и разве я не сделаю так, как надо? Душа болит! — вдруг сказал Городовиков.

— Душа у всех болит, да мы не душу свою ублагоустраиваем, а думаем о пользе дела,— сердито сказал Яков Бутов своим простуженным голосом.

— Уж ты сейчас не нападай на него, уж раз пришли к одному, что уж тут! — облегченно сказал Сеня.— Дело-то ведь и впрямь трудное; дело, можно сказать, совестливое,— говорил он, радостно поблескивая глазами на младшего Городовикова.

«Какие люди! — думал Сережа, сидя в полутемном углу, забытый всеми.— И как я рад, что они пришли к общему мнению! Да, уметь забыть все личное, отдать всего себя, всю душу...»

Он не успел назвать словом, чему он хотел отдать всю душу, как кто-то осторожно постучал в окно. Все смолкли, и слышно стало, как застонала девочка в соседней комнате. Филя выскочил в сенцы и вернулся в сопровождении Андрея Бутова.

Сеня, взволнованный, поднялся из-за стола и протянул руку за письмом. Пальцы у него дрожали. Андрей Бутов полез рукой в карман пиджака. Вдруг лицо Сени покрылось бледностью, глаза закатились, и он, как мешок, осел на стол и табуретку и пополз на пол.

— А-а! — в ужасе закричал Сережа, бросаясь к Сене.

Младший Городовиков подхватил Сеню под руки.

— Ты что ж кричишь? А еще старый подпольщик,— сквозь сивые свои усы спокойно говорил старик Городовиков Сереже, опрыскивая лицо Сени водой из кувшина.— Устал человек. Легко ли за всех болеть, думать? Возьми-ка его с Семой под спинку, а ты, Яша, за ноги. Вот так, вот так... на коечку его...

Яков Бутов распечатал письмо и молча проглядел. Суровое лицо его посветлело.

— Что? Что? — спрашивали вокруг.

— Сурков и Чуркин пишут: «Выбросьте лозунг... перехода... рабочих... на сторону партизан,— читал Бутов почти по складам.— Организуйте переброску людей, динамита, оружия, какое есть. Бросайте лучшие силы. На руднике оставьте только самое необходимое для руководства. Братский привет героическим рабочим Сучана от...»

XVI

Красноармейцы, бежавшие из плена, принесли в Скобеевку письмо областного комитета и какой-то небольшой мягкий сверток, перевязанный синенькой, загрязнившейся в дороге тесемкой.

— Кто вам это передал? — расспрашивал Алеша, пока старший красноармеец выпарывал из ватника письмо, а Филипп Андреевич негнущимися шахтерскими пальцами развязывал сверток.

— Женщина передала, светленькая такая,— отвечал красноармеец, словно угадав тайный смысл вопросов Алеши.— И умненькая такая! «Письмо, говорит, и сверток дала вам одна барышня незнакомая, передать при случае в село отцу, священнику. Попомните это, говорит, ежели влопаетесь...»

— Ай-я-яй, это ж чулки, да теплые какие! — воскликнул Мартемьянов, в обеих руках протягивая Петру и Алеше пару толстых шерстяных носков.

Петр молча распечатал поданный ему красноармейцем желтый конвертик. В конверте было два небольших письма — одно обыкновенное, от Сони, другое — из одних цифр, выписанных столбиками.

Петр, пробежав глазами письмо от Сони, прочел его вслух:

Милый папа!

Не могу сказать Вам, как бесконечно волнуемся мы о Вас всех, волею Божьей осужденных жить среди этих людей, потерявших Бога и не имеющих сердца. В гимназии у нас все благополучно, я учусь хорошо, но ах, зачем это ученье, когда я разлучена со всеми Вами и с милым Алешенькой, коему я буду верной по гроб жизни моей!

Папа! Дядя Володя велел написать Вам, чтобы Вы не рвали бумаги военных займов, потому что, он говорит, скоро-скоро все повернется на старое и будут платить по всем бумагам, и велел мне списать все номера, какие еще в силе, и я Вам их все посылаю.

А еще целую я маму, дядю Андреича, брата Петеньку, а у Вас целую руку и прошу благословения. И еще прошу передать Алешеньке с его ревматизмом носки, носки американские. Американцы очень ухаживают за нами, но все подружки говорят, что они люди неверные, а больше можно верить японцам, коих, говорят, скоро прибудет очень много.

Бросаю писать, потому что большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут.

Остаюсь любящая и безутешная, но не хочу роптать, ибо Христос после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас грешных. Аминь.

Ваша Соня.

Все время, пока Петр с серьезным выражением лица читал это письмо, в комнате хохот стоял: смеялся Алеша, тронутый заботами Сони, смеялся и кашлял Мартемьянов, понявший, что дядя Андреич, которому Соня слала поцелуй, это есть он — Филипп Андреевич, смея-

лись все красноармейцы. Но только Петр и Алеша понимали неуловимый юмор и всю серьезность этого письма, в котором ни одно слово не было написано зря и которое вмещало кучу самых важных политических и личных новостей.

По письму ясно было, что всех их помнят, волнуются о них, и что все, а особенно Соня, хотят попасть сюда. В «гимназии» было все благополучно, то есть новых провалов в комитете не было, и Соня «училась хорошо», то есть не была открыта, и можно было придерживаться старого пути связи с комитетом.

Но главных новостей было три: «американцы люди неверные» и «больше можно верить японцам», которых «скоро прибудет очень много», означало, что надо ожидать — и ожидать в ближайшем времени — большого количества японских войск, переброске которых не будут препятствовать американцы. «Большая гроза идет с запада, вон даже солдатики бегут», означало, что наступление советских войск развивается успешно, и Колчак отступает. А упоминание о «дяде Володе»— наиболее крупном работнике из сидящих в тюрьме, который «велел списать все номера бумаг, какие еще в силе», то есть которому принадлежало второе зашифрованное письмо,— и последнее утешительное замечание письма, что «Христос (кличка другого крупного работника) после всех его мучений пребывает среди нас и утешает нас грешных», то есть бежал из тюрьмы и руководит работой,— эти места письма говорили о том, что комитет восстановил связи с тюрьмой.

В письме Сони была еще такая странная приписка:

«Папа! Если будет оказия, пришли мне свою «Ж.ж.» Бр. Здесь нигде нет, а мне надо к экзаменам».

Эту приписку Петр не огласил. Эта приписка была ответом на письмо Петра, сообщавшего Соне список книг, которыми он может располагать (он пользовался библиотекой Владимира Григорьевича). Приписка означала, что из книг, которыми он мог располагать, ключом к новому шифру взята «Жизнь животных» Брэма.

Петр и Алеша, нещадно куря, расшифровывали письмо до глубокой ночи, а Мартемьянов, в одежде и сапогах, то засыпал на своей койке, то просыпался и спрашивал — «скоро ли», а ему все говорили — «да разденься ты, ради бога»,— и он опять засыпал в одежде и

сапогах. Часа в три он заснул крепким детским сном, но скоро его разбудили.

Окно было распахнуто, сырой ночной воздух вползал в наполненную дымом комнату. Алеша и Петр с воспаленными, отсутствующими глазами стояли над Мартемьяновым, торжественно и благоговейно держа в руках листки.

— Готово? — испуганно вытаращив со сна синеватые простодушные глаза, вскрикнул Филипп Андреевич и снял с койки кривые, в грязных сапогах, ноги.

— Да, брат, есть над чем подумать! — то ли смущенно, то ли с некоторым удивлением и даже восхищением говорил Алеша.

Они сели на койку, против Мартемьянова, и, заглядывая в листки друг другу, по очереди, как они записывали, прочли вслух письмо работников областного комитета, сидящих в тюрьме.

Вот что было в этом письме:

Дорогие товарищи!

Трудно по неполным данным ответить на ваши вопросы. Но нам кажется, что товарищи, работающие среди восставших крестьян, с некоторыми существенными поправками, делают то, что надо.

Три наиболее серьезных обстоятельства могут определить судьбу восстания.

Первое. Японцы будут наступать, и все без изъятия державы не будут им мешать. Они уже наступают.

Второе. После годичной поддержки самых мощных стран мира и напряжения всех сил и средств наступление белой армии Сибири провалилось. Белая армия отступает за Урал, а Красная наступает.

Третье. Сибирский мужик возненавидел белых, боится двойного ярма под японским игом и дерется отчаянно.

Какое или какие из этих трех обстоятельств окажутся в конце концов решающими? Гадать не стоит. Но мы были бы последними дураками (больше — преступниками), если бы, боясь первого, не сделали все возможное для развития и победы второго и третьего.

А это значит:

всеми силами подымать вооруженную борьбу мужиков под руководством рабочих, давать ей жизненные лозунги, организовать ее — с тем, чтобы довести ее до

всеобщего вооруженного восстания трудящихся Сибири, когда Красная Армия войдет в Сибирь,

всеми силами разрушать транспорт и весь аппарат белого господства, аппарат военный, промышленный и пр.

Это — главное.

Правильно поэтому поступают товарищи, работающие среди восставших крестьян, когда тут же решают вопрос о земле. Пусть-ка господа японские генералы поворачивают всё на старый лад!

Правильно поступают эти товарищи, работая среди восточных народов, провозглашая их равенство с русскими. Мужики, конечно, будут ворчать, но пойдут на соглашения, понимая, какая это для них поддержка в драке с японцами.

Тысячу раз правильно, что создали центр не только военный, а по всем мужицким делам,— это в объяснении не нуждается. И тысячу раз правильно, что созывают повстанческий съезд всех народов, с которым даже опоздали. Его надо успеть провести до того, как японцы нажмут.

Съезд должен сказать всем, всем, всем: вот за что и вот против кого мы стоим, вот что мы уже сделали и что еще сделаем, если победим. Пусть-ка господа японские генералы поворачивают потом всё назад!

Неправильно поступают товарищи, в течение нескольких месяцев топчась вокруг рудника, пытаясь захватить его. Разве вы удержите рудник? Проще и быстрее взорвать подъемники на перевалах и до конца войны прекратить доступ угля в город: эти подъемники американские, восстанавливать их придется уже нам самим.

А рабочим рудника предложите бросить работу и примкнуть к восставшим. Это будет надежная опора движения, особенно тогда, когда японцы сильно нажмут.

Крупные или мелкие отряды? Вопрос праздный. Там, где нужны и возможны крупные, там предпочтительнее крупные, а там, где нужнее мелкие, там нужны мелкие. Кажется, это и называется партизанскими действиями?

Но учтите: если японцы начнут занимать села, крупные отряды себя изживут: их трудно спрятать и про-

кормить. Очень советуем вам сейчас же сделать запасы продовольствия в глубокой тайге.

И еще: когда японцы нажмут, а они обязательно нажмут, мужики начнут прятаться. Это не должно вас разочаровать: мужики вернутся снова. Японские политики всегда были несколько глуповаты. По глупости их, правда, превосходил русский царь. Но теперь, когда русского царя мы с божьей помощью похоронили, глупее японских политиков уже нет. Они наверняка просчитаются. Вы это объясните мужикам. Они люди с головой, они поймут, и это придаст им бодрости.

Это письмо выражает наше общее мнение. Других мнений у нас нет. И мы думаем, что вам тоже не о чем спорить. Работаете вы, все, в общем, хорошо. Мы здесь на отдыхе завидуем вам и гордимся вами.

Братский привет всем!

Некоторое время Петр, Алеша и Филипп Андреевич сидели молча, не глядя друг на друга.

Ни один король, царь, президент или какой-либо другой руководитель современного буржуазного государства и никакой папа, банкир или закон никогда не имели и не могли иметь такой власти над своими подчиненными, какую небольшая группа людей, сидящих за толстыми каменными стенами, за семью замками, за сонмом часовых и надзирателей,— имела на Петра, Алешу и Мартемьянова, а через них на десятки и сотни, а через этих на десятки и сотни тысяч восставших людей.

Власть эта была признана Петром, Алешей и теми, кто шел за ними, добровольно и была основана на силе простой разумной мысли, очищенной от всяких побочных соображений и потому совершенно бесстрашной, мысли настолько жизненно правдивой, то есть настолько соответствующей ходу самой жизни и стремлениям людей, что она приобретала характер материальной силы.

После всех жертв, трудностей, напряжения сил, сомнений, разногласий Петр, Алеша, Мартемьянов видели, благодаря этому письму, что они жили и работали не зря, и видели перед собой ясную цель и путь к ней.

Простота и ясность письма были таковы, что всем троим казалось, что каждый из них, в сущности, думал именно это. Им не хватало какого-то «чуть-чуть», чтобы это же самое выразить. И вот когда появилось это «чуть-чуть», оказалось, что все они думают одно и то же и спорить им, действительно, не о чем.

Несмотря на то, что письмо, несомненно, поправляло их всех (больше всего Алешу, но и Петра и тех, кто стоял за ним), несмотря на это, каждый находил в письме и то, что *он* предлагал. Не говоря уже о Петре, работа которого была одобрена в самом главном (и который был счастлив, но стеснялся это показать), и Алеша мог бы сказать, что он предвидел японское наступление и выдвинул мысль о создании продовольственных баз в тайге, а Мартемьянов — что он как раз ведал в ревкоме мужицкими делами и был главным организатором съезда, о важности которого говорилось в письме. А Сеня Кудрявый, мучившийся в это время вопросом о том, как быть со стачкой, не думал, что решит этот вопрос именно так, как советовало письмо.

То, что люди, сидящие в тюрьме, исходили из их общего жизненного опыта и в то же время владели этим магическим «чуть-чуть», то, что эти люди, живя сами в нечеловеческих условиях, не сердились на глупости и ошибки, а учили и ободряли и даже гордились теми, кто работает на воле,— все это вызвало в душе Петра, Алеши и Филиппа Андреевича глубокое и чистое волнение, которое они стеснялись показать друг другу.

— Н-да, ничего не возразишь,— первый прервал молчание Алеша.— И, знаешь, тут есть та-кие штуки!..— Он смущенно и растроганно покрутил ежовой своей головой и сказал: — А ну-ка, еще раз прочтем...

И они прочли письмо еще раз, а потом еще раз. И всякий раз оно открывалось им все новыми сторонами. Даже когда они решили «соснуть часок» и легли в постель, они долго еще с необычайной откровенностью говорили и о письме и о работе. А потом каждый еще долго не спал и думал о своем, личном, которое вдруг тоже стало таким ясным и чистым перед их моральным взором.

Уснули они, когда было уже совсем светло.

XVII

Кто-то толкал Сережу в плечо, он сел на койке. Сеня стоял над ним:

— Одевайся, орлик мой, живенько...

Изба полна была горняцкого народа, окружившего Якова Бутова.

— Что хотите устройте — суньтесь к начальству с разговором, драку заведите промеж себя, бомбу бросьте, а Прова надо спасти,— говорил Бутов.

В несколько секунд Сережа был на ногах, готовый на все.

— А его куда? — спросил Бутов Сеню.

— К шахте номер один,— поспешно подсказал Сережа: он знал, кто такой Пров.— Сеня, пожалуйста!..— И он умоляюще посмотрел на Сеню.

Стояла та пасмурная, туманная погода, которая в этой части страны всегда приходит в конце весны и в начале лета.

Едва они достигли поселка, как попали в беспорядочный поток народа — больше подростков и женщин,— шумным говором катившийся в тумане куда-то в глубину поселка.

— Говорят, уже выпускают...

— Да то брехня!

— Приказ японского начальника — всех выпустить...

— Та еще, мабуть, не начали...— говорили в бегущей толпе.

Как ни взволнован был Сережа, но, пробегая мимо лавки, он вспомнил, что купил вчера заплесневшую, пережившую все войны и революции плитку шоколада «Жорж Борман» и забыл сегодня передать больной Наташке. «Ну, после, после»,— подумал он, нащупав плитку в кармане штанов.

На стыке Екатерининской и Перятинской дорог поток раздвоился. Группа шахтеров, с которой бежал Сережа, устремилась в тот рукав потока, который катился прямо к центру поселка.

Здесь, в узкой улочке, движение стало затрудненней, образовался встречный поток, началась толчея.

— Оцепление... Японское оцепление... Нету прохода, говорят вам! — шумели в толпе.

— А ну, нажми, ребята! — сказал старший, ринувшись плечом вперед.

Работая плечами и локтями, не обращая внимания на возмущенные возгласы женщин, они немного продвинулись вперед, но попали в такое коловращение накатывавшихся и откатывавшихся людей, что мгновенно растеряли друг друга. Более юркий Сережа, однако, не отставал от старшего.

— Эй, Федя! — закричал тот, завидев сбоку затиснутого женщинами горняка из своей группы.— Зови всех обратно... Скрозь Чувилихин огород!..

— Скрозь Чувилихин огород! Чувилихин огород! — пронзительно завизжали женщины, и вся толпа ринулась назад по улице, валя встречных.

Сережа, весь потный, упал, и кто-то приятно наступил на него холодной босой ногой. Сережа выругался и, в отчаянии, что всех потерял и все будет без него, побежал в сплошном потоке женщин и ребятишек.

Двое подростков лет по тринадцати — один белесый, вертлявый, другой русый, с крупными карими глазами — оба без шапок, босые, держась за руки, ловко прошныривали меж бегущих. Сережа все время норовил не отстать от них.

Перекликаясь с другими ребятами, и то как комом обрастая ими, то снова теряя их, подростки ныряли из улицы в улицу, пока не вырвались из толпы. И вдруг, оглянувшись по сторонам, шмыгнули во двор каменного больничного здания,— группа ребят все-таки увязалась за ними.

Пробежав двором, откуда совсем близко видна была торчащая в тумане над крышами шахтная вышка, они взлезли на дощатый забор. К забору, во всю длину его, примыкал с соседнего двора громадный сарай с пологой односкатной крышей. Сережа, немного отставший от ребят, взобрался вслед за ними на забор, на крышу и, стуча сапогами, побежал по крыше прямо на вышку шахты, выросшую перед самым носом. Но белесый парнишка, верткий, как обезьяна, обернул к нему сердитое лицо и зашипел:

— Ложись!..— и очень умело выругался матерно.

Сережа покорно опустился в мокрую угольную пыль, покрывавшую крышу, но успел оглядеться по сторонам и слева от себя увидел улицу, в дальней части которой шумела взвихренная толпа женщин, задерживаемая ли-

нейкой японских солдат; ближняя часть улицы была пуста.

Ребята — их было шестеро — расположились на животах на краю крыши, то выглядывая из-за нее, то пряча головы. Сережа вполз в ряд с ними и тоже выглянул из-за края крыши.

Шагах в пятнадцати от них, посреди большого рудничного двора, заваленного угольными отходами, ржавыми рельсами, поломанными вагонетками, возвышалось черное надшахтное здание с примыкающими к нему двумя высокими, на черных столбах, эстакадами. В продолговатой пристройке к зданию работал локомотив, громко пыхая белым паром, сразу превращавшимся в туман; видно было, как в вершине здания крутится большое металлическое колесо.

Во дворе было много японских солдат и казаков — верховых и державших коней в поводу. Но Сережа смотрел на то, что творилось у выхода из шахты. Там гуще стояли японские солдаты. Впереди них выделялось несколько японских и русских офицеров,— Лангового среди них не было. Среди офицеров виднелись два человека в грязных горняцких комбинезонах с откинутыми капюшонами, в форменных штейгерских фуражках. Сережа удивился тому, что эти люди жадно что-то жевали.

Японские солдаты и офицеры и эти люди смотрели на выход из шахты, но выход был обращен не на Сережу, а в сторону распахнутых ворот, где тоже стояли японские солдаты, и Сережа не видел, на что они все смотрят.

Вдруг где-то внутри надшахтного здания щелкнула остановившаяся клеть, и одновременно остановилось колесо в вершине здания. Из здания вывалила большая партия мокрых и грязных женщин и подростков с бледными лицами. Колесо в вершине снова завертелось. Японские солдаты спешно разрознивали женщин и подростков, и они поодиночке, жадно заглатывая воздух, проходили мимо японских и русских офицеров и дальше, в ворота.

Две женщины, ведшие третью, начали препираться с солдатом, пытавшимся их разнять. Японский офицер сделал знак рукой, и женщины потащили свою подругу. Она не могла уже передвигать ногами, и ее облепленные грязью башмаки волочились по земле.

Щелкнула вторая клеть, и опять остановилось колесо, и опять хлынула партия подростков и женщин. Старик рабочий и женщина пронесли на руках мальчика.

— Глянь, глянь! Мишка Городовиков... Ай-я-яй!..— волновались ребята на крыше.

Мальчик был без чувств, и его курчавая головка болталась на тонкой шее, пока его несли через двор.

Потом пошли партии взрослых шахтеров,— их еще более строго разбивали поодиночке и пускали с большими интервалами. Шахтеры шли медленно, как каторжники, с угрюмо потупленными взорами, с изнуренными, ничего не выражающими лицами.

Вдруг один из жующих людей в штейгерской фуражке быстро указал рукой на проходившего мимо сутулого шахтера, едва передвигавшего ноги.

— Б...! Шкура! — выругался белесый парнишка и плюнул между зубами.— Ну, выпустим с тебя кишки!..

Японский офицер сделал знак пальцем, двое солдат схватили шахтера под руки и поволокли в сторону.

«Может быть, это они Прова?» — испуганно подумал Сережа, глядя вслед арестованному и начиная понимать, что он, Сережа, здесь один и что из плана освобождения Прова ничего не вышло.

Чем больше проходило их, подземных людей, с измученными однообразными лицами, тем чаще один или другой штейгер или оба вместе подымали руку, и солдаты волокли кого-нибудь в сторону.

Снова щелкнула клеть, и замолчало колесо, и хлынула партия китайцев. Их так же разбили поодиночке, и один из японских офицеров со шпорами хлестал проходящих мимо китайцев плетью по лицам, головам, спинам, куда попадала плеть. Они даже не пытались увернуться от ударов, шли грузным приседающим шагом, волоча ноги.

Вот выкатилась большая, тесно сгрудившаяся партия шахтеров с накинутыми на головы мокрыми башлыками из мешков. Ее тоже стали было разрознивать, но она не далась и, вся вместе, бегом бросилась к воротам.

Штейгер успел ткнуть пальцем в какого-то рослого парня, и солдаты накинулись на него, но он, тряхнув плечами, свалил их и побежал за товарищами. Раздал-

ся резкий свисток, и еще несколько солдат и все офицеры, русские и японские, бросились на яростно отбивавшегося парня; кто-то сорвал с него башлык, открыв его крупную кудрявую голову.

— Смотри, Петь, Пров!..— воскликнул кто-то из ребят.

— Брательник твой, ай-я-яй!..— сказал белесый парнишка своему русоголовому приятелю, который с бледным лицом смотрел на то, что происходило во дворе.

«Вот он Пров... Бедный Пров»,— с отчаянием подумал Сережа.

Человек этот, более четырех суток проведший под землей, бился так умело и бешено, что низкорослые японские солдаты никак не могли его скрутить и стали бить его прикладами. С лицом, залитым кровью, он, как волк, отгрызающийся от собак, проволочил на себе солдат и офицеров до самых ворот. Но тут на него набросилось еще несколько японских солдат, он сразу осел, а солдаты, слепившиеся над ним в какую-то страшную зеленую кучу, еще продолжали бить его прикладами.

Сережа, вздрагивая всем телом, беззвучно плакал скупыми, злыми слезами. То, что Сережа испытывал, было уже нечеловеческое желание — сорваться с крыши и рвать, грызть, терзать эту зеленую страшную кучу. Но кто-то тихо говорил ему: «Нельзя, терпи, смотри». Сердце его безумно колотилось, и он крепко держался вымазанными углем руками за край крыши, вздрагивая всем телом.

И вдруг со двора взревело:

— Вам здесь чего!..— и громадный казак со шрамом через обе губы кинулся к сараю, потрясая плетью.

Русоголовый парнишка, плакавший навзрыд, поднялся на коленках и, размахнувшись, пустил в казака свинчаткой. Казак не успел увернуться, свинчатка звучно шлепнулась во что-то, но все ребята и Сережа вместе с ними уже катились с крыши.

Через некоторое время они очутились среди толпы, встречавшей выпущенных из-под земли шахтеров, черные, мокрые, медленно волочащиеся фигуры которых со всех сторон облеплены были плачущими и радующимися детьми и женщинами.

Кто-то сзади схватил Сережу за руку, он чуть не вскрикнул. Но это был Филя,— он был бледен, одни глаза горели на его лице.

— Серега? Милый! — он втащил его во дворик и повел за собой куда-то на зады.— Полный провал получился, квартирку-то нашу раскрыли, но, слава богу, посты успели упредить, все успели уйти... Сегодня туман, слава богу, народ валит с рудника тыщами на все четыре стороны,— рассказывал Филя тихим, отдаленным голосом.

— Ты знаешь, а Прова-то...— Сережа задохнулся.

— И Сене надо бы уж давно идти,— отдаленным голосом говорил Филя,— да он уперся; не уйду без Сереги,— у нас вся душа по тебе изболелась...

— Прова-то японцы убили,— докончил Сережа кривящимися от горя и злобы губами.

Сквозь густые кусты они пробрались в глубокий овраг, на дне которого туман лежал пластами, и долго молча шли вверх по дну оврага, пока в самой уже вершине его, в кустах, не наткнулись на большую группу шахтеров; среди них был и Сеня.

— Ах, братец ты мой!..— только и мог сказать Сеня.

— Ну, прощайте, други...— сказал Филя, вдруг заторопившись.

— Как? Ты остаешься? — Сережа с жалостью взглянул на него.

— Остаюсь здесь за главного подпольщика,— ответил Филя с смущенной улыбкой.

Сережа, сунув руку в карман, вытащил расплывшуюся в бумажке липкую шоколадку и подал ее Филе в черной ладони.

— Передай вот это...— начал было он.

— Нет Наташки-то, умерла Наташка,— торопливо сказал Филя.— Спасибо тебе, Серега... Спасибо за все,— он не мог говорить и обнял Сережу.

Сеня отвернулся.

Так начался великий исход рабочих с Сучанского рудника в партизаны.

С одной из партий ушел и Яков Бутов, оставив на руднике жену, шестерых детей и так и не повидав девочки, родившейся в первый день стачки.

XVIII

В течение нескольких дней и особенно ночей шахтеры выходили в села, окружающие рудники. Часть оседала в Сучанском отряде в Перятине, часть тянулась в отряды уссурийского побережья, часть — к Бредюку, который был выбит из Шкотова совместными действиями японских и американских частей и снова сидел в Майхе.

Но большинство шахтеров толпами валило в Скобеевку, и в течение нескольких суток весь ревком не спал, наспех сколачивая прибывающие группы в отряды, рассылая их в разные концы области: Скобеевка не в силах была прокормить такую массу людей.

Сеня Кудрявый и Сережа, душевно сблизившиеся во время стачки, тоже не спали в эти страдные дни.

Держалась все та же пасмурная погода, подмарашивал дождик, и только иногда перед сумерками чуть сквозил прощальный нежный свет.

Со слезами и обетами проводив на север последнюю крупную партию шахтеров, среди которых у них немало завелось друзей, Сеня и Сережа, осунувшиеся, мокрые, вошли в ревком к Суркову. У него сидел сумрачный Яков Бутов.

— С поклоном к тебе,— сказал Сеня, смущенно улыбнувшись Суркову,— отпусти парня в отряд к нам: просится, а мы рады б были...

— Петр Андреевич, пожалуйста!..

Сурков вскинул на Сережу усталые и злые глаза и, махнув рукой, согласился.

В больнице у отца Сережа застал Филиппа Андреевича.

Еще со времени их работы в сучанском совете Мартемьянов и Владимир Григорьевич дружили между собой. Дружба их основывалась на том, что Мартемьянов считал Владимира Григорьевича честным человеком и очень ученым человеком, но *интеллигентом*, которого надо воспитывать, а Владимир Григорьевич считал Мартемьянова самородком из народных глубин, человеком незаурядного природного ума и признавал за ним как бы *моральное право* воспитывать его, Владимира Григорьевича.

В тот момент, когда вошел Сережа, Мартемьянов как раз воспитывал Владимира Григорьевича, а Владимир Григорьевич с унылым и сердитым лицом слушал его.

— Это вашему брату, интеллигенту, все неясно да неизвестно, а нашему брату, рабочему, все ясно, все известно,— надувшись, говорил Мартемьянов.— Ежели бы мы эдак о каждом деле раздумывали, ни одного б не успели сделать!..

Сережа, которому вид отца показался противно-унизительным, сухо сказал о перемене в своей судьбе.

— Ну что ж, ну что ж!..— заторопился Владимир Григорьевич.

Сережа обнял его и поцеловал в небритую табачную щеку. Все-таки они очень любили друг друга.

Лена была где-то в палате. «И к лучшему»,— подумал Сережа, не велев отцу звать ее.

Все уже было уложено в походную сумку, а Сережа все искал что-то, лазил под кровать, в сундук, выдвигал и задвигал ящики стола, гардероба. Потный, в свалявшемся под кроватью пуху, мрачный Сережа остановился посреди комнаты.

Здесь была спальня отца и матери. Они спали всегда на разных кроватях. Теперь на материнской, с большими проржавевшими шишками по углам, спал Сережа. Старая жестяная коробка из-под монпансье, украшенная облупленным изображением малины, стояла на тумбочке у изголовья отца.

Сережа понял, что тот шаг, который он собирается сделать сейчас, это не просто поступление в отряд Гладких, а это огромная перемена во всей его жизни, а все, что было до этого,— это была игра.

С растроганным недетским чувством он обошел весь дом. На всем лежала печать войны, заброшенности. А Сережа? Лучше ли он стал, хуже?

Он не зашел проститься с Аксиньей Наумовной, боясь, что разревется.

У избы Нестера Борисова, где стоял штаб Гладких, сидел, пыхая цигаркой, зарубщик Никон Кирпичев в брезентовом плаще...

— А, Сергей... Здравствуй, Сергей! — сказал он, твердо шепелявя, так что получалось Шергей.— Ну-к что ж, очень, как говорится, приятно, зайди, зайди! — сказал он, выслушав Сережу, и кивнул головой в сторо-

ну сеней, откуда доносились женские смешки и поплевывание шелухи от семечек.

В горнице с большой русской печью было много женщин, девушек, ребятишек, и все они, теснясь и хихикая, старались заглянуть в красную горницу, откуда доносились странные басовитые и теноровые вскрики.

Сережа, протиснувшись между женщин и ребятишек со своим винчестером и сумкой, заглянул в красную горницу.

Она была вся в табачном дыму. У большого стола под образами, беспорядочно заставленного бурыми бутылками, покачиваясь, стоял Гладких вполуоборот к Сереже и ревел что то, раздувая вороные усы. По ту сторону стола, красный, сидел Нестер Васильевич,— он сидел в необыкновенно странной позиции,— охватив край стола губами и страшно вытаращив глаза. А в углу под образами Мартемьянов, с совершенно землистым, мокрым от слез лицом, со сбившимися на лбу потными редкими волосами, стучал кулаком по столу и кричал не слушавшему его Нестеру Васильевичу что-то прямо противоположное тому, что говорил Владимиру Григорьевичу.

— Уж больно ты все знаешь! — кричал Мартемьянов, весь в слезах.— Уж больно все тебе ясно!.. Не-ет, брат, не все так светло да ясно на белом свете!..

XIX

Красноармейцы, бежавшие из плена, все эти дни жили в предоставленных им двух соседних дворах, не получая назначения. Прослышав, что всех шахтеров уже распределили по отрядам, они зашли в ревком и дождались Филиппа Андреевича.

Из чистого тщеславия он стал выспрашивать имена, фамилии, года, кто откуда и заносить на бумажечку.

— А ты, значит, кто будешь? — дошел он до паренька лет двадцати трех.

— Новиков, Алексей.

— Отчество?

— Иванович.

Мартемьянов поднял голову.

— Из каких мест?

Красноармеец назвал то село Самарской губернии, родом из которого был Мартемьянов.

— Батьку твоего не Иваном Осиповичем кликали? — спросил Филипп Андреевич.

— Иваном Осиповичем. Неужто знали? — вяло оживился красноармеец.

Мартемьянов побледнел.

— А он жив еще?

— Жив был. Да уж больно стар. Вы что,— не бывали у нас, случаем?

— Скажи пожалуйста! — Мартемьянов изумленно оглядывал стоящих перед ним красноармейцев.— Ваша изба на речке — туда, за кузню? — взволнованно спросил он.

— Верно... Откуда вы знаете? — начал удивляться и красноармеец.

— И ветла стоит поперед избы, на самом бережку?

— Ветлу лет десять как спилили. Да вы кто будете?

— Я, брат, поскитался по свету,— загадочно сказал Филипп Андреевич,— бывал я в вашем селе. И отца твоего я знал, когда ты, видать, еще ползал. Ну, а Андрей Новиков — не тот, что с краю, а прозвищем Буйный — тот-то еще жив? — спросил Мартемьянов о своем отце.

— Помер, и уже давно помер, и старуха его померла...

— А семья как?

— Семья что ж,— семья живет. Один-то ихний еще в голод ушел в здешни места ходоком, да сгиб. Сказывали, убил кого-то.

— Пристава он убил, ирода,— за то б мы его теперь не судили,— торопливо сказал Филипп Андреевич.— Ну-ну?

— А старший ихний живет в той же избе, а младший выделился.

— А жинка того, что сгиб, она как?

— Она уж давно за другим живет, за Глотовым Евстафием,— может, знали? Он в пятом, не то в шестом овдовел и женился на ней. Ребята у них — всех кровей! Двоих они завели своих, да у него от старой штук четверо, да она своего привела — от того самого. Сказывали, как тот ушел, она в аккурат через девять месяцев и родила,— усмехнулся красноармеец.

— Та-ак...— Мартемьянов хотел свернуть цигарку, но руки его так тряслись, что он снова спрятал кисет в карман пиджака.— Что ж, девочка или сын? От того-то?

— Сын...

Он узнал, что сын его жил в своей семье плохо, а в чужой и того хуже,— все корили его отцом-убивцем. Ходил он сызмала в пастухах, во время войны проворовался, сидел в тюрьме, в Красную Армию его не взяли (молотилкой у него оторвало три пальца на правой руке), а по разговору он вроде — контрик: над Красной Армией смеется и стоит за Антанту, а живет холостым,— никакая девка не идет за него.

И все повалилось у Мартемьянова из рук.

Гладких и Нестер Борисов в первый же день прихода отряда в Скобеевку установили, что они родственники. Мать Гладких, лет пятьдесят с лишним назад выданная отсюда замуж на Вай-Фудин, где в ту пору вовсе не было невест, приходилась троюродной сестрой бабке Марье Фроловне, а стало быть, Гладких был четвероюродным братом покойного Дмитрия Игнатовича, а стало быть, каким ни на есть племянником Нестера Васильевича.

И с того первого радушного разговора, пользуясь отсутствием Сени Кудрявого, они пошли пьянствовать у всех Борисовых поочереди, начав с бабки Марьи Фроловны и уж не пропуская ни одного двора. Этим утром они опять опохмелились у бабки Марьи Фроловны и начали новый круг, но бабка их прогнала, и они утвердились у себя дома. Здесь их и застал Мартемьянов.

Присутствие Нестера, мешавшего развернуть разговор по душам, кинуло Филиппа Андреевича в беспредельную мрачность. Выпив с горя кружечку и охмелев, он все переводил разговор на загадочное и туманное. А Нестер Васильевич, для которого мир только разворачивался своими чудесами, все подливал и подливал ему и кричал:

— Ху-у, не тужи, братец ты мой, соколик!.. Жить можно, еще вот как можно, даже очень хорошо можно, братец ты мой, соколик! А ты хвати-ка вот одну с ерцем-перцем-переверверцем!.. Ага? Понял теперь, какова Маша наша? То-то, братец ты мой, названый ты мой, рассоколик!..

И вогнал Филиппа Андреевича в окончательную тоску и горькое раздражение.

Когда вошел Сережа, Нестер Васильевич, устав от Мартемьянова, показывал Гладких фокус, состоявший в том, что Нестер Васильевич одним дуновением загонял со стола медный старорежимный пятак в крынку с капустой.

А любимый герой Сережиных дум ревел во всю мощь о том, что великий этот фокус есть ничто, а вот ему, Гладких, ничего не стоит расшибить — ну, к примеру, вот эту доску стола. И не успел напруженный вздохом Нестер Васильевич в третий уже раз загнать свой пятак в капусту, как Гладких, к ужасу хозяйки и к изумлению и веселью остальных зрителей, размахнувшись всем корпусом, грохнул лбом в крайнюю доску стола. Полувершковая дубовая доска крахнула, как щепочка,— посуда и снедь с грохотом посыпались на пол.

Хозяйка и еще несколько баб бросились убирать посуду и угомонить разгулявшихся богатырей. А Сережа, потрясенный, вышел из избы.

— Они же там пьянствуют! — сказал он Кирпичеву, держась за свой винчестер.

— Гуляют,— согласился Кирпичев, дрогнув провалленной губой.— Да что ж,— сказал он, окутав себя облаком ядовитой маньчжурки,— пьяница проспится, а дурак никогда. Не пьют только хитрые, за то им и веры нет...

Как ни неожиданны были эти рассуждения для непьющего Сережи, они почему-то успокоили его.

— Куда же мне теперь? — спросил Сережа.

— А давай к нам во взвод,— сказал Кирпичев, тяжело подымаясь со скамейки.

— Сергей Владимирович! Вы что здесь, на нашем краю? — вдруг услышал Сережа знакомый волнующийся голос, и сиделка Фрося, неся в отвисшем узле чугунок с больничным супом, подошла к ним в накинутом на голову, сложенном углом мешке, прикрывавшем ее цветной платочек от дождя.— Вот еще новости взяли! — капризно сказала она, выслушав объяснения Сережи о поступлении в отряд.— Лучше меня проводите,— и она, блестя в сумерках глазами и зубами, подхватила его под руку.

— Верно, в такую погодку самое пройтиться с красавицей,— поддержал Кирпичев.— Давай свои причиндалы. Небось, за мной не пропадет,— добродушно усмехнулся он, заметив, что Сережа заколебался, передавать ли винчестер.

XX

Фрося жила на самом краю села, там, где река разбивалась на множество узких рукавов, промеж которых лежали длинные песчаные островки, густо поросшие лозой. Сережа никогда там не бывал, даже в детстве.

Сережа, смущенный тем, что Фрося держала его под руку и их могли так встретить, молчал или вдруг говорил что-нибудь невпопад. Но Фрося совершенно не слушала того, что́ он говорил, а только смеялась и весело и лукаво поглядывала на него из-под своего мешка.

Когда они узкой дорожкой, по которой давно уже никто не ездил, сквозь таинственно нависший над головой вербняк с осыпающимися с него свежими дождевыми каплями, вышли на один из журчащих во тьме речных рукавов, к прилепившейся к его берегу серой хатке с соломенной крышей, с маленьким огородиком возле хатки и сплетенным из вербы сарайчиком, в котором при их приближении замычал и завозился теленок,— Сережа почувствовал, что и село, и люди пропали, и нет на свете ничего, кроме этого уголка и Фроси.

Подойдя вместе с Сережей к низкой загородке из жердочек, к тому месту, где верхняя жердочка была выпилена, а поверх нижней проложена скамеечка, Фрося вынула свою руку из-под Сережиной и остановилась.

— Ну, что же будем делать теперь? — спросила она. Губы ее все так же лукаво улыбались, но глаза отсутствовали, точно она что-то взвешивала в уме.

Сережа понял, что, если он сейчас же не сделает чего-то, в следующее мгновение придется сказать — «прощайте, Фрося, я пошел»; и он тут же представил себе унылое возвращение по грязи и под дождем в темную неизвестность. Но в то же мгновение, когда он так думал, он сунул голову под накрывавший Фросю мешок и, чувствуя щекой и подбородком ее влажную кофточку, уткнулся губами в какой-то маленький открытый

кусочек чего-то бесконечно теплого и ароматного. Что в это время происходило с его руками и что вообще происходило во всем громадном мире, он уже не сознавал, потому что ничего не существовало для него, кроме этого очень маленького теплого местечка.

— Ой, Сереженька, вы мне суп разольете!.. Зайдемте лучше в хату,— тихо смеялась Фрося.

— А дети? — сказал Сережа, прямо взглянув ей в лицо светящимися глазами.

— Так они уже спят... они ж у меня маленькие,— смутившись, сказала Фрося.

— Но кто-то смотрит за ними? — спрашивал Сережа так, точно ему важно было, чтобы кто-нибудь смотрел за Фросиными детьми, а не то, чтобы его не увидели.

— А бабка одна приблудная. Она, поди, тоже спит, а коли не спит, не насмелится зайти... Пойдемте!

Они вошли в глубокие темные сенцы, разделявшие хату на две половинки, и Фрося ввела Сережу на левую половинку. Его обдало запахом нежилой горенки. Фрося зажгла ночничок, подвешенный жестяной боковинкой на гвоздик между косяками окон. Чтобы достать до ночничка, Фрося стала коленями на лавочку, и пока она разжигала его, Сережа увидел ее сильные мокрые босые ноги с прилипшей к ступням землей. Но ничто уже не могло отвратить его от Фроси, потому что каждое ее движение, и эти мокрые ноги с землей на ступнях, и ночничок с жестяной боковинкой, и вся маленькая-маленькая, давно беленная горенка с глиняным полом, с деревянной кроватью, покрытой суровым рядном, со столиком без скатерти под образом благословляющей девы Марии, с очень стареньким, потертым, с медной затяжкой, сундучком в углу и карточками на стене, где во всех видах была она же, Фрося, то одна, то с подругами, то рядом с каким-то молодцом в черной фуражке с высокой тульей,— все это было освещено тем особенным чистым чувством уюта, любви, свободы, которое владело Сережей, и все было — прекрасно.

Теперь он не только не испытывал смущения, но испытывал необыкновенную душевную раскрытость, и его светящиеся черные глаза, не в силах оторваться от каждого движения Фроси, открыто встречали ее быстрые косые взгляды.

А в лице Фроси уже не быо прежнего веселого, лукавого выражения,— ее порозовевшее лицо было озабочено. Она была теперь озабочена тем, чтобы все, что их окружало, и каждое ее движение и слово, нравилось Сереже и шло навстречу его желаниям. Но именно поэтому каждое движение Фроси — как она зажгла лампу, достала из сундучка скатертку и накинула на стол, а потом подхватила узел с чугунком и, сказав с смущенной улыбкой «обождите чуточку», выскочила из горенки,— каждое ее движение было ловким, быстрым и все были — прекрасны.

Она довольно долго не приходила. Сережа слышал, как бесшумно открывались и закрывались двери в соседнюю горенку и на улицу, босые ноги пробежали к речке, обратно, деревянный ковш плескал в ведре, что-то постукивало, потрескивало, шуршало в горенке за сенями. Сережа побаивался, а вдруг войдет эта приблудная бабка, но он безгранично верил тому, что Фрося не допустит ничего такого, от чего бы ему стало неловко.

Фрося вошла, неся в ладонях охваченный суровым полотенцем горячий чугунок, покрытый, одна на другой, больничными эмалированными тарелками с закуской. Фрося была по-прежнему босая, но загорелые ноги ее были чисто вымыты, она была в новых, шумящих юбках, в чистой цветастой кофте, с непокрытыми черными волосами, увешанная монистами.

Пока она расставляла посуду, Сережа, склонившись к Фросе, стал ловить губами ее щеку, шею, обнаженные по локоть руки. А она, не глядя на него и не отстраняясь, расставляла тарелки, разливала суп прямо из чугунка, держа его в суровом полотенце, и все говорила:

— Ой, Сереженька, вы ж мне разольете...

Когда все было готово, она серьезно посмотрела на него и спросила:

— Сереженька! А вы пьете?

Сережа вдруг вспомнил: «Только хитрые не пьют, за то им и веры нет».

— Пью,— сказал он. И менее уверенно добавил: — Конечно...

Но Фрося уже как ветер вынеслась из горницы и вернулась с бутылкой с каким-то зеленым настоем и больничными, уже изрядно оббитыми эмалированными кружками.

— Богато настоялось,— сказала она, взглянув сквозь бутылку на свет.— Я еще самой-самой весной настояла на молоденьком смородиновом листочке. В вашем саду нарвала,— она хитро улыбнулась,— да вот еще ни с кем не привелось выпить...— Она притворно вздохнула и разлила самогон по кружкам.— Ну, выпьем, Сереженька, чтоб были вы счастливые на свете,— сказала она, сев рядом с ним и подняв кружку. И вдруг, охватив его вальяжной рукою за шею, она крепко-крепко поцеловала его в губы.

— Милая ты моя, Фрося...— только и смог сказать Сережа, задохнувшись.

Они выпили.

— Кушайте, Сереженька, кушайте, вот огурчики солененькие, то с прошлого года, а это вот сало зимнее, а больше нет ничего... Я так досмерти есть хочу!

И она с жадностью, весело принялась хлебать больничный суп.

Сережа все лез к ней целоваться, и она со смехом пересела от него напротив.

— А что я вижу, Сереженька, ой, что я вижу! — говорила она, беспрерывно смеясь, вся розовая.

— Что ты видишь?

— Вижу, вы еще в жизни не пили. Вот бы папенька увидели! — и она, прыснув супом, спрятала голову под стол.

— Ох ты, лукавая, Фроська! — сказал Сережа, удивляясь тому, что язык его сам по себе выговорил «вукавая Фоська».

— Какая ж я лукавая? Я несчастная...— Она все смеялась.

— Давай еще выпьем! — сверкая на нее глазами, сказал Сережа.

— Выпьем, все равно уж...

Они опять выпили. Сережа не запомнил, как и когда Фрося очутилась у него на коленях. Он все целовал и целовал ее.

— Ласковенький ты мой...— чуть слышно журчала она ему в ухо.— Я об тебе как мечтала!..

Вдруг в окно раздался тихий стук. Они оба обернулись, и Сережа смутно различил через стекло незнакомое женское лицо.

— Маруська, сейчас! — Фрося беспечно выгнула рукой лебедя в сторону окна и встала с Сережиных колен.— Не бойся, то соседка, подружка моя...— И она выскочила за дверь.

XXI

В горенку впереди Фроси вошла очень худая женщина в подоткнутой грязной юбке и в поношенном мокром платке, который она тут же у порога сняла, обнажив давно не чесанные, редкие, светло-русые волосы, встряхнула и снова повязала на голову.

— Здравствуйте, Сережа,— певуче сказала она, подходя к нему и протянув мокрую, с большими суставами руку.— Вы-то меня не помните,— где уж вам всех упомнить,— а я-то вас еще сыздетства помню, сама девчонкой была...— Она вздохнула.

Ей на самом деле было не более двадцати пяти, но вся она была такая изношенная,— лицо с проступающими под тонкой кожей синими жилками испещрено мелкими морщинками, губы потрескались, на верхней губе болячка, которую в народе зовут лихорадкой, груди под кофтой обвисли, и только ноги были еще красивые, крепкие, да голубые глаза глядели из-под светлых ресниц с молодым, завистливым и добрым выражением.

— Шла мимо, да как увидела вас в окне, как вы милуетесь, такие завидки взяли! — сказала она, с улыбкой взглянув на Фросю.— Помню, ты еще с фершалом гуляла, а я эдак-то тоже глянула — да прямо домой, да всю ночь и проревела на рундуке...

— И когда это было! — беспечно махнув рукой, смутившись, сказала Фрося.— Садись с нами, Маруська...

— И то, сяду... Ну-ка плесни на грусть-печаль! — сказала она, взяв Фросину кружку.— А вы чего ж?

— Да мы уж пили,— смущенно сказал Сережа.

— За вашу долю счастливую! — Маруся по-бабьи, мелкими глотками, выпила до дна, встряхнула кружку и, потупившись, помотала кистью руки. Потом, выбрав глазами, взяла самый маленький кусочек огурца.

— Хороша Фроська-то наша? — спросила она Сережу, когда Фрося вышла из горницы за кружкой.— Что ж, работа у нее чистая, харч хороший! А меня они вот как затаскали, ухваты да чугуны, да мужнины ласки! — и она повертела перед Сережей своими руками с

изуродованными суставами.— Замуж вышла, еще шестнадцати не было, дура была, да и то сказать, не моя была воля. Ребят было пятеро, двое померли, да вот нового понесла... А еще незаметно,— просто сказала она, поймав взгляд Сережи.— Весь дом на мне одной, сам он на руднике, а деньги редко когда пришлет, все пьет да с шахтерками гуляет. И неужто ж они слаще, черные?.. А зайдет на побывку — пьет и бьет... Иной раз только у Фроськи вот и спрячешься,— сказала она, неприязненно взглянув на вошедшую подругу.

— Неужто так и не пришел со всеми? — с притворным изумлением спросила Фрося (она имела в виду выход шахтеров с рудника).

— Придет он, как же! — со злобой сказала Маруся.— Очень ему нужны эти партизаны!

— Дивлюсь я прямо на тебя! — самодовольно улыбаясь, сказала Фрося.— Ну, я б ни за что, ну, ни одной минутки с таким не жила, право слово!

— А куда я денусь с четверыми?

— И у меня трое, слава богу!

— Да еще его старики надо мной права его блюдут. Нету мне выходу!..— Маруся в сердцах взяла кружку и подставила Фросе, чтобы та налила.

Они выпили все трое.

— Коли б дети перемерли, я б еще узнала жизнь,— с затуманенными глазами говорила Маруся.— Я уж сколько просила у бога, да больше не берет.

— Уж что вы? Неужто уж не жалко? — одними жужжащими звуками спросил Сережа, сделав страдальческое, как ему казалось, выражение лица.

— Конечно, жалко. А себя разве не жалко?

— Бо-знать что такое! — отцовскими словами сказал совершенно пьяный Сережа.

— Вы еще, Сереженька черноглазенький, жизни не видали, а я другой раз лежу и все думаю, думаю, как я своего-то убью. И так все думаю, как я его топором зарублю или пьяным спою — да камень на шею, да в Сучан его...

— Ну, как вы можете даже говорить такое,— сказал Сережа.

— Да что ж, Сереженька, каждому человеку хочется хоть маленькой радости в жизни. Иной раз подумаешь: а пропади оно все пропадом! У нас на постое финн

один стоит, с залива, партизан, собою такой видный,— я уж к нему сколько раз подваливалась и так и эдак! Ну, да что с него возьмешь, не русский человек, все только «Йе? Йе?..» — И она, привстав и сделав тупое лицо, изобразила финна и то, как он будто говорил ей.— Ничего человек не понимает,— сказала она и, махнув рукой, засмеялась.— Простите, что помешала... И удачливая ж ты, Фроська, какого молоденького подцепила, да чистенького, да красивенького! Спасибо за угощение. А вам, Сереженька, послаще выспаться, дело молодое...

Фрося проводила ее во двор и что-то в сердцах выговаривала там, а Маруся оправдывалась.

— Перебила она нам с тобой...— сказала Фрося, войдя в горенку.

— Бедная женщина,— сказал Сережа.

— Бедная,— серьезно согласилась Фрося.— И все мы, женщины, бедные. Нас жалеть надо...— Она опустилась к нему на колени своим тяжелым телом и стала быстрыми мелкими поцелуями покрывать все его лицо.— Жалостливый ты мой, ласковенький ты мой, черноглазенький ты мой, такой мой ясный...— бесконечно повторяла она.

— Я люблю тебя,— сказал Сережа с выступившими на глаза слезами.

Она быстро вскочила на лавку и погасила свет.

Сережа проснулся неведомо где, от какого-то глухого рокота — не то грома, не то обвала, гул от которого прошел под землей. Фрося села рядом с Сережей, с голыми, белыми плечами, и испуганно схватилась за его руку, как слабая за сильного. И в это время раздался второй гулкий удар где-то совсем, казалось, близко, хатенка задрожала, и окна отозвались тихим жалобным звенением.

Эти странные, потрясающие гулы, страшная боль в голове и сквозь боль внезапное пронзительное ощущение счастья, голые, белые плечи Фроси и ощущение стыда и чуть брезжущий в окнах рассвет пасмурного утра — все это слилось для Сережи в одно неизгладимое на всю жизнь впечатление.

Но сейчас оно было мгновенно разрушено тем, что кто-то мелкими и твердыми толчками отворил дверь и в горенку, ступая кривыми замурзанными ножонками в

один бок, точно его нес ветер, вошел крепкий, с черными, как сливы, глазами и белыми волосиками годовалый мальчик,— вошел, увидел маму, незнакомого дядю и издал вопросительный звук:

— У... у... у?..

— Куда ты, родимец! — В сенях зашаркали босые ступни, и приблудная бабка все-таки вошла в горенку.

XXII

Петр и Яков Бутов в тот момент, когда Сеня и Сережа зашли к ним, спорили о том, взрывать ли стоившие многие миллионы денег новые американские подъемники.

Их было три, подъемника, по числу перевалов. Те, что были близ рудника и близ Кангауза, взялись взорвать сами рабочие, и там все уже было налажено. А подъемник возле станции Сицы должны были взорвать партизаны, дав этим взрывом, слышным в оба конца, сигнал и руднику и Кангаузу.

Бутову, работавшему на руднике со дня его основания и любившему его больше родной матери, было жаль подъемников. И Петр, чтобы не сорвалось дело, послал вместе с Бутовым вконец измученного Сеню.

С того момента, как Бутов и Сеня уехали с группой подрывников, что́ бы Петр ни делал, мысль его все время возвращалась к одному: «А как там?»

К ночи народ схлынул, а Петр, зная, что не уснет, пока не услышит взрывов, не уходил из ревкома, писал письма во все концы и все не мог заглушить чувства тревоги.

Ночь стояла темная, в распахнутое окно слышен был тихий шелест чуть моросящего дождя, да дневальный ходил то по крыльцу, то возле крыльца, изредка побрякивая ложем бердана.

«Ты мне брось заливать, будто все это нужно тебе на «оруженье горняков!» — писал Петр Бредюку.— Знаю, сколько винтовок ты вывез из Шкотова, знаю, сколько пошло к тебе горняков. Приеду, найду, буду судить страшным судом...» — яростно писал он.

Но вот и письма были написаны, шел уже третий час ночи, а все не слышно было взрывов, и Петр не мог заставить себя уйти из ревкома.

Усталость многих дней разлилась по телу, Петр все сидел и ждал, потом положил голову на руки и задремал.

Что-то забавное представлялось ему... Да, Алеша спал теперь на складных козлах, а из-под подушки выглядывали теплые шерстяные носки, и Алеша спал, положив на них руку... «Вот, черт! Ближе к сердцу! Нет того, чтобы носить!..» И вдруг что-то тихо защемило на сердце у Петра...

«Ах, как нехорошо,— говорила она, склонив голову и глядя на него своим теплым звериным взглядом.— Вы сами знаете, что поступили нехорошо, нечестно, но я люблю вас, и мы могли бы быть так счастливы!..»

Он вздрогнул и открыл глаза: ему показалось, что он услышал звук взрыва, но все было тихо вокруг, дождь тихо шелестел в темном окне, и шагал дневальный, и в душе Петра было все то же щемящее, нежное чувство. «Но разве это уже поздно? — подумал он.— Черт! Как долго нет этого взрыва! Ну, Бутов, спущу я с тебя шкуру! А если они погибли?..»

Он встал и зашагал по комнате.

Чуть посветлело за окном, крыши и деревья едва проступали в волнах чего-то серого, медленно несущегося во тьме, видно стало, как моросит дождь.

Петр запихнул все бумаги в полевую сумку, надел в рукава толстый горняцкий брезентовый плащ, поднял башлык и вышел из ревкома, пожелав дневальному поменять свое дневальство на крынку горячего молока.

Он пошел ближним путем, задами. Скользя в сапогах и держась за разного строения заборы, выходящие к протоке, он добрался до сада Костенецких и пролез в дыру, проделанную Агеичем на подобные надобности. Рассвет только забрезжил, и выступили мокрые купы яблонь с белыми ножками.

Едва Петр свернул в аллейку, ведшую к дому, как сбоку от себя услышал шепот и тихий горловой смех, пробившийся, как родничок из-под снега. Петр узнал этот смех, и в этом состоянии тревоги и душевной размягченности смех этот проник ему в самое сердце. Он повернул голову и увидел на скамье две слившиеся фигуры, накрытые длинной шинелью. Послышался звук поцелуя, женский возглас, смысла которого Петр не разобрал, и из-под шинели выскользнула Лена с непокрытой головой, в белом, накинутом на плечи пуховом платке.

Она узнала Петра, и они встретились глазами. И в то же мгновение раскатистый гул прошел под землей, и звук его отдался от горного отрога и пролетел над садом. В глазах Петра появилось такое выражение, точно он освободился от непосильной тяжести, а в глазах Лены удивленное, прислушивающееся выражение.

XXIII

Пока подводы с подрывниками и фугасами добирались до станции Сицы, Сеня спал, а Бутов, чтобы не расхолаживать подрывников, мрачно молчал и курил.

Связной из поселка, знакомый Бутову столяр, сказал, что все свои люди предупреждены и что часового у здания подъемника убрать легко, но трудно вывести людей, живущих поблизости: во многих квартирах стоят японцы.

Было уже темно. Решили, что Бутов сначала пойдет один посмотреть.

Он отдал винтовку, снял патронташ, вынул из кобуры револьвер и сунул за пояс под пиджак. И вдруг, швырнув наземь фуражку, сел на мокрую опавшую хвою и обхватил руками голову.

— Что ты? — спросил Сеня.

— Не пойду! Никуда я не пойду и слухать ничего не хочу!.. Взрывайте сами, коли хотите...

— Хорошо, сделаем сами,— грустно сказал Сеня и начал разоружаться.

— Пойдем!..— Бутов, не глядя на Сеню, в сердцах нахлобучил фуражку, и они со столяром ушли.

Дождь все моросил и моросил. Партизаны разведывательной роты, сутки лежавшие на сопке под дождем, дрожали от холода. В поселке то и дело подлаивали собаки, подрывники нервничали.

Так прошла бóльшая часть ночи. Бутов не возвращался. У Сени от сырости начался кашель, и он, накрывшись с головой пиджаком, откашливался, уткнувшись лицом в землю.

А в это время Бутов лежал под полом избы, хозяев которой он не знал, а в избе над ним сидели за столом японский офицер, два унтер-офицера и допрашивали арестованных, среди которых был и столяр, сопровождавший Бутова. Допрос переводил русский в потертом

пальто и синей фуражке Восточного института, а выдавал всех пожилой рябой мастеровой с безумными глазами, беспрерывно обтиравший с лица пот концом рукава.

Едва Бутов и столяр вошли в поселок, как их перенял вылезший из канавы паренек. Сообщив им, что по всему поселку расставлены японские посты, ходят патрульные и идет обыск с двух концов, паренек исчез.

— Продал кто-то? — прохрипел Бутов, глядя в глаза столяру злыми глазами, не веря уже и ему.

— Не может того быть! — с отчаянием прошептал столяр.

— А кто мне теперь поверит, что я попросту не сдрейфил?! — приглушенно неистовствовал Бутов.— Нет, брат, погибать так погибать. Идем!

Благополучно обойдя двух постовых задами, они углубились в поселок, но — только пересекли улочку, как из-за угла вышел японский патруль. Они хотели спрятаться во дворе, но на них с лаем набросился громадный волкодав.

Патрульные — то ли заметив их, то ли на лай волкодава — тоже кинулись во двор. Волкодав с визгом покатился, вспоротый штыком. Бутов и столяр, не выбирая направления, бежали какими-то огородами, перемахивая через заборы.

Немного опередив патрульных, они перескочили в махонький дворик и выглянули из калитки. Перед ними была широкая улица, параллельная железной дороге. Справа, обходя лужу, шла группа японских военных чинов с шашками.

Бутов и столяр попятились и взглянули друг другу в глаза, поняв, что пропали. Вдруг столяр схватил Бутова за руку, втащил его на крылечко избы во дворе и, перегнувшись через перильца, постучал в окошко.

Босые ноги прошлепали к двери.

— Я... Пусти на минутку,— прошептал столяр, не дожидаясь вопроса.— Света не вздувай! — отчаянно прошипел он, когда они вместе с Бутовым вскочили в душную, пахнущую человеческими телами избу.— Спрячь вот человека! А?..

В это время патрульные, перебравшись через забор со стороны огорода, тяжело протопали мимо избы на улицу и оттуда послышались акающие звуки страстного разговора.

— Что там, Вась? — спросил с койки сонный женский голос.

— Тихо! — грозно прошипел хозяин, каким-то тяжелым предметом делая что-то на полу.— Полезай! — сказал он Бутову.

— Куда?

Шаги многих людей затопотали по крыльцу, и дверь затряслась от ударов.

Бутов, лежа под половицей, слышал все, что происходило над ним. Столяр, человек бывалый и упорный, все врал, что он шел домой, а на него набросилась собака, а когда он увидел, что гонятся патрульные, он испугался и побежал. Но какой-то мастеровой выдавал столяра, что он-де и есть главный большевик в поселке и что он-то и сказал ему, что сей ночью будут рвать подъемники. Столяр отрицал такую глупость и утверждал, что он не только не мог иметь таких планов, но, ежели бы даже имел, не мог бы делиться с этим подлецом, которого он еще год назад поймал у себя в амбаре за воровским делом и отхлестал вожжами, за что тот и злобится на него.

По ходу допроса было ясно, что патрульные не знали, что они гнались за двумя и что тому, кто выдал все, неизвестно было, что взрыв предполагается с участием партизан.

Пока допрашивали столяра, хозяина, хозяйку, в избу стали приводить других арестованных. У всех спрашивали, где динамит, потом стали бить столяра и других.

Как ни висела над Бутовым угроза вот-вот быть обнаруженным, больше всего он страдал от мысли, что и Сеня там, на сопке, и Сурков, в Скобеевке, могут думать, что все дело провалил он, Бутов. Если бы гибель его могла снять с него это черное пятно, он, не колеблясь, вылез бы из-под пола, но он знал, что этим еще больше провалит дело и погубит других людей, а черное пятно все-таки может остаться на нем.

Страдания его были тем более мучительны, что, лежа здесь под полом, он считал, что уже давным-давно наступил день. И вдруг допрос оборвался на полуслове, постояла тишина, потом раздались револьверные выстрелы, звон стекла, крик японского офицера, топот

ног, и Бутов услышал отдаленную стрельбу в поселке и крики «ура».

Сеня, сидевший на сопке с подрывниками, давно уже понял, что Бутов или подвел их, или погиб.

Близился рассвет. С сопки видны были уже не только строения, но и японские солдаты на станции и постовые по поселку и то, как водят по улицам арестованных, каждый из которых казался Сене Яковом Бутовым.

Положив ждать по часам еще десять минут, Сеня велел оттащить фугасы за сопку и расположить роту в цепь. Когда десять минут прошло, он скомандовал несколько залпов по станции и, покашливая в кулак, повел роту в наступление.

Японцы в станционном помещении отстреливались, пока туда не вбросили гранату. А офицер, допрашивавший столяра, и бóльшая часть японцев, расположенная по поселку, убежали в сторону рудника. Офицер успел убить столяра и дать еще два выстрела наугад, одним из которых было разбито окно, а другим убит на печке четырехлетний мальчик, молча наблюдавший, как допрашивают и бьют людей. Мастерового, выдавшего всю организацию, арестованные убили во дворе поленьями.

Бутов нашел Сеню в кирпичном здании подъемника под перевалом.

— Друг ты мой вечный! — Бутов, обняв Сеню, прижался к его губам своими пышными усами.— Ты понял? Ты все понял?..

Подрывники в полутьме, виновато оглядываясь, торопливо заделывали фугас под гигантской мощи подъемный механизм, пахнущий маслом, мазутом и тускло поблескивающий при пасмурном свете утра своими гигантскими металлическими частями. Другая группа подрывников тянула шнур сюда и в котельную.

Бутов побледнел и, зажав уши, побежал из поселка.

На взрыв первым отозвался Кангауз, но этот взрыв не был слышен в Скобеевке; через мгновение отозвался рудник.

Сеня застал Бутова лежащим на мокрой земле под елкой, уткнувшись лицом в фуражку. Голова Бутова, которого Сеня только что видел, как всегда, русым, вся пошла сединой. В первое мгновение Сеня даже не понял, что это — Бутов.

XXIV

Не прошло и двух месяцев с той поры, как Лена сошла с поезда на станции Сица, направляясь в родной дом, а Лена была еще более одинока, чем прежде.

То, что́ она узнала об отце и Аксинье Наумовне, совсем отдалило ее от отца, и тяжело было видеть ей Аксинью Наумовну, которая в первое время, как человек, вынянчивший Лену, скрашивала ее одиночество. Обидно было и то, что Сережа, которого она так ждала, оказался ей чужим и сторонился ее.

В той же мере, в какой возросло чувство Лены к Петру,— настолько, что она теперь не могла жить без представлений о нем и мучила и терзала себя разрывом с ним,— в такой же мере она не могла снова стать близкой к нему.

Она не только не могла сделать первый шаг примирения, но, если бы Петр захотел восстановить их отношения, он должен был бы проявить столько усилий любви для достижения этого, усилий, сопряженных с такими проявлениями раскаяния, поклонения и унижения, что это вряд ли было возможно для такой натуры, как Петр. И Лена знала это, но поступиться собственной гордостью, то есть унизить себя, ей было еще труднее, чем Петру.

Этой ночью она проснулась оттого, что кто-то тихо постучал в окно. Она была бесстрашна, как все люди, не имеющие реального представления об опасности. Не зажигая света, в одной рубашке, она подбежала к окну, по которому с той стороны ползли дождевые капли, и прильнула к нему. Под окном возле крыльца стоял Казанок в своей американской шапочке пирожком и в накинутой на плечи длинной шинели. Подняв голову, он смотрел на нее. Было что-то смешное и подкупающее в его мокром детском лице и в его дерзости. Лена распахнула окно. Послышалось тихое шуршание моросящего дождя.

— Ты что? — спросила она шепотом.

— Я без тебя пропаль,— печально сказал он, прямо глядя на нее.— Я все хозю, хозю возле твоих окон... Где ты? Где ты?

Лена вдруг смутилась, вспомнив, что у нее голые плечи.

— Обожди, я что-нибудь накину.

Она надела платье, туфли на босу ногу и накинула материнский пуховый платок — тот, в котором мать умерла.

— Ты меня сгубиля, ты знаешь это? — с детским страстным выражением говорил Казанок.— За что ты меня?

— В чем я виновата перед тобой? — удивленно спрашивала она.

— Ты прячешься от меня! Зачем? Зачем?..

— Я не прячусь от тебя, откуда ты это выдумал? Ты все, все выдумал, Казанок!

— Злая, злая...— сказал он, и слезы выступили ему на глаза.

— Что ты? Казанок? — нежно прошептала она, пронзенная жалостью.— Что я должна сделать, чтобы тебе было хорошо?

— Пойдем со мной!

— Куда?

— Куда глаза глядят...

— Но ведь дождь!

— А вот шинель! — сказал он, коснувшись щекой воротника шинели.

Лена, вцепившись в протянутые к ней руки Казанка, спрыгнула к нему. Он быстро накрыл ее полой шинели.

Мелкая морось, как во время сильного тумана, все шуршала и шуршала по невидным во тьме яблоням и по траве и оседала на волосах Лены, и на шинели, и на углах скамейки, как иней.

Обняв Лену за плечико под шинелью, Казанок сидел, притихший, как ребенок, а Лена, ссутулившись, не глядя на него, все спрашивала его шепотом:

— Ты любишь меня?

— А ты не знаесь?

— Чего ж ты хочешь?

Он молчал.

— Ты хочешь на мне жениться?

— Злая ты,— вдруг сказал он.— Я как тебя увидаль, я сразу узналь — ты злая...

— Значит, ты не хочешь на мне жениться?

— А ты б пошла за меня?

— Я бы за тебя не пошла.

— Ну вот и злая! За то и люблю тебя...— Он помолчал.— Женятся те, у кого другой жизни нет...
— Какой другой жизни?
— Вольной...
— Разве есть такая жизнь? — спрашивала она.
— Для таких, как ты, как я,— есть: кто никого не боится...
— Я всех боюсь, Казанок.
— А того, что мы сидим с тобой,— боисся?
— Этого не боюсь,— помолчав, сказала Лена.
— А если кто увидит?
— Мне это все равно...
— Я зналь, что ты такая! — воскликнул он с торжеством.
— А ты никого не боишься? — с любопытством спросила она.
— Никого...
— Ни начальства, ни отца, ни друга, ни недруга? Никого?
— Отца немного боюсь,— подумав, сказал Семка.
— Почему?
— Когда б он мне худо сделаль, не мог бы воздать, пожалел бы. Выходит, мы не ровня. За то и боюсь.
— А меня боишься?
— Тебя боюсь,— серьезно сказал он.
— Оттого, что любишь?
— Когда визю тебя, своей воли нет. Что ни прикажешь, все сделаю, а разгневаесся, хоть каблучками топчи, ножки буду целовать,— сказал он, и через все его худенькое тельце прошла мгновенная дрожь, отозвавшаяся в Лене.

Некоторое время они сидели молча, только дождь шуршал по листьям.
— А ты опасный человек, Казанок! — вдруг сказала Лена.
— Я очень опасный,— сказал он.
— Я думаю, ты еще убьешь меня...
— Тебя? — Он подумал.— Тебя не убью, ты меня не продась.
— Что это значит — не продашь?
— Не обманешь для пользы своей или кого другого.
— Я перед тобой ничем не обязана... Но ты прав,

я тебя не продам,— сказала она через некоторое время и еще ниже ссутулилась.

Дождь все шуршал по листьям. Казанок молчал.

— Я лучше пойду, Казанок,— чуть слышно сказала Лена.

Он не сделал ни одного движения удержать или отпустить ее, будто знал, что она не уйдет, и она не ушла.

— У меня вся голова мокрая,— сказала она.

Семка молча приподнял шинель и накрыл с головой себя и Лену, оставив только отверстие для дыхания. Они сидели, тесно прижавшись, глядя перед собой в одну темную щель, и дыхание их смешивалось,— сидели с ощущением заброшенности и какого-то животного уюта.

— Была б воля моя, увель бы тебя на край света,— тихо прошептал Казанок.— Пошла бы?

— Пошла бы, если бы сейчас вот взять и пойти. А завтра уж не пойду,— сказала она.

— Не любишь меня?

— Не люблю.

Он помолчал, потом чуть коснулся губами ее щеки. Она не отстранилась, только сказала:

— Не надо...

Он затих. Очертания деревьев проступали в серой мгле рассвета.

— Все-таки, правда, стоило б зарезять тебя,— мрачно сказал он.

Лена тихо засмеялась.

— За что же?

— Раз не любись, уйдешь к другому. Тогда зарезю,— убежденно сказал он.

— Режь сейчас, я люблю другого! — тихо засмеялась Лена.

— Ах, злая, злая! — простонал он и, вдруг обвив ее гибкими своими руками, поцеловал ее,— хотел в губы, но она с возгласом «не смей» отпрянула от него, и он попал куда-то в пуховой платок.

Лена вынырнула из-под шинели и среди моросящего дождя увидела тяжелую, в мокром брезентовом плаще фигуру Петра, его серые усталые глаза и сильную складку губ. И в это мгновение послышался этот гул.

Петр медленно, точно ему очень не хотелось этого, перевел взгляд на Казанка, стоявшего перед скамейкой с оставшейся на ней шинелью и дерзко смотревшего на

Петра. Когда Петр снова встретился глазами с Леной, она смотрела на него с каким-то низменным женским выражением.

Послышался второй удар, эхом отдавшийся в горах.

Петр вдруг низко поклонился Лене и пошел к дому, оставляя сапогами темный след по мокрой, в каплях, траве.

XXV

Уже совсем рассвело, дождь перестал, но было пасмурно, когда Сережа возвращался в отряд. Мужики, бабы, дети, выглядывавшие из окон и из-за изгородей, все, казалось, знали, откуда он идет, и все считали его до конца грязным человеком. Лучше было не вспоминать, как его при бабке и детях рвало на глиняный пол и Фрося, с лицом, полным искренней жалости, заставляла пить огуречный рассол.

Но как ни ужасно было все это, Сережа любил Фросю. Правда, кто-то внутри него все время разрушал представления о том, как он женится на ней, но он думал об этом, и мысль эта была приятна ему, когда он представлял себе их жизнь вне жизни окружающих людей. Он знал, что то, самое главное, что́ произошло между ними, было прекрасным, как ему ни было стыдно теперь, и что он будет вспоминать об этом с хорошим чувством и всегда будет этого желать.

Однако он готов был уйти под землю, когда, подойдя к избе Нестера Борисова, увидел сидящего на скамье, точно он не уходил всю ночь,— Кирпичева, дымящего цигаркой.

— Вот и ты, Шергей, слава богу,— зевая, сказал Кирпичев,— садись, будем сейчас новолитовцев встречать,— только что конник приезжал. Куришь? — и он протянул Сереже кисет.

Сережа все ожидал, что Кирпичев начнет подтрунивать над ним, но Кирпичев, исходя из опыта собственной юности, не подозревал, что для Сережи могло быть хоть что-нибудь новое и необыкновенное в том, чтобы переночевать у вдовы. И Кирпичев не догадался подразнить его.

— Неужто ты так и не спал всю ночь, Никон Васильевич? — почтительно спросил Сережа.

— А взвод мой эти сутки в карауле, а я дежурный по гарнизону,— спокойно сказал Кирпичев.— А ежели ты спросишь меня, почему ж я, как я есть дежурный, нахожусь не на своем посту, а здесь,— сказал он, весело посмотрев на Сережу и улыбнувшись своей проваленной губой,— так я тебе все разъясню. Главную задачу дежурства своего я ставил в том, чтоб наши отцы-командиры,— он с доброжелательным выражением кивнул на избу,— не учинили какого ни на есть скандала, да и начальству на глаза не попались. Задачу эту я сполнил с честью. Теперь они у меня все спят... Я было и сам лег, да взрывы разбудили...— Он зевнул.

Нет, жизнь шла своим чередом, и люди считали Сережу человеком, и — взрослым человеком. И он с нежным и благодарным чувством вспомнил Фросю. «Нехорошо все-таки, что она крадет больничную посуду»,— подумал он.

Новолитовская рота, ходившая в тайгу искать хунхузов Ли-фу, медленно приближалась по улице. Люди шли расхлябанным строем, расползаясь по грязи.

— Ну, как? Погромили их, отец-командир? — спросил Кирпичев, не вставая со скамьи.

— Какой там, к черту, погромили! Ушли, и следу нет! — с досадой сказал пожилой командир в солдатской, с подвернутыми за ремень полами шинели. И, сделав знак роте, чтобы она его не ждала, подошел покурить.— Такая чащоба — не продохнуть! Шли туда четверо суток и, верно, нашли новый барак и вашу и ихнюю стоянку, а их след простыл. Почти неделю простоял лагерем, послал во все концы разведку — ищи кота в лесу! Ни гу-гу!.. Они как ходют-то, проклятые! Наши ходют цепочкой, ясно — остается тропка. А хунхузы — вразброд, прочесом, где их найдешь! — сетовал командир, жадно затягиваясь кирпичевской крепкой маньчжуркой, позаимствованной как раз у тех самых хунхузов, на которых жаловался командир.

— Скажите,— низким голосом сказал Сережа,— а Масенду вы там не встретили?

— А кто такой Масенда? — спросил командир роты.

Конец второго тома

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о зажимании рта», а Шелли — «Песнь к защитникам свободы», в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный отзыв французской академии за юношеские стихи,— в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию и Индию и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела Западного полушария только вызревала, когда самыми большими рабовладельцами в мире были графы Шереметьевы — хозяева почти ста тысяч ревизских душ и родоначальник миллионеров Морозовых — крепостной Савва откупился от помещика Рюмина за семнадцать тысяч рублей ассигнациями, когда зачиналось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе и кончался ампир и Наполеон еще был жив на острове святой Елены, времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма, гегельянства, времена

Вандербильта Первого, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, «Руслана и Людмилы»,— в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика.

Когда он родился, он не закричал, как полагается новорожденным. Его красное, плоское, мокрое личико было слишком спокойным. И принимавшая его повивальная бабка, схватив его за ноги и опустив вниз головой, сильно встряхнула его. И он закричал так, что услышали в поселке. А бабка, обернув его в очень тонкую по выделке и очень грязную пеленку из рыбьей кожи, стала тетешкать его в сильных морщинистых руках и запела:

Кян-кян-кичив!
Кян-кичив!
К реке ходил
кян-кичив!
Рыбку поймал
кян-кичив!
Вот каким стал
кян-кичив!
Вот каким стал
кян-кичив!..

II

Народ кочевал по стране, могущей вместить семь с половиной таких государств, как Япония, и десять таких государств, как Англия с Шотландией и Ирландией и Нормандскими островами.

Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт.

Племя удэге кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзуб-Гынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течениям рек Бикина, Хора, Имана, Улахэ, Даубихэ — рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ маньчжуры. А эта большая река впадала в еще боль-

шую реку, из-за которой приходили гиляки, солоны и еще десятки племен, а откуда и куда она текла, эта самая большая река, об этом никто не знал.

Где-то еще жил в ладу с таинственной силой неизвестный и неисчислимый, как песок, народ китайцы. Оружие, материи, посуда, орудия для обработки земли шли от китайцев к маньчжурам, а от маньчжуров попадали к племенам, кочевавшим по рекам за хребтом Дзуб-Гынь, а от них попадали и на эту сторону хребта, к морю. Но когда Масенда родился, удэге не знали еще фитильного ружья.

Племя удэге, как и другие племена, редко кочевало и зимовало вместе, потому что многим людям трудно кормиться в одной местности. Племя странствовало группами родов во главе с наиболее опытным из родовых старшин, а в трудные для питания годы — отдельными родами, а иногда даже семьями с разрешения старшего в роде.

Роды бродили летом, а поздней осенью собирались группами на зимовку. А все племя собиралось только тогда, когда к этому призывала военная нужда. Тогда вступал в силу вождь племени, в обычное время такой же охотник, как и все.

Род, первый увидевший опасность не только для себя, а для всего племени, разводил на сопке костер войны. Если это было ясным днем, бросали на костер полынь, дающую густой белый дым, а если пасмурным днем,— ветви сырой ясеницы, дающие черный маслянистый дым, а если ночью,— ветви сырой ясеницы и лапки ели, от которых столб искр подымался до неба. Завидев дым, или огонь войны, ближайший род разводил свой костер на сопке, а ближайший к нему разводил свой. Так по кострам на сопках узнавали об опасности и сходились в условленное место.

Каждый год приходила весна с жаркими днями и холодными ночами. Задували ветры с юга и юго-запада, несли летний туман, пасмурь, потом ливни и наводнения. Приходила долгая сухая солнечная осень и незаметно превращалась в такую же сухую солнечную зиму. А потом дули ветры с севера или северо-запада, холодные, малоснежные, земля промерзала на три четверти человеческого роста, а весной снова оттаивала.

Неуловимо для одного человеческого поколения, но заметно для многих поколений подымался к небу берег океана. Выверченные в скалах водой и галькой шершавые котлы, в которых прапрадеды ловили руками маленьких крабов, когда еще сами были маленькими, эти котлы все выше подымались над морем и были теперь недоступны для волн.

В памяти людей оставались только те годы, когда природа отступала от своих привычек или жизнь людей была чревата особенными удачами или несчастьями: год снежной грозы или год прихода русских; год Каньгу, бога бурь или по-китайски — тайфунов; год оспы; год засухи, он же — цинги; год желудей, он же год перехода тигров с запада на восток: урожай желудей приманивал кабанов, а по следам кабанов шли тигры. Их было так много, тигров, в тот год, что люди не охотились на кабанов, а часами пролеживали на земле, уткнувшись лицом в хвою, боясь увидеть священного Амбу.

Так проходил век Масенды, век, в котором, кроме удач и несчастий, общих для всех людей, были и его собственные удачи и несчастья. А если бы их не было, трудно было бы сказать, живет ли это сам Масенда или одно из его перевоплощений: известно, что душа, прежде чем совсем исчезнуть, переселяется во все меньших и меньших тварей. И тля, ползущая по листу, вела в прошлом жизнь зайца, а в еще более глубоком прошлом жизнь медведя, Мафа, а в совсем далеком прошлом жизнь того огромного существа с обвисшей шерстью, костяными бивнями и тяжелыми ступнями, которое известно людям только по стариковским преданиям да по остаткам, находимым в земле.

III

Впервые Масенда узнал сам себя в расшитом крашеной шерстью кожаном мешке за спиной у матери. Масенда обнимал ее просунутыми в отверстие в мешке сильными ножками и чувствовал движения ее бедер.

Это было в год белок, когда был неурожай шишек и полчища белок хлынули в долины; это было ранней весной, очень тяжелой для людей: зимние запасы кончились, рыба еще была подо льдом, ничего еще не росло,

зверь уходил в глубокие дебри, шла война с ольчами, племя уходило на юг и голодало.

Но у Масенды не осталось плохой памяти об этом времени: он помнил продолговатую косую теплую грудь матери, с темным соском и желтовато-розовыми пятнышками вокруг соска, и вкус материнского молока. Возможно, он помнил эту грудь еще и раньше, а может быть и позже,— у удэгейцев кормят грудью до семи лет. Но он помнил эту грудь и вкус материнского молока до сей поры.

И вот другое воспоминание: он ступает по траве коричневыми босыми ножками, его ведет за руку мать, а рядом идет отец: он хорошо помнит отца, от его расшитых оленьих унтов и до кончика беличьего хвоста на шапке.

Они подходят к какой-то юрте, возле нее много-много людей, и в маленькой колыске, похожей на салазки, сидит маленькая девочка в красивом, расшитом крашеным волосом и перетянутом ремешками кожаном мешочке.

Что-то делали все люди вокруг него и этой девочки,— потом он узнал, что это был обряд обручения. Но в памяти осталось только, как девочка заплакала, а незнакомая женщина стала качать ее в колыске и запела о том, что девочка будет матерью честного и сильного поколения, и девочка уснула.

После того он никогда уже не ходил к этой маленькой девочке и, когда стал юношей, не помнил, какая из девушек была этой маленькой девочкой. И женился он не на этой девочке, а на Гулунге, которая разговаривала с деревом-осокорем. Но об этом после.

IV

Мать погибла, когда он был уже взрослым. Она утонула в один из годов бога Каньгу, когда реки так разлились, что вся страна стала одной водой, и над водой возвышались только узкие спины хребтов, полные зверей и людей.

Но пока мать была жива, она имела на каждого сына и дочь ореховую палочку и осенью, когда начинал падать лист, насекала на палочках прошедший год. Так вела она счет годам детей своих.

До тринадцати лет Масенда, как и все мальчики его народа, спал в то же время, что и птицы, и там, где придется, и не спал совсем, если нельзя было, и не знал обуви ни зимой, ни летом, и почти не знал крыши над головой.

Девочки с ранних лет проводили все свое время с женщинами. Еще не кончался возраст, когда играют с куклами, как они уже работали: собирали коренья, травы, грибы, варили пищу, мололи зерна, выделывали кожи, туески, корзинки, рогожки, вышивали шерстью и волосом и раковинками. Если многие из них умели бить острогой рыбу и стрелять из лука, то только потому, что этим в часы досуга занимались и женщины.

А мальчики жили отдельной от мужчин жизнью, но подражали ей во всем, кроме куренья табаку. Любимыми игрушками мальчишеских игр были лук, нож, острога. А лучшими товарищами в играх — собаки и лодки-оморочки.

До тринадцати лет запрещалось стрелять в зверей и птиц: мальчик так рано получал лук в руки, что он не мог знать, какой зверь или птица потребны человеку, и в какое время года можно убивать, и какие звери и птицы священны. Мальчики стреляли в бабочек, жуков, стрекоз, кузнечиков, и считалось позором промахнуться, если цель была не дальше седьмижды семи шагов.

Жизнь мальчика — это игра. Но всякая игра — испытание.

Испытывали бичом для собачьей упряжки. Мальчик становился посреди лужайки, нагнув оливковую спину и упершись руками в колено выставленной вперед ноги. А остальные мальчики становились позади полукругом на расстоянии бича и по очереди щелкали бичами по спине, стараясь попасть в одно и то же место плоским кожаным концом. Испытание кончалось, когда показывалась кровь. А случаи, когда бы испытуемый сам просил пощады, были очень редки.

Испытывали на огне. Испытывали на порез ножом на лопатке. Испытывали на морозе,— это испытание очень любили наблюдать взрослые, и это было самое веселое испытание. И очень распространенным было испытание на голод.

И в колыбельных песнях, и в песнях любовных, где девушка воспевала возлюбленного-героя, одним из самых прекрасных качеств героя была умеренность в еде. Взрослые удэге принимали пищу дважды — на восходе солнца и вечером перед сном. А наиболее прославленные охотники и воины ели только один раз — поутру. Легендарный мужчина-герой не ел совсем.

Масенде миновало семь зим, а может быть, шесть, а может быть, восемь, когда с севера пришли солоны, и отец его, Актан, разжег костер войны. Это было в середине лета. Племя собралось в низовьях реки Такеме, где кочевали в это время род отца — род Гялондика и роды Кимунка, Амуленка и Юкамика.

Детей обезоружили и заперли в юрты. Они слышали вверху по реке крики боя и, визжа, катались по юртам — не от страха, а от желания принять участие в бою.

Удэге разбили солонов и преследовали их далеко на север за реку Нахтоху и взяли в плен много воинов. Тех из них, кто отказался вступить в удэгейские роды, убили, а остальные вошли в пленившие их роды, и через два-три года их уже нельзя было отличить от удэгейцев.

Другим памятным событием детства было появление китайских купцов. Их было двенадцать, китайцев, все в одеждах из материи. У них были ружья. У старшего было на пальце костяное кольцо.

Они перевалили хребет с верховьев речки Арму — притока Имана — и пришли из страны маньчжуров. Им нужны были шкурки соболя, молодые оленьи рога — панты и корень женьшень. И каждый охотно отдал им бо́льшую часть того, что имел: обычай велел делиться всем добытым и без того, чтобы человек просил, а если человек просит, значит ему это очень нужно.

Китайцы были веселый народ и пили горькую воду, от которой становились еще веселее. Они угощали этой водой и удэге, и несколько охотников сделало по глотку, чтобы не обидеть гостей. Охотникам не только не стало весело, но несколько дней они были больны, и все удэге были обижены. Может быть, китайцы хотели их отравить, а может быть, посмеяться над ними.

Но китайцев отпустили с миром, так как не видели от них большого зла.

Китайцы просили добыть им на следующий год побольше шкурок, корня, пантов и обещали принести взамен ружья. От ружей все отказались. «А шкурок, корня, пантов, сказали, много в лесу, приходите, мы вам дадим, сколько вам надо».

V

Самым счастливым временем в жизни людей были встречи кочующих родов поздней солнечной осенью. Это было время браков. Шли охотничьи игры и танцы перед зимней охотой. И собиралось так много детей, насмотревшихся за лето чудес и так жаждавших помеояться силами, что от детского щебета, от стремительной беготни, от взвивающихся в воздух стрел, от мечущихся по реке оморочек, от дымов костров, вокруг которых, подражая взрослым, дети вели беседы,— счастливо становилось на душе у всех людей.

Масенда, голый по пояс, сидел у костра на берегу моря среди других мальчиков и слушал рассказ мальчика из рода Юкамика, как он встретил красного волка.

И подошел отец. За спиной у него был большой лук, который он мастерил все эти дни, у пояса нож и стрелы в кожаном чехле. В руке у него была рогатина.

— Пойдем,— сказал отец.

Масенда послушно встал.

Они молча пошли вверх по реке, долинкой, поросшей таволожником. Быстро темнело. Они шли в глубь гор и леса. Стало совсем темно. Отец свернул в кустарники дуба и стал взбираться по крутому отрогу. Масенда старался не отстать от него. Отец был очень быстр на ногу и очень силен. Стрела его лука проходила насквозь и козулю и изюбря, а застревала в кабане и медведе из-за их сала. Отец подвел Масенду к черному отверстию пещеры, окруженной мшистыми скалами.

— Здесь ты будешь жить семь дней и семь ночей. Выходить из пещеры нельзя. Можно петь песни,— сказал отец.

Он передал Масенде рогатину, нож, лук, стрелы и пошел вниз, в темноту, так тихо, что его не было слышно.

Масенда понял, что он должен пройти испытание, прежде чем стать охотником и воином, и вошел в пещеру. По звукам шагов он угадывал, что она глубока. Все россказни о злых духах пришли ему в голову, и он испугался. Он не решился идти далеко вглубь и пошарил босыми ногами — нет ли травы. Везде был камень и мелкая щебенка. Он чувствовал кожей тела и по запаху, что пещера сухая. Он размел щебенку ладонями и сел лицом к выходу, держа оружие близ себя.

Из рассказов взрослых он знал, что самое страшное в испытании, когда темной ночью набредет зверь. Говорят, бывали случаи, когда тигрица Амба уносила мальчиков во время испытания, как она унесла легендарного мальчика, убившего стрелой священную птицу Куа.

В отверстие пещеры, широкое у основания и узкое вверху, видны были ближние кусты, темные вершины деревьев, растущих внизу, в долине, и небо, полное крупных звезд. В их свете, таком огнистом в небе и бледном на земле, он стал различать выступы камней на стенах. И страшно было чувствовать черную глубину за своей спиной. Чтобы приучить себя к этой черной глубине, он сел спиной к выходу. Уши слышали все, что происходило за его спиной, и рассказывали ему: бормотание внизу — река; выше по реке тихое звенение — ключ; это птичка шелохнулась в кустах, а это сами листья переместились под тяжестью росы; посыпалась мелкая щебенка — просто так, от времени, а эта — от того, что пробежала ящерка.

Привыкнув к темноте, он лег на камни лицом к выходу и уснул.

Проснулся он от распространенного шума в кустарнике далеко внизу, с той стороны реки. Все было в тумане, светало, он различил в шуме листьев ступание легких копытцев,— стадо коз пришло на водопой.

Светило солнце, мир пещеры был тесен, хотелось пить и есть. Он прошел в глубину пещеры, она имела конец, и очень скучно было сидеть в ней.

В средине дня прямо на отверстие пещеры вышел пятнистый олень. Из кустов, по которым олень с шумом взбирался на гору, показались сначала его ворсистые рога, и темно-карие дикие и добрые глаза его встретились с глазами Масенды, ждавшего его, натя-

нув тетиву. Олень, взвившись, сделал косой скачок выше своего роста и умчался, просвистав по листве. Масенда успел бы пронзить его, если бы захотел.

Так прожил он в пещере семь ночей и семь дней без пищи и воды. За это время очень много событий совершилось вокруг него. Залетали летучие мыши. Каждое утро приходили козы на водопой. Черный медведь перешел через реку. Масенда не видел его, но знал, что это черный,— по шуму, когда он шел сквозь кустарник и переваливался в воде: медведь был невелик. Белохвостый орлан ловил рыбу в реке. Вороны гоняли сорокопута. Звезды падали с неба каждую ночь,— очень много падало звезд. И этот год так и назвали потом: год падения звезд.

Масенда спел все песни, какие знал,— военные, охотничьи, любовные, и те, какие поют при камлании по всем случаям жизни,— не пел только колыбельных. Жажда так мучила его, что заглушала голод. Тело его стало невесомым, но мышцы его были тверды и, если бы надо было, он мог бы просидеть еще столько же. А может быть, и не мог. Все-таки очень трудно было высидеть последний день.

Красный свет солнца перешел на верхушки деревьев, а понизу уже клубилась вечерняя сырая мгла, когда Масенда, надев на себя оружие так, как носил его отец, держа в руке рогатину на весу, спустился в долину. Он шел среди предсумеречного гама синичек, бесшумно, как охотник и воин. Он был счастлив.

И вот сквозь кусты проглянуло море вдали. Он подходил к поселку. Девичий голос журчал в сумерках. Девочка лет девяти, в унтах из рыбьей кожи и такой же тонкой рубахе в мелких и хрупких разноцветных раковинках, стояла, обняв ствол могучего осокоря, начавшего желтеть, и разговаривала с ним. Она быстро обернулась к Масенде, узкая, вся в блестках, как ящерка. Это была Гулунга из рода Амуленка. Род ее три года зимовал за хребтом, на реке Иман, но Масенда узнал ее: он дружил с ее братом Есси Амуленка.

Девочка спокойно смотрела на Масенду из-под своих тонких-тонких бровей.

— О чем ты говоришь с ним? — спросил Масенда.

— Это мой жених,— сказала она.— О чем можно говорить с женихом?

— Вы обручены? — пошутил он.

— Нет, он заколдован. Я обручена с Салю из рода Йоминка. Но я не буду жить ни с кем. А ты разве будешь жить со своей «давным-давно»?

Так среди молодежи назывались жених и невеста, обрученные в детстве. Теперь уже редко совершались браки по этому обручению.

— Не знаю,— ответил Масенда.

— В поселке только и говорят, что этой осенью Актан выйдет на охоту с четырьмя сыновьями,— сказала Гулунга.

— Все, что я добуду, все ваше...

И Масенда, точно плывя над землей от слабости, прошел мимо девочки в поселок.

Он шел среди юрт, и все мужчины и юноши и старики по обычаю не смотрели на него. Только его вчерашние товарищи по играм украдкой подглядывали из-за кустов. Отец и братья тоже не посмотрели на него, точно ничего не случилось.

Мать, возившаяся у костра, откуда наносило такими вкусными запахами, что у Масенды помутилось в голове, вошла в юрту и вынесла Масенде новые унты, рубаху, три кафтана из изюбриной кожи и шапку с беличьим хвостом. Масенда надел все на себя и сел на корточки и так сидел до тех пор, пока мать не позвала его ужинать вместе с отцом и братьями.

Хотя он шел один близ реки, он не разрешил себе испить, зная, что это неблагородно. И только перед едой отпил несколько глотков из глиняного тулуза — по старшинству, после отца и братьев. Но когда все уснули, он сбежал к реке, лег животом на гальку и пил долго, как лось. Утром отец отдал ему свою трубку.

Так Масенда стал охотником и воином.

VI

На этом кончилось хорошее время в жизни Масенды, как и в жизни всего народа. Но сначала нужно рассказать о двух последних счастливых событиях в жизни Масенды.

Он вошел в пору юности, и стрелы его лука тоже пронзали козулю и оленя насквозь, а застревали только в кабане и медведе из-за их сала. Он и сам уже не

раз бывал под кабаном и медведем, и дважды падал ниц перед тигром, и несколько раз тонул, и участвовал в трех войнах, и тело его было в бесчисленных шрамах, как тело всякого охотника и воина. За это время Масенда несколько раз встречал Гулунгу, но она была для него, как и всякая другая девочка.

Потом пришла осень, когда Гулунге уже неинтересно было разговаривать с осокорем, и Масенда встретился с ней на реке. Она пришла за водой, а может быть, и не за водой. Но прошло еще два года, пока они стали жить вместе.

Вот как это случилось. Отец Гулунги хотел, чтобы дочь соблюла обычай и жила с Салю из рода Йоминка. Но Гулунга не хотела жить с Салю. В те времена никто не мог заставить жить с тем, с кем не хочется. Но отец Гулунги, старший в роде Амуленка, был человек умный, знал силу времени, и род стал кочевать вместе с родом Гялондика: как похитишь невесту из рода, с которым кочуешь вместе?

Так они кочевали вместе два года. На третью осень род Гялондика зазимовал на Сыдагоу, а род Амуленка на Даубихе. И этой осенью Масенда похитил Гулунгу.

Из всех прекрасных осеней в этой стране это была самая прекрасная. Солнце так долго грело, что казалось, совсем не будет зимы. Лист долго не опадал, зеленая хвоя стояла среди красной листвы. По утрам ударял морозец, деревья, сухая трава и мох были точно в розовой шерсти. Утром солнце сквозило через морозную дымку, а потом грело все сильней, сильней,— и все оттаивало и мокро сияло вокруг. А к полудню уже было так сухо, что над открытыми пригорками с поникшей белесоватой травой попархивали простенькие бабочки, бог весть где переждавшие морозец.

Масенда шел пять дней и четыре ночи и к вечеру пятого дня увидел внизу в долине, в медленно плывущем дыму, продолговатые юрты, похожие на рыб, уснувших в воде. Людей не видно было, так это было глубоко.

Он спустился в долину перед рассветом, пока не выпал иней. Он рассчитал верно: иней заглушил его ход в траве и для людей и для собак.

Два дня и две ночи он просидел на ели среди красных деревьев почти над самым поселком. И если бы по-

дул ветер с той стороны, откуда он пришел, собакам нанесло бы его запах. Мужчины не вышли еще на охоту и целые дни проводили на реке, били острогами последнюю ходовую кету. В это время и секачи и особенно самки настолько оббивают хвост, плавники и брюхо о гальку, что уже вяло плывут и плохо пахнут, но удэге любили такую кету с запахом.

Несколько раз Масенда видел Гулунгу, но всегда она была на виду у других людей. На утро третьего дня женщины и девушки пришли в рощу, где сидел Масенда, собирать хворост. Гулунга была среди них.

Женщины расходились в разные стороны и сносили хворост в общую кучу. Обняв руками большую охапку хвороста, откинув головку с тоненькими черными косами, Гулунга плыла среди красной листвы прямо на Масенду. С отчаянной отвагой он соскочил с вершины дерева. Она узнала его, мгновенно сбросила хворост, чтобы облегчить ему дело, и даже успела отряхнуться. Он заткнул ей рот, схватил ременными петлями ноги и руки и, очень довольную, потащил сквозь кусты волоком за косы.

Самое удивительное во всем этом было то, что никто из женщин, кишевших в роще, их так и не увидел: все ложились среди кустов, чтобы им не помешать.

Масенда знал, что, если его нагонят братья Гулунги, ему надо будет защищать невесту и его убьют. И он сделал все, чтобы уйти. Он развязал Гулунгу, и во все время их скитаний она тоже делала все, чтобы уйти. Несколько дней и ночей подряд они бежали бегом через хребты, через хвойные зеленые леса и через леса в красной листве и часами брели по горным ледяным рекам, чтобы запутать следы. Так вышли они на реку Эрльдагоу, в сторону, противоположную той, куда им надо было идти, и в первый раз остановились на ночлег.

Они не развели огня и спали, прижавшись друг к другу, как дети, и проснулись от сотрясения воздуха над ними. Была пора изюбриного гона, и стадо голов в триста клубилось вокруг. Старые самцы и молодые ревели на разные голоса — то низко, то высоко, иногда они уже просто хрипели от страсти. Чаща стонала эхом, и иней сыпался с деревьев.

Когда Масенда и Гулунга пошевелились, самка и два самца, преследовавшие ее, дали такого дробота две-

надцатью копытами, что все стадо услышало и ринулось в чащу, и иней посыпался с деревьев часто, как снег. Но где-то близко, голосом, полным тоски, раз за разом, очень однообразно, еще ревел старый самец. Видно, он ничего не услышал.

У Масенды был с собой только нож. Неслышно, как дух, он прокрался на голос. Одинокий марал-отшельник с подседевшим брюхом, с пушистыми внизу и костяными вверху рогами в развитых отростках стоял в болотце, проломив копытами тоненькую пленку льда и увязив ноги в грязь по бабочки. Он ревел, как дьявол, выкатив карие выпуклые помутненные глаза и положив тяжелые рога на спину. Изюбри сбивались в пары и табунились, а его не принимали к себе, и он так и состарился в одиночестве.

Масенда сделал скачок в две длины человеческого тела, и старый марал рухнул под ним, пораженный в шею, и волны крови облили руки Масенды. И тут только Масенда заметил, что Гулунга стоит рядом. Она шла за ним следом, боясь остаться одна. Они стали пить кровь по очереди.

Когда солнце стало пригревать, они уже были муж и жена. За много дней и ночей скитаний они не сказали друг другу ни слова и не видели в словах никакой нужды.

Забавно было, придя с женой в свой поселок на Сыдагоу, застать братьев Гулунги — одного моложе другого — во главе со сверстником Масенды Есси Амуленка. Но посмеяться пришлось все-таки Есси, потому что он и не думал преследовать Масенду. Он прямо направился к Гялондикам, зная, что все будет по обычаю, и очень хорошо проводил здесь время.

Род Гялондика отдал за жену Масенды обычный тори — железный котел, три рубашки и три копья и за похищение еще железный котел и десять рубашек.

На обратном пути Есси не уступил дороги бурому медведю, и медведь вынул у него глаза. И Есси стал шаманом. Потом роды Амуленка и Гялондика всегда кочевали вместе.

А вторым и последним счастливым событием в жизни Масенды-воина было рождение первого сына. Потом у него были и еще сыновья и дочери, но он уже не радовался им, зная, что они рождаются на несчастье себе.

ПОВЕСТИ. РАССКАЗ

РАЗЛИВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Эта земля взрастила полтора миллиона десятин гигантского строевого леса.

Мрачный, загадочный шум вечно плавал по темным таежным вершинам, а внизу, у корявых подножий, стояла первобытная тишина. Она скрывала и тяжелую поступь черного медведя, и зловещую повадку маньчжурского полосатого тигра, и крадущуюся походку старого гольда Тун-ло. Под его мягким улом сухой лист шебуршал чуть слышно и ласково.

Плодородные берега Улахэ родили буйные дикие травы и изнывали в тоске по более совершенному потомству. Племянники Тун-ло, перебравшись сюда из чужой для них Сунгарийской долины, впервые пробовали ковырять деревянной сохой жирный улахинский чернозем.

В те времена полуразрушенные валы и рвы древних крепостей Золотой империи обрастали крепкими дубами, а каменные ядра, разбросанные по пади сгнившими впоследствии катапультами, покрывались ярким бархатным мхом, и ими резвились в травяной сени веселые лисенята. Первый русский пришелец — Кирилл Неретин — поднял твердый коричневый дерн желез-

ным плугом, и его свежевыстроенные амбары ломились от полнозерного хлеба.

Теперь Кириллу Неретину семьдесят пять лет, гольду Тун-ло — девяносто три, а Жмыхову, леснику,— сорок семь. Но в те времена Тун-ло не имел еще ни одного седого волоса, Неретин был первый человек с русой бородой, который увидел гольда, а Жмыхов пришел неизвестно откуда через двадцать один год после Неретина, и то ему было всего восемнадцать лет от роду.

За Неретиным народ хлынул лавиной. Неумолчно визжали пилы, стучали топоры, в долине редели леса, и пыльный желтый тракт на двести верст прорезал угрюмые дебри от Спасск-Приморска до Сандагоу.

Пришельцы не знали здешних законов. Им чужда была дикая воля Сихотэ-Алиньских отрогов. Они несли с собой свой порядок и свои законы.

Так старое смешалось с новым...

Был Тун-ло коряв и мшист, как лес: дикая кровь предков мешалась в его жилах с янтарной смолой, что текла по кедровым венам в заповедных улахинских чащах. Жмыхов без промаха бил белок в охотничий сезон, легко гнул правой ладонью медные пятаки, а кровь его бурлила, кипела и пенилась, как березовый сок весною. Вместе они проникли и на далекий север к чукчам, и на серебро-свинцовые рудники в Тетюхинской бухте, и на золотые прииски Фудутун в верховьях Имана.

И когда, женившись, Жмыхов осел на хуторе в среднем течении Ноты, Тун-ло подумал, что кончилась последняя хорошая жизнь какого бы то ни было гольда на этом свете.

2

Наступила весна, а с весной пришла ежегодная пантовка [1]. Жмыхова схватила малярия, и он не мог идти в тайгу. Постоянным его спутником на охоте была дочь. Она справлялась с винтовкой лучше любого деревенского парня, готовая сравняться с отцом, у которого была самая верная пуля во всей волости. Однако от-

[1] Добыча молодых оленьих рогов — пантов, которые употребляются китайцами на лекарства. (*Прим. А. Фадеева.*)

пускать Каню одну на большого зверя он еще не решался.

— Что ж, паря, пойду я? — сказала жена Марья. Вернее, она задала вопрос, но Жмыхов знал, что ее теперь ничем не удержишь.

Была пантовка, какой не видали за последнее десятилетие, и Марья, тряхнув стариною, поддержала честь жмыховской фамилии. Обыкновенно самым последним спускался с сопок старый гольд Тун-ло, но в этом году он уже вернулся, а Марьи еще не было.

Поправившись, Жмыхов расставил по верховым ключам и притокам Ноты нерета, каждый день переполнявшиеся серебристыми хариусами и толстыми пятнистыми линями. Рыба едва сдерживала янтарную икру. Спустившись до Самарки, он занял у Стрюка в счет удачной пантовки сорок рублей и, закупив дроби и пороха, вместе с Каней постреливал по таежным озерам черноголовых селезней.

Марья пришла через пять дней после Тун-ло и принесла одними пантами больше гольда. Их купил марьяновский скупщик — хитрый китаец, за свой маленький рост и острые ушки прозванный «Зайцем». Он выпил у Жмыхова неимоверное количество чаю и, с уважением поглядывая на Марью, беспрерывно повторял одну и ту же фразу:

— Эх, хороша бабушка! [1]

При этом он громко всхлипывал в знак высшего удовольствия и одобрения.

Вместе со скупщиком по Уссурийским долинам побежала гордая слава о женщине, взявшей весеннее первенство на всем пространстве от золотистых нив Сучана до холодных истоков Хаунихедзы.

Однако этой весной разговор о Марьиных подвигах продолжался недолго. Иные события волновали жителей Улахинской долины. Сердце этих событий билось за девять тысяч верст от Сандагоуской волости — в далеком незнаемом Питере, но отзвук этого биения чувствовался здесь — у южных отрогов Сихотэ-Алиньского хребта.

Произошли кой-какие перемены.

---

[1] На русско-китайском жаргоне «бабушка» означает не «старуха», а «жена». *(Прим. А. Фадеева.)*

На смену угрюмому чернобородому волостному старшине пришел мельник Вавила и назвался председателем волостной земской управы. Веселого волостного писаря сменили лавочник Копай и его помощник — сельский учитель Барков.

И хотя Вавила был сифилитик, Копай — мошенник, а Барков — пьяница, хотя с фронта по-прежнему продолжали приходить вести о гибели то того, то другого деревенского парня, а река Улахэ по-прежнему текла в старом направлении — все же в этой смене чувствовалось новое.

3

Ранним весенним утром дед Нерета пошел в волостное правление.

После теплого ночного дождя нежный пар сочился из земляных пор. Был он легок и светел, как дедова борода. Пахло сыростью, теплом и хвоей, и на душе у деда было радостно и светло, как в праздник.

За постоялым двором солдатки Василисы, на ярко-зеленом лугу, лесовики раскидывали палатки. Таксатор Вахович работал в этих краях уже третью весну, прокладывая просеку с верховьев Улахэ на Вангоу.

«Зайти, чо ли?» — подумал Нерета, жмурясь от солнца. Лагерь раскидывал лесной кондуктор Антон Дегтярев. Он был без шапки и пояса и ласково смеялся весенними голубыми глазами.

— Скоро в тайгу, детки? — приветливо спросил дед. В разговоре он всех, даже стариков, называл детками.— У людей леворюция, а нам все одно — работа... Так, чо ли?

Он похлопал парня по плечу. Дегтярев засмеялся.

— Нашу квартиру под кленом ставь! — сказал десятнику.— Веселее, правда, дед? Под деревом-то, а? Эй, сильней натягивай!

Он подскочил к рабочему, укреплявшему большую палатку для кухни, и потянул сам за блестящий пеньковый канат. Дед любовался его спокойными упругими движениями, и ему тоже хотелось принять участие в работе.

— Работать хорошо, пока сила есть,— сказал Антон деду.— Революция — сама собой, работа — сама собой, а в тайге тоже хорошо, пока человек молод.

— Ишь ты — шустер! — улыбнулся дед.— У меня детки такие на фронте. Работяги. Только они насчет земли больше, потому я сам хозяин.

— Это кому что...— неопределенно поддакнул кондуктор.

Он думал о том, что будет хороший вечер и Вдовина Марина придет на вечорку, а завтра он тронется в тайгу и не скоро вернется в город, надоевший за зиму.

— В волость пойду: нет ли письмеца.— Нерета достал кисет и закурил. Синеватый дымок «маньчжурки» потянулся кверху прямо, как свеча, незаметно растворяясь в воздухе.

4

— Есть письмо, есть! — сказал в волостном правлении Копай-лавочник.

Он был полон секретарского достоинства и дышал тяжело и жирно, как сазан.

Почерк на конверте был незнакомый. Дед знал грамоту и удивился: «От кого бы?» — подумал растерянно. Выйдя из избы, уселся на лавочку и долго не распечатывал. Сердце смутно чуяло недоброе, и казалось странным, что что-нибудь недоброе может случиться в такое ясное и теплое утро.

Писал с фронта племянник Сидор. Вначале следовали многочисленные поклоны, а потом...

«...И еще извещаем вас, что любимые дети ваши, Федор и Карп, отдали богу душу. Кресты на них надели другие, а собственные их, нательные, посылаю вам по завещанию...»

Строчки химического карандаша запрыгали в глазах и побежали в разные стороны. Нерета уронил конверт, и два простых нательных крестика робко выпали на песок.

Хозяйство у деда Кирилла было крепкое: он жил всей семьей, не разделяясь. Когда старшие сыновья ушли на фронт (младший давно не жил дома), дед не

сильно растерялся. Он мог еще работать сам, снохи — дебелые и крепкие бабы из-под Томска — пахали и косили, как мужики, а внуки-подростки тоже ели хлеб не попусту.

— Не унывай, детки! — говаривал дед на работе.— Вот уж мужики приедут — отдохнем все...

Теперь все это рушилось. Ни к чему оказался пятидесятилетний труд. Впереди маячили только смерть и разорение перед смертью.

5

Дни по-прежнему стояли теплые и ласковые. Дегтярев ушел в тайгу. Дедовы снохи, наплакавшись вдосталь, работали, как волы, и все, казалось, пошло по-старому. Но сам дед чувствовал, что петля затягивается на его старческой шее, и не видел выхода.

Тогда-то и вернулся с фронта домой Иван Кириллыч, младший сын деда Нереты.

Лет десять тому назад окончил Иван Кириллыч спасск-приморское трехклассное училище. Книга стала его неизменным другом, а с нею мир показался шире, жизнь богаче. Он побывал во многих городах и селах Дальнего Востока. Много повидал людей и немало понаделал дел. Вместе с забубенной головой, Харитоном Кислым, участвовал в прокладке тоннеля через Орлиное Гнездо к минному городку Владивостока. Стучал пудовым молотом в военном порту. Грузил ящики на Чуркином мысу. Месил цемент в Спасск-Приморске. Несколько раз, возмущая черноземную кровь своих предков, продирал штаны на потертом писарском стуле.

Одним словом, это был блудный сын, и пользы от него видели до сих пор, что от козла молока. Однако с его приездом дед воспрянул духом.

Иван был ранен в бок и приехал в отпуск только на два месяца. Но когда, пошатываясь от усталости после длинной дороги, он вошел в избу и возчик внес вслед за ним тяжелый солдатский сундучок,— то первой же фразой деда, после обычных приветствий, было:

— Ну, довольно, детка! Нагулялся, навоевался... К хренам! Назад не поедешь!

В эту фразу он вложил и свою крепкую отцовскую волю, и последнюю хозяйственную надежду.

И мнение его совпало с мнением сына. А так как приставом Улахинского стана уже давно питались в озере сомы, то вопрос оказался исчерпанным.

6

Через несколько дней вернулся с весенней охоты Харитон Кислый. Его крытая соломой избенка понуро стояла в пятидесяти шагах от волостного правления. Был он человек большой, но легкий, как всякий человек, которому нечего и негде сеять. Первым делом Харитон пошел к Ивану Неретину. Он качал на ходу могучей спиной и широко разбрасывал руки — длинные, как грабли, с медвежьими кистями.

— Ага! — воскликнул Неретенок, увидев друга.— Тебя я жду давно, пойдем со мной!

Он потащил Харитона на сеновал, где находилась его штаб-квартира и, ни слова не говоря, раскрыл перед ним свой солдатский сундучок. Оттуда полезли книжонки и листовки всех мастей и калибров.

— Вот возьми-ка парочку, познакомься! Тут о войне, о земле и о чем хочешь...

Харитон был человек мастеровой, и то, что излагалось в книжонках, странно совпало с тем, что он думал уже давно. Он передал их Антону Горовому, который тоже имел крепкие руки, пустой желудок и много свободного времени для чтения.

Сундучок Ивана стал пустеть все больше и больше. Книжонки ходили по рукам, а их хозяин, залечивая бок в аптеке у фельдшерицы Минаевой, вертелся также в волостном правлении, в копаевской лавочке, на мельнице — да мало ли где еще. Был у него всегда спокойный, насмешливый, немного даже загадочный вид. Будто знал парень что-то неизвестное другим.

Наконец он сел за письмо и долго строчил при тусклом свете ночника, изогнувшись над столом.

— Чо бумагу переводишь? — удивленно спросил дед.— Може, кралю где завел? Тащи ее сюда, больше будет!

«Товарищ Продай-Вода! — писал Иван.— Дела мои идут великолепно. Сшибить правление ничего не стоит. Проворовались, как черти. Наших — восемь человек, и

все это — ребята, за которых можно поручиться головой...»

Он улыбался, работая пером, а старый Нерета думал, что фронт страшно изменил сына. На конверте Иван написал: «Тов. Продай-Воде в Приморский областной комитет РСДРП» и в скобках — «объединенный».

7

В волость приехал человек совершенно незнакомый. Он завалился прямо к молодому Неретенку, и между ними произошел довольно интересный разговор, после которого на сеновале собралось целое совещание.

— Самое главное,— говорил незнакомый человек,— не надо забывать, что вы, в большинстве,— народ безземельный и в деревне чужой. Сумеете ли провести своих людей в правление?

Среди собравшихся было два человека с хозяйством, а за Иваном имелся солидный авторитет деда. На другой же день почти вся компания обула лапти и разбрелась по волости, созывая на чрезвычайный съезд.

Съезд состоялся многолюдный. Старое правление изругали. Незнакомый человек сказал несколько речей. Был он в очках, лысый, немного кривой. Речи его мало кто понял. Согласились, что войну надо окончить, а также насчет помещиков. Только помещиков в Сандагоуской волости не водилось.

Вечером того дня избрали земскую управу и председателем ее — молодого Неретенка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Потом наступили жары, каких не помнили старики. Почти весь май палило огнем, а в начале июня, когда истощенную, жадную до воды землю засевали гречихой, начались лесные пожары. Они вспыхнули близко к верховьям — в районе Сандагоу, но в самый верх и книзу не шли, потому что кверху не пускали впадающие в

Улахэ реки, а внизу вообще было сырее. Но в окрестностях волостного села древесный лист вял и желтел, как в бездождную осень, и засохшая таежная земля тоже горела. Ночью огненными языками бахромели сопки, а днем черные, сизые и серые дымы стлались по тайге, и солнце плавало в багровом зловещем тумане.

Неретин «провалился» на первом же предложении — передать мельницу в общественную собственность, а копаевскую лавочку — кооперативу.

Конечно, Вавила брал по шести фунтов с пуда за помол, а Копай драл неимоверно со всякого товара, но ведь мельница и лавка были их собственностью!

Тогда пошел слух, что новый председатель надумал отобрать земли, избы, домашний скот и прочее имущество и поделить поровну между всеми жителями Сандагоуской волости. Правда, это был слух, которому не всякий верил, но многие опасались.

К тому же от солнца выгорали хлеба, в безводной тоске чахли огороды, а гречиха так и не всходила.

У Копая-лавочника — большая бревенчатая изба с позолоченными флюгерками. Народу вмещала много. Сандагоуцы любили самогонку, и Копай поил у себя в избе бесплатно. Он не боялся убытков в хорошем деле. Мельник Вавила ходил на вечерки и задаривал парней деньгами.

Но у Неретина были цепкие зубы, лохматая голова и неослабная воля к действию.

— Неужели не будет по-нашему? — сказал он себе, потерпев неудачу, и стал носить под рубахой вороненый наган Тульского завода.

Шел он как-то вечером от земства домой, заглянул к Харитону. Посидели, поговорили. О городе, о революции, о пожаре. Насчет холостой жизни.

— Копай вот орудует,— сказал Неретин, прощаясь,— самогонку ведрами пустил. Как смотришь?

— Раздраконить всех и вся вдребезину! — вспылил Харитон.— Тогда пойдет!.. Мягкий ты, это — тоже вредно...

— Драконить надо осторожно, умеючи,— возразил Неретин,— а главное — строить...

— Построишь черта лысого с народом с этим!

Когда Харитон сердился, крепко сжимал челюсти. Было так и теперь. Ничего больше не сказал ему Неретин,— пожал руку, пошел.

Вот ведь в одной компании состояли, а мнения на иной предмет имели разные!

2

Окна председательской комнаты в волостном правлении выходили во двор. Сторож затянул их белыми занавесочками. Стало темней и прохладней, чем на улице.

День был воскресный, но Неретин занимался, как всегда. Перед ним лежал журнал, привезенный накануне с почтой.

Рыжая кошка ловила на занавеске паута. Паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови. Он разомлел от жары, не мог летать и жужжал нудно и густо, как протодьякон.

В журнале было несколько картинок про то, как работает электрический трактор, и вид самого трактора в разрезе. Неретин рассматривал его долго и внимательно. Он думал о том, что хорошо бы было и в Улахинской долине завести пару электрических тракторов. И еще — мысль его перешла к засухе и к наводнениям, которые бывали раньше,— не мешало бы здесь устроить оросительные каналы и плотины. «Чудной край,— думал Неретин.— В Туркестане, скажем, нужны оросительные каналы, а в Голландии плотины, а нам и то и другое нужно!»

Какие-то голоса, видно с улицы, назойливо лезли ему в уши, но он увлекся своими мыслями и надоедливо отмахивался рукой, как будто прогонял муху.

«...Или, может, уже такие приспособления есть, что и на то и на это повернуть можно?..» Неретин был человек практический, но жара разморила его, и он размечтался. Голоса на улице возрастали, кто-то пел пьяным голосом срамную песню и, кажется, называли его фамилию.

После электрических тракторов Иван прочел бумаги из разных деревень Сандагоуской волости. Корейцы из Коровенки писали, что ввиду ожидающегося раннего

урожая мака стянулись к деревне китайские хунхузы и прислали ежегодную разверстку на опиум. Корейцы просили помощи. Неретин подумал, что если бы были силы — следовало бы прогнать хунхузов, а мак покосить: опиум одурманивает мозги.

Другое извещение было с верховьев Фу-дзина. Там было двое своих ребят, и письмо прислал один из них. Он сообщал, что его товарища надо вычеркнуть из «списка».

«...Потому, как тебе известно, воевали мы из-за лесу, и кодась Никанор добился ближающщево коло деревни, то поставил там пропарат и гонит самогонку...»

Это письмо Неретин спрятал в карман.

Третье письмо писал Стрюк из Самарки. Он извещал о том, что кошкаровские староверы убили в тайге несколько китайцев из-за корня «женьшень», и просил прислать следственную комиссию.

— Сволочи! — вслух подумал Неретин.— Солдат не давали, потому что религия не позволяет, а китайцев стрелять позволяет!

Он положил резолюцию: «В следственную комиссию».

На улице шумела толпа, но, углубившись в работу, Иван не обращал на нее внимания.

У него имелось еще одно послание, переданное сегодня утром проходящим охотником. Оно было нацарапано на бересте каким-то грамотным гольдом, страшно коверкавшим русский язык. Гольд доводил до сведения власти, что волостной объездчик в последний объезд обобрал все панты соотечественников гольда, живших по Садучару. Стояло несколько подписей, нацарапанных той же рукой, и одна подпись — «Тун-ло» — рукой обладателя этого имени.

«Фамилию писать у Жмыхова научился»,— подумал Неретин. Подпись Тун-ло говорила о правильности извещения, потому что старик не умел лгать. Неретин пожалел, что не сорганизовал до сих пор милиции. Он решил арестовать объездчика сам, сегодня же, и направить в уезд с солдатами, сопровождающими почту.

— Иван Кириллыч, ты сход скликал? — спросил его сторож.

— Нет, а что?

— На улице гудут...

Неретин встал, прислушался и только тогда понял, в чем дело.

У уличного крыльца гудел народ, и громче всех гнусавил мельник Вавила. Иван вспомнил его провалившийся нос, слезливые глаза и сразу ожесточился, как, бывало, на фронте перед боем.

— Што он, мать его за ногу,— тянул в нос Вавила,— зазнался, што ли, забыл, што народом избран!

— Ему бы только с хвершалихой путаться,— поддержал кто-то.

Неретин нащупал за поясом под рубахой ручку нагана и, приняв беспечный вид, вышел на крыльцо.

3

В воздухе пахло гарью. Вдали, за речным шумом, мощно дымились сопки, и дым оседал над ними неподвижным гигантским облаком.

Харитон тоже явился на шум. Он до сих пор не мог найти работы. Было у него на душе мрачно и пусто, как в желудке: никто его не поддерживал, а к Вдовиной Марине, за которой он ухаживал четвертый год, присватывался мельник Вавила. Неретин увидел друга угрюмо стоящим в стороне от кучки. Кроме него, были и еще кой-кто из сторонников.

— В чем дело? — спросил Неретин спокойно.

Толпа смолкла при его появлении, и долго никто не отвечал на вопрос. Собралось около четверти села. Медные от жары лица смотрели с любопытством и недоумением, как будто не они вызвали председателя наружу, а сами были вызваны им в необычный час по необычному делу.

Так стояли они молча несколько секунд, изучая друг друга, пока из-за длинного мельника не вытолкнулся вперед учитель Барков. Он был пьян более обыкновенного, и волосы его, зеленого цвета, мокрые и грязные, свисали на лоб клочьями, как истрепанные листья банного веника.

— Здорово... власть! — сказал он с пьяной улыбкой, протягивая руку.

Неретин подал свою. Сдержанный вздох и гомон прошли по толпе. Она сдвинулась ближе к крыльцу, заражая воздух чумным запахом водки и пота.

— В чем дело? — повторил вопрос Неретин.

— Ты — самозванец! — закричал вдруг Барков визгливо.— Ты — самозванец,— повторил он тем же визгливым голосом, нервно передергивая плечами и заражая толпу нелепой пьяной силой.

Подчиняясь ей, все заговорили сразу, гневно и страстно, протягивая вперед землистые руки.

— Твой отец богач — его хлеб забирай!

— Кем избран?

— Сво-олочь! — выкрикнул кто-то, покрывая всех надтреснутым злобным басом.

— Это кто выругался? — с угрозой спросил Неретин, сдерживая толпу суровым взглядом.— Кто выругался?

Он спустился на одну ступеньку ниже, заставляя всех отступить назад, и, отыскав глазами знакомого ему обладателя баса, погрозил ему пальцем уверенно и строго, как учитель ученику.

— Пусть один говорит! — сказал он не терпящим возражений голосом.

Во внезапно наступившей тишине заговорил сосед Харитона — Евстафий Верещак. Был он угрюм и решителен, как у себя в маслобойне, и упрямой мужицкой волей преодолевал винные пары, туманившие голову.

— Народ решил, что ты ему непотребен,— сказал он, смотря прямо на председателя.— Молод ты — первое, чужак в селе — второе, и... непотребен... Народ решил, пусть старое правление будет — вот!

— Народ ничего не решил,— возразил Неретин сухо.— Вас мало здесь, а меня избрал волостной съезд. Через пять месяцев будет второй — тогда заявите.

— Не могем ждать! — злобно прогнусавил Вавила.— Зови съезд скорее. Как нас спихивал, дак ране созвать сумел!

— Сумей и ты! — так же сухо ответил Неретин.

Оттого, что был он строг и уверен в себе, а воздух ленив и зноен, никто не знал, что нужно делать, и все молчали, пригибая к земле упрямые крепкие лбы.

Опять очнулся первый Евстафий Верещак.

— Ванька... смотри-и,— предостерегающе процедил он сквозь зубы.

Тяжелые слова повисли в расплавленном воздухе, и толпа заколыхалась.

— Ты лучше не грози,— сказал Иван Кириллыч,— потому что...

— Больш-шевики пр-редатели р-родины! — завизжал вдруг Барков, захлебываясь пеной.

Он затрясся в пьяной истерике, и в его тусклых глазах где-то в темной глубине зрачков испуганно забилась жалость к себе и ненависть ко всему миру.

Толпа с ревом надвинулась на Неретина, опрокинув Баркова и спотыкаясь об него ногами. Иван отступил назад, не зная, пригрозить ли револьвером, или еще испробовать силу своего голоса.

— Не уйду я! — сказал он твердо.

— Сами сбросим! — стонал Вавила, размахивая потным кулаком перед его лицом.— У, стерва!

Откуда-то сбоку, оттискивая народ от крыльца, выдвинулась неуязвимая жилистая фигура и, отгородив Неретина от мельника, вынесла над толпой жесткое лицо Харитона Кислого. Ярость клокотала в каждой частице его тела, челюсти были крепко сжаты последним напряжением воли, и глаза, серые и жестокие, буравили слезящиеся глаза Вавилы. Несколько секунд они смотрели друг на друга — один, сдерживая себя нечеловеческим усилием, другой, истекая желтыми слезами, пока громадный кулак не взвился над толпой, как цеп.

— Р-расшибу! — рявкнул Харитон, чувствуя, как кровь волною хлынула ему в голову.

Мочась от страха, мельник отпрянул в толпу, но удар по темени настиг его у нижней ступеньки и свалил под чьи-то кованые сапоги. Вавила запомнил, что от них сильно пахло дегтем.

Потом все смешалось. Мелькали, как молоты, кулаки, трещали скулы, рвались праздничные пиджаки, и яростный звериный рык окутал толпу вместе с едкой и жаркой дорожной пылью.

Несколько человек бросилось к Неретину. Он выхватил револьвер и, воспользовавшись их замешательством, соскочил с крыльца. Отдельные фигуры трусливо побежали прочь, ломая придорожные засыхающие кусты, втянув головы в плечи и даже не оглядываясь.

Из ближних и дальних изб бежал народ разнимать. Бежал откуда-то и старый Нерета, прихрамывая на тронутую ревматизмом ногу.

Иван охолаживал дерущихся ручкой нагана. Наган был вороненый, Тульского завода, и действовал преотлично. Прибегавший народ помогал.

Труднее всего оказалось с Харитоном. Он освирепел, и к нему нельзя было подступиться. Шапка упала с его головы, и голова качалась черной копной с прядью серебряных волос на темени. И когда народ отхлынул наконец, расчистив ему место, он бессмысленно остановился у распростертой фигуры Баркова. Кровь сочилась у учителя горлом, и он плакал тонко и жалобно, как ребенок, вздрагивая на песке.

— Стой, Харитон!..— крикнул Неретин, вцепившись изо всей силы в занесенную руку.

Кислый обмяк, ослабляя мышцы.

— Пусти... не ударю...— сказал мрачно.

И пока Неретин и другие возились с Барковым, он уже шагал по дороге своей обычной развалистой походкой, высоко держа голову на кряжистой шее.

На другой день привезли с верховьев убитого упавшей лесиной дровосека, и Харитон, записавшись на его место, ушел на рубку к таксатору.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Дед Нерета стругал на верстаке у амбара доски на ульи. Было дымно и душно. Вспотевшие костлявые лопатки нудно терлись о холщовую рубаху. Ноги тонули в море медово-серебряных стружек.

Иван вернулся из поездки по волости.

— Как хлеба? — спросил Нерета.

— Плохо...

— Да уж хорошими быть не с чего...— дипломатично промычал дед.

Иван распряг лошадь и увел в сарай.

— Иди-ка сюда,— позвал его дед.

Он был недоволен сыном. Конечно, приятно иметь роднею председателя волостного земства, но ведь хозяй-

ство тоже — не кедровая шишка. Вылузгал орехи и бросил.

— Все ездишь? — спросил он Ивана не без ехидства.

— Езжу...— угрюмо ответил тот.

— Служба твоя, что лануш,— сказал Нерета наставительно,— отцвел и нету. А земля дело прочное. Проездишь, детка, землю-то, а?

— Вот уж отцвету — тогда за землю...

— А не поздно ли будет?

Они долго молчали. Нерета бросил строгать и подошел к сыну.

— Ванюха! — сказал он, неожиданно меняя тон. В седых глазах забегала всегдашняя усмешка, и веселые искры побежали в строгие сыновние глаза.— Брось, а? Оженим по первой статье — найдем бабу, косить будем, а?..

— То есть как же «брось»? — удивился сын.

— А так... К хренам, скажи, мне ваше удовольствие! Я, мол, и сам человек — надоело мне с вами маяться.

— Бросить нельзя,— возразил Иван Кириллыч, улыбаясь.— Хитер ты больно... Раз начато — надо кончать. Скажем, посеял ты гречку, а убирать не станешь...

— Гречку я для себя сею,— перебил дед.

— Это я так, к примеру,— продолжал Неретин,— а только предо мной задача...

Он хотел объяснить, какая перед ним задача, но не стал, решив, что не пришло еще этому время.

— Зада-ча! — передразнил старик.— Вон люди говорят, поделить все хочешь, правда? Нет?

— Врут. Не в дележе дело. Скажем, у тебя хлеба много, но ты своими руками его нажил — никто и не возьмет. А раз Копай нетрудовым потом нажился — отдай!.. Поработай сам, а тогда свой хлеб и кушай!..

— Не шибко и ты в политике силен,— съязвил дед.— Баловство все это! Как был шалай-балай, так и остался. Какой ты мне сын?.. Бузуй ты, детка, а не мужик! Вот уж свернут тебе шею...

Неретину стало жаль отца, но он боялся «распускать слюни» и ничего не ответил. Дед обиделся и взялся за рубанок. Это была первая размолвка в это лето. Потом они спорили часто и даже ругались.

2

В этот вечер Иван Кириллыч пошел к фельдшерице Минаевой. Она болела воспалением почек. В больницу ехать было далеко — пятьдесят верст по таежному тракту. Приходилось ждать, пока пройдут первые приступы болезни.

Поправившийся учитель Барков со всей семьей пил чай на школьном крыльце.

— К шлюхе своей пошел,— сказала жена учителя, повышая голос, чтобы Неретин мог ее слышать.— Нашел приятельницу, большевичку.

— Как Анна Григорьевна? — спросил Неретин у аптечной служительницы.

— Все болеют...

Он зашел на квартиру. Минаева по-прежнему лежала в постели — желтая, с припухшим лицом, разметав нечесаные волосы по подушке. Завидев Неретина, она так и просияла на него своими большими темно-карими глазами.

— Здравствуй,— сказал он просто, наклоняясь и целуя ее в лоб.

Лоб был горячий и влажный.

— В волость, слыхала, ездил?

— Был...

— Ну и как?

— Ничего,— ответил он неохотно.— Настроение лучше здешнего. Особливо внизу. Там и хлеба лучше. А с тобой как?

— Не хуже, не лучше... Арбуза мне хочется...

Она хотела шутливо улыбнуться, но улыбка вышла по-детски жалкой.

— Арбузов еще нет, да тебе и нельзя.

— Я знаю, я шучу...

— Слушай,— сказал Неретин, наклоняясь.— Я, знаешь, зачем пришел?

— Зачем?..— спросила она растерянно.

Он тихо засмеялся и взял ее за руку. Рука с нежной ямочкой на сгибе была пухлая и желтая, как лицо. Но все же она была мила ему, эта рука.

— Ни зачем... Поняла?.. Ни зачем — просто пришел. Пришел потому, что болит о тебе душа, и потому, что приходить приходится редко, и нет времени на лю-

бовь, и мало помощников в деле, и потому, что хочется и можется жить и работать, и сила есть, а ты больна...

Он быстро-быстро целовал ее руку, а каштановые волосы метались на его голове, и ласковые глаза с синью лучились прямым спокойным светом.

Она молча и нервно гладила его волосы, не зная, что сказать, не решаясь почему-то назвать его уменьшительными именами.

— Будет, что ли? — спросил он шутливо, отпуская руку.

Она притянула его близко-близко и, касаясь горячими губами уха, сказала совсем неожиданно:

— Какой ты хороший и... странный...

— Странный? — удивился Неретин.

— Да. Я живу здесь семь лет, а таких еще не видала.

«Чудит»,— подумал Неретин, сразу принимая добродушно-насмешливый тон.

— А где я жил, там, надо полагать, здешние странными кажутся. Понятно?..

— Нет, все-таки... не то.

— И тебе, стало быть, без «таких» скучно тут было?

— Скучно...

— Чего ж ты не уехала?

Она хотела сослаться на какие-то тяжелые условия, но что-то взмыло к горлу изнутри, и, удивляясь себе, что может вымолвить это так спокойно, она сказала:

— У меня ведь ребенок был...

Сказала и запнулась.

— Ну, так что ж? — допытывался он.— У меня двое были. То есть не сам я рожал, надо думать, а были мои...— И так как она молчала, он добавил:

— Но если понадобится, я куда угодно поеду. Очень просто.

Она заволновалась и попыталась приподняться на подушке.

— Лежи, лежи...— удержал он ее за плечо.

Она нервно передернула руками, соображая что-то, и наконец сказала:

— Тут целые дела... Когда-нибудь расскажу, не могу сейчас... Ошиблась я как-то, ну и...— голос ее оборвался, и неожиданно для себя и для него она заплакала.

— Вот это уж зря,— сказал Неретин укоризненно,— на-ка полотенце.

Чувствуя прилив необычайной нежности, он стал сам обтирать ей слезы, впервые замечая, что руки у него грубые и жесткие, а пальцы немного кривые. Но от его уверенных и ласковых движений она успокоилась и даже улыбнулась.

— Видишь, какая я кислая, не то, что ты...

— Ничего, будешь со мной, пройдет. Я ведь простой. А рассказывать вообще не стоит — ерунда.

3

Неретин сидел еще долго. Служительница зажгла лампу и принесла ему чаю. Он выпил стаканов семь, удивляясь, куда они умещаются, и шутил по этому поводу. Минаева слушала его, и ей страстно хотелось выздороветь.

Только когда в церкви пробило двенадцать, он ушел. Ночь стояла сухая и вместе с тем странно тягучая и липкая не по-летнему. На западе огневел злато-сизый пояс горящего леса, а за ним плавилось заревом небо, как вогнутый лист раскаленного железа.

В лохматой голове Ивана — в этом луженом и крепком солдатском котелке — уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В промежуток между гречишным севом и сенокосом Жмыхов ходил на охоту. Но этим летом жара давала себя чувствовать даже в Садучарской тайге, и он знал, что мяса теперь никто не купит: в погребе портилась даже солонина, а ледники имелись только у не нуждавшихся в мясе кошкаровских староверов.

Тогда он решил плыть в Сандагоу, чтобы летнее время не пропало даром. Надо было забрать у Нереты двадцать пудов муки, оставшиеся с прошлой зимы за беличьи шкурки, купленные дедом на шубу в приданое дочери. Кроме того, следовало получить у волостного

объездчика свое лесничье жалование и захватить в правлении газеты, которых он не читал уже около двух месяцев.

Он подправил лодку и спустил ее к реке. Плоскодонка была большая, но не тяжелая, почти не пропускала воды. Дома он подстриг бороду, одел патронташи, сумку и большую алюминиевую флягу в суконном чехле, наполненную медовухой. Марья оправила сзади ему рубаху: Жмыхов был костист и высок, и рубаха некрасиво морщилась на спине.

— Ну что ж, пора...— сказал жене.— Где Каня?

— В лодке ждет.

Она в последний раз осмотрела его с ног до головы.

— Хорош! — сказала она насмешливо.

— Знамо, хорош,— улыбнулся Жмыхов, заглядывая ей в монгольские глаза. Черные, немного суженные, с большими ресницами и отчетливыми бровями — то были смелые глаза ее предков со средней Аргуни, откуда он вывез ее восемнадцать лет назад.

Они пошли на берег вместе.

Дочь Жмыхова уже сидела на корме и, лениво болтая веслом в воде, смотрела, как бежали вниз маленькие крутящиеся воронки.

— Скоро ты? — крикнула нетерпеливо отцу.

— Поспеешь, козуля...

Жмыхов передал ей топор и винчестер.

— Прощай, старуха! — сказал жене подбадривающим тоном.

Марья не обиделась на обращение «старуха», хотя на загорелом лице ее не было старческих морщин, а черных волос не потревожила седина.

— Езжай,— ответила она просто.

Он столкнул нос лодки с берега и с неожиданной легкостью перенес на него двести двадцать фунтов своих костей и жил, когда лодка была уже подхвачена быстрым течением. Бурый пес бросился вплавь вслед за лодкой, но Марья отозвала его назад, и он долго недовольно ворчал, поблескивая вымокшей шерстью.

2

От хутора до Самарки верст тридцать пять. Надеясь на быстроту течения, Жмыхов редко брался за весла. Каня сидела у руля, а он дремал, лежа на носу, под

журливую песню Ноты, и солнце высекало золотистые искры из его русых волос с рыжеватым отливом. Волос у Жмыхова — мягкий. Недаром сандагоуцы зовут лесника «Королем», а гольды «Золотой головой».

У Кани руки крепкие, а глаз острый. Нота тоже хитрая река — мечется то вправо, то влево. Лижет скалистые обрывы, водовороты делает. Белопенные водовороты злобно рычат. Кедр тянет с берега корявые мшистые лапы. За кедром непролазная темь да карчи.

В других местах веселее — березняк белеет серебряной корой. Вьется небо вверху меж ветвей иссеченной лентой, и зверь молчит под кустом, от жары разомлев, и пихта стоит прямо и тихо, как сон. Курится тайга медовыми смолистыми запахами...

— Комар прилетел,— сказал Жмыхов под вечер,— давно комара не было.

— Стало быть, дождь будет,— пояснила Каня.

— Ясное дело, будет. К тому и говорю.

Он выпрямился во весь рост и посмотрел вдаль. Нота вырвалась из кедрового плена и бежала по широкой безлесной долине. С боков долины — сопки. Ближе — черные, дальше — синие, а совсем далеко — голубые. На сопках — опять тайга.

Большая река Нота, а Улахэ еще больше. Нота идет в Улахэ на полтораста верст ниже Сандагоу, и в этом месте — Самарка. Есть еще ключ Садучар. Он пришел из голубых Сихотэ-Алиньских отрогов и вынес в самое сердце хлебных полей хвойный пихтовый клен. Растрепал Нотовы берега, взбаламутил спокойную воду, натащил тяжелых таежных карчей. Садучар — холодный и суровый красавец.

— Будем воевать,— сказал Жмыхов, заслышав его пенокипящий гул.

Он переменился с дочерью местами, снял снаряжение и засучил рукава. Были у него волосатые и жилистые руки.

Палило огнем вечернее солнце, дымилось небо тонкой пеленой, и воздух, полный невидимого речного пара, стоял неподвижен и густ. Волос Жмыхова горел на солнце золотой чешуей, а у дочери волос черный не мог спрятаться под кожаной шапкой. Кофта у нее совсем

расстегнулась, и груди виднелись — румяные загорелые яблоки.

Темный пихтовый клин в пожелтевшей долине бежал на лодку. Садучар ревел тайфуном, пенился белыми сихотэ-алиньскими облаками. Лодка дрожала и металась на волнах, как испуганный конь, и резала кипучую пену. Каня опустилась задом на пятки и влипла коленями в днище. Был у нее монгольский пронизывающий глаз. Жмыхов впивался в реку веслом и кричал:

— Загребай нос!

Каня крепче врастала коленями в лодку, а руки ее действовали верно и точно, как железные рычаги машины. И когда, под самым обрывом, кренясь и поскрипывая бортами, судно пролетело наконец Садучарово устье, она откинулась на спину и засмеялась громко и весело.

— Ловкачи мы! — крикнула отцу сквозь смех из-за белых зубов и потянулась, свежая и гибкая, как улахинский кишмиш.— Нас голыми руками не возьмешь,— добавила горделиво.

— Ясное дело,— согласился Жмыхов привычной фразой.

Вспотевшее лицо его бронзовело под золотистой шапкой волос, и широкая грудь, курчавясь мхом в прорези воротника, вздувалась, как кузнечный мех.

3

Нота разрезала Самарку на две части. Человек на берегу мочил дубовые бочки в речном затоне.

— Эй, здорово! — крикнул ему Жмыхов.

Человек приподнялся и, прикрыв глаза от солнца мокрой рукой, долго рассматривал сидящих в лодке.

— Кажись, Король? — сказал он наконец.— Ну-ну, доброго здоровья тебе,— и тотчас же добавил: — и дочке твоей.

— Стрюк дома?..

— Со съезда приехал — все дома. Слышишь, в кузне гукает.

— С какого съезда? — удивился Жмыхов.

Но бондарь уже нагнулся и не слышал его.

Бабы стирали на плотах белье. Загорелые мальчишки барахтались в воде. В знойном мареве плавали позолоченные купола деревенской церкви. Жмыхов обогнул причал и пристал прямо у стрюковской кузницы.

— Кузнец!..— позвала Каня Стрюка. После победы над Садучаром она чувствовала во всем теле избыток молодой и задорной силы.

Стрюк вышел из кузницы. Был он низкого роста, но коренастый, с чрезмерно длинными руками и мощными ладонями.

— Те-те-те...— защелкал он языком, стараясь изобразить на лице удивление.— Приехал Король и козу свою привел?.. Ладно. Куды, в Сундугу собрались? Русские улахинцы звали волостное село не Сандагоу, а Сундуга.

— Есть такое дело,— в тон ему ответила Каня.

— Ну, тогда сбирай манатки, ночью дождь будет.

— Ясное дело,— подтвердил Жмыхов.

— Не ясное, а хмарное,— пошутил Стрюк, втаскивая лодку на берег.— Айда-те!..

4

Дома Стрюк рассказал Жмыхову все новости. А новостей было много. Прежде всего, у Стрюка оказалось несколько майских газет, в которых только и толковали о выборах во Всероссийское учредительное собрание. Сами выборы предполагались осенью. И так как газеты у Стрюка были самые разнообразные, то Жмыхов имел возможность познакомиться с тем, как смотрят на это дело разные люди.

Правда, разобраться в тонкостях он не мог: различных оттенков было множество. Так, например, на одних газетах сразу под заголовком большими черными буквами красовались лозунги: «Война до победного конца! Вся власть Временному правительству!» А на других: «Война до конца за мир без захватов и контрибуций!», но зато — «Да здравствует демократическая республика!» На третьих стояло: «Долой кровавую бойню! Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!» Впрочем, много встречалось и иных. Когда месяца два тому назад Жмыхов читал мартовские газе-

ты, такой неразберихой как будто бы и не пахло. Но уже и тогда начинали поругивать неизвестных большевиков.

— А ты как смотришь на это дело? — спросил Жмыхов у Стрюка.

— А как смотрю! — сказал кузнец.— У меня два сына на фронте. Хозяйство, знаешь, невелико, а прыгаю, как белка на сосне... Войну кончать пора — вот как смотрю!.. Нам с ней одно горе.

Стрюк говорил строго, а глаза под колючими ершами вместо бровей мигали весело.

— Учредительное собрание...— рассуждал Жмыхов.— Откудова этакое выскочило?.. Живем, как азияты — ясное дело...

— Н-да... В волость съездишь, узнаешь. Там поди известно.

Хитрый мужик Стрюк. Улыбку спрятал в бороду, а борода у него что трава на кочке.

— На съезд волостной я ездил... Вот где дела — так да-а...

Он рассказал Жмыхову о последних событиях в волости.

— Копая жирного знаешь? Этому за всех попало. Заседали в воскресенье, а в селе станковые со Свиягинской лесопилки гуляли. Рабочий народ, известно... До девок больше. Отмутили лавочника по первое число, как же. Взятошник...

— Их вражда старая,— пояснил Жмыхов.— Копай на лесопилку муку поставлял. Мало что подмоченную, а говорят, ржаную промеж пшеничных кулей подсовывал. Жулик известный.

— А ты слушай,— продолжал Стрюк.— Большевик, говорят, Неретенок-то?..

Он лукаво прищурился и выжидательно посмотрел на Жмыхова. «Хитрый мужик, все знает»,— подумал Жмыхов, а вслух сказал:

— Дела...

5

Кузнецовы бабы вернулись с поля. Темнело. Мальчишки на улице с трудом доигрывали в городки. В растворенные окна хаты вместе с необычной духотой

вечера врывались их звонкие голоса и удары палок по рюхам.

К Стрюку пришел самарский священник, отец Тимофей.

— Здоровеньки булы! — рявкнул он тяжелым медвежьим басом, снимая в сенях дырявую соломенную шляпу.— Завтра дождь будет — солнце садилось в тучу.

Кузнецова мать, рассыпчатая старуха, подошла к нему под благословение.

— Брось, стара, излышний машкерад, ну его к бису! — сказал он насмешливо. И добавил по-русски: — Тебе, может, забава, а мне-то уж надоело. Дура...

— Ах ты безбожник! — обиделась старуха.— А еще поп! Вон с тем чертом два сапога пара,— указала она на сына.

— Не любят нас с тобой старухи,— сказал отец Тимофей Стрюку.— А по всему, должны бы старухи попа уважать. В других местах так водится. Впрочем, каков приход, таков и поп... Я к тебе, лесная твоя душа,— обратился отец Тимофей к Жмыхову.

Он сел рядом на лавку и, вытащив из рваного подрясника кисет, стал вертеть грубыми и желтыми, как ореховое лыко, пальцами толстую цигарку.

— Ты что? Уже?..— спросил Стрюк, подмигивая.

— Ни синь пороха... Я в поле был.— Он заклеил цигарку и задымил.— Гречка моя не всходила, а пшеница на низу лучше других. Огурцы пропали, попадья плачет. Дура...

Были у попа игривые черные брови, полтавские глаза и нос большой и мясистый, цвета пареной луковицы. Он косился на Каню и часто сморкался в изнанку подрясника.

— Так вот, к тебе,—снова обратился он к Жмыхову.— Возьми меня в Сундугу. Едешь, говорят?

— Вещей много?

— Вещей?! Чу-дак!..

Отец Тимофей расхохотался и долго кашлял, поперхнувшись дымом. Кашель его был откровенен и весел, как смех. Пахло от попа землей, самогонкой и библией, и был он так же жизнелюбив, пьян и мудр.

— Вещей... Чудак!.. Что я, невеста с приданым, што ли? Мне за жалованьем съездить.

— А платят?

— Платят. Дурни...

— Эт-та поумнеют,— сказал Стрюк резонно.

— А мне хоть бы хны,— усмехнулся поп.— Подрясник сбросил, волосы подстриг, а пашня у меня своя. Гуляй — не хочу.

Стрюк взял со стола первую попавшуюся газету и сунул ее священнику.

— Ну их к бису,— отмахнулся отец Тимофей,— я их и раньше не читал... Так возьмешь? Нет? — насел он на Жмыхова.

— Ясное дело, возьму. Приходи завтра со светом.

— Ладно... Дочка-то у тебя, а? Выросла...

— Выросла, да не для тебя,— съязвила Каня.

— Я и не говорю, что для меня. Дура...

Он расправил плечи, потянулся и зевнул.

— Людская глупость навевает скуку,— сказал безобидно.— Пойду...

И когда сенная дверь захлопнулась за ним, кузнец сказал:

— Чудак поп, а на работе лучше мужика.

6

С полночи зацедил дождь, упорный и однообразный. Несмотря на уговоры Стрюка, Жмыхов выехал на рассвете мокрого и скользкого утра. Отец Тимофей прибежал еще затемно со сверточком под мышкой.

— Где остановишься в Сундуге-то? — спросил Жмыхов.— У отца Ивана, што ли?

— Ну, нет...— забасил отец Тимофей.— Я, знаешь, со всеми сандагоускими попами в «дружбе».

Он захохотал откровенно и весело, как всегда, разбрызгивая бородой дождевые капли.

— Не любят они меня, гусятники святые.

Подыматься по Улахэ было труднее. Течение постоянно сбивало лодку. Требовалось полное разделение труда. Каня сидела у рулевого весла, а Жмыхов с попом менялись. Работали то шестами, то веслами, но в некоторых местах приходилось брать и то и другое. Река обмелела, и лодка садилась на перекатах. Они слезали в воду и тащили ее на канате.

Разница между речной и дождевой водой терялась, и казалось, что воздух улетучился, а люди движутся с головой в воде и дышат ею.

Отец Тимофей скинул подрясник и неприлично ругался.

— Чего рыбу глушишь? — смеялась Каня.— Это тебе не в церкви, чертово кадило!

Отец Тимофей шлепал ее по спине тяжелой ладонью.

— Буйные у тебя телеса, девка. Кому в жены достанешься?..

— Медведю!

— То-то порадуешь старика.

Но к вечеру желание шутить пропало. Лица синели, коченели руки, с трудом сгибались и разгибались пальцы.

7

Третью ночь они провели в фанзе старшего племянника Тун-ло. Сам старик отдыхал там же и посоветовал Жмыхову не ехать дальше.

— Ты видишь, Улахэ вздулась. Живи здесь. Тун-ло все знает. Река клохчет, как наседка. Вверху затор. Если хочешь знать где, Тун-ло скажет: в Боголюбовской перемычке. Тун-ло все знает. Так было много лет назад, когда друг еще не родился. Половина долины поплывет, но фанза Тун-ло останется, потому что она на холме.

Старый гольд хорошо говорил по-русски, и слова его звучали уверенно. Но Жмыхов знал, что промедление грозит лишними неделями, и жалел время.

— Успеем,— ответил он гольду.— Помнишь, как мы плавали с тобой? Тогда мы ни черта не боялись. Амур страшнее Улахи, и Улаха меньше Аргуни.

— Да, Аргунь...— сказал Тун-ло задумчиво.— Оттуда ты привез бабушку, и она осрамила этой весной охотника Тун-ло. Но Тун-ло уже стар...

Утром гольд слез с теплого кана, насыпал в мешок чумизы и принялся за чистку ружья.

— Куда ты? — спросила Каня.

— Теплая циновка портит охотничьи кости,— сказал старик.— Тун-ло поедет с другом. У него есть в волости дела.

И он действительно поплыл вместе с Жмыховым, загадочный и спокойный, как каменный божок у фанзы племянника.

Река почти сравнялась с берегами и рвалась из невидимых оков стремительней и бурливей, чем когда бы то ни было. В последний день пути им пришлось особенно тяжело. Сказывалась близость верховьев, а лодка пропиталась водой и стала громоздкой. Сбиваемая спереди речным течением и подгоняемая сзади широкими веслами, она дрожала на мутных волнах тяжелой лихорадочной дрожью, продвигаясь не более одной версты в час.

Таким образом, в последний день они сильно запоздали. Мускулы их слабели с каждым напряжением, невыносимо ныли ключицы, и тела — обессиленные человеческие тела — жадно просили отдыха. Но у таежного человека воля крепка и сурова. Она преодолевает и физическую слабость, и ярость скованной в верховьях реки, и ядовитый скользкий мрак дождливой ночи. Она проводит человека через голубые заоблачные хребты, заставляет его бодрствовать многие сутки, выслеживая зверя, и толкает его в бой так же легко, как в теплую женину постель.

И глаз у таежного человека остер, и пуля из его ружья верна, и взгляд его горд и спокоен, потому что воля его густа, как кровь, а кровь ярка и червонна, как тетюхинская руда.

— Наляжь! — кричал Жмыхов властно.— Р-раз... р-раз... Право руля, девка!.. Р-раз...

Впереди, у невидимого речного колена, в холодной дождливой мгле приветливо мигали желтые огни Сандагоу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Когда начались дожди, таксатор Вахович смотал походные палатки и вернулся в Сандагоу. Харитону дома делать было нечего. Смоляной запах и старые звериные следы тянули его глубже в чащи. Таксатор

предложил ему отыскать забытую охотничью тропу южнее вершины Лейборадзы.

Попутчиком вызвался Антон Дегтярев. Они сошлись быстро. Оба были рослые, широкоплечие и мускулистые парни, с быстрыми глазами; от обоих веяло сочной ядреной крепостью молодых ясеней.

— Чем баб щупать, лучше медведя затаежим,— предложил Харитон. И Дегтярев согласился.

Оба они знали наперечет охотничьи зимовья, шалаши, фанзы, людские и звериные тропы, ключи, овраги и таежные болота, и в угрюмой глуши беспрерывный холодный дождь показался им неопасным. Они переплыли бурные воды Сыдагоу на двух связанных лимонником бревнах, пристрелили застрявшую с испугу в корявом буреломе козулю и в балке у заброшенного китайского шалаша развели свой первый костер. Шалаш был сделан из кедровой коры, крепко сшит ореховым лыком, а широкая берестина, выдавшаяся вперед в виде навеса, прикрывала огонь от дождя.

— Сушись, братва, завтра снова мокнуть,— пошутил Антон, стаскивая с себя всю одежду.— Радуйся, отче Харитоне, комаров нетути,— дождем побило.

Обучался раньше Антон в лесной школе, а под народный язык подделывался.

Он устроил у огня деревянные вилки и развесил белье сушиться. Харитон последовал его примеру. Костер обдавал шалаш банным жаром. Были парни широкогруды и мохнаты, как изюбры.

Дегтярев сбегал голый за водой и прибежал весь мокрый, рыча и фыркая. Он стал сушиться у огня, опалил колено и выругался по-матерному. Тонкие ломти мяса в лопушином листе отправил в золу. Привычному человеку в тайге сытнее, чем дома.

И когда наелись и надели просохшие манатки, Харитон сказал:

— Хорошо женатому человеку!

И не объяснил, почему.

— Это ерунда,— возразил Дегтярев,— какой, по-твоему, человек женат?

— А ты не знаешь, какой? — усмехнулся Кислый.

— Нет, все-таки?

— Ну, известно, у кого жена и вообще... детишки там разные и все такое...

— Посуда, хата, постель одна и вши одной породы?..— допытывался Дегтярев.

— Нет,— отрезал Харитон строго.— Жена вообще — помощница. Жена!.. Пойми, дурак!

— Выходит, что ты сам пень. А человек хороший. Люблю.

Сказал Антон чудно, но слова были теплые. И тогда Харитон объяснил:

— Тридцать годов мне, понимаешь? Имею только вот это...— Он вытянул вперед руки, черные, как сковороды, и потряс ими в воздухе.— Четвертый год хожу возле Вдовиной Марины. Батька не дает. Говорит: «Я гол, а ты голее». И Марина не идет, говорит: «У тебя чуб седой».— Он сорвал с головы фуражку и, блеснув на огне седозвездой прядью, добавил: — А мне страдай...

Антон вспомнил весеннее девичье дыхание, полный податливый стан Марины под рукой, терпкий запах прошлогоднего сена.

— Выходит, что не везет,— промолвил. Свистнул и опять промолвил: — А мне и без жены хорошо. Сытый голодного не разумеет. Это еще, наверно, в священном писании сказано.

Харитон не знал, чем сыт его спутник, и говорил много. Слова — тяжелые камни — падали на кедровый подстил, не производя впечатления. И под их нудное гуканье Антон заснул. Были у него буйные русые волосы, вымазавшиеся за ночь в кедровой смоле подстила.

2

На другой день по непролазным кедровым стланцам они перевалили Лейборадзу.

Забытую охотничью тропу нашли быстро. Она заросла более светлым пырником и папоротью и выделялась резко. Они наделали зарубок и пошли назад. На этот раз не перевалили отрог, а обогнули его западней. На востоке, красуясь поснежевшей вершиной Лейборадзы, темнел становик Сихотэ-Алиня. На всем обратном пути засекали насечки и ставили вехи. Идти стало

труднее. Ноги скользили в траве, не давая шагнуть широко. Ключи вздулись и мутно ревели, волоча громадные слизкие камни да черные валежины. Более крупные ручьи плавили вниз целые плоты сухостоя и вырванного с корнем ельника. Болота заозерели, а дождь не прекращался.

Антон и Кислый перебирались по кедрачу, как белки. «Как-то там Неретин?» — думал Харитон. Он снова набрался сил и чувствовал позыв к работе и людям. Хотелось поговорить еще об одном заветном, и он пощупал Дегтярева.

— Политикой интересуешься? — спросил у него.

— Нет,— ответил Антон добродушно.

Он пел всю дорогу какие-то необычные песни и часто кричал без видимых причин. Любил человек звук своего голоса.

— Чем же интересуешься?

— Собой... зверем... тайгой...

— А людьми?

— Мало. Разве вот бабами.— И он захохотал бескручинно-широким, разливистым хохотом.

— Зря,— солидно заметил Харитон,— политика не мешает бабе.

— А баба политике мешает. Только я не потому, а так... Если драться будете, буду там, где ты.

— Молодец,— похвалил Харитон отечески.— Я уж дрался, жаль, тебя не было.

Они с трудом переправились через Сыдагоу и вышли в долину верст на тридцать ниже прежней стоянки таксатора. В Боголюбовской перемычке образовался гигантский затор, и вся верхняя падь превратилась в бушующее озеро, по которому плавали корейские фанзы и чьи-то белые шаровары на черных обломках, казавшиеся издали парой лебедей.

У берега в густых карчах запуталась выдолбленная душегубка.

— Это нашему козырю в масть,— обрадовался Антон.

Они вытащили лодку на берег и, смастерив кинжалами весла, в один день спустились по мятежной Улахэ в Сандагоу.

Вечер был праздничный. Переодевшись и закусив, оба ввалились к девчатам у солдатки Василисы, наполнив избу здоровым молодым хохотом.

3

На вечерке танцевали парни с девчатами польку. Дробно отстукивали большими сапогами чечетку, а у девчат юбки, длинные и широкие, так и плавали по избе.

У солдатки Василисы на постоялом дворе — три отделения. Одно — кухня для стряпни, другое — для постояльцев отдельные комнатки, а третье — для вечерок. С дождями таксатор перебрался во второе. Рабочие остались в палатках. Таксатор был молодой, но до девок труслив. Примостился на вечерке в углу, даже рот раскрыл, и текли по рыжей бородке слюни.

У Дегтярева глаз голубой, как далекие сопки, а у Кислого — серый и напористый, как вода. «Который? — подумала Марина, и где-то екнуло: — Дегтярев...» Стрельнула глазом влево и вправо, а Дегтярев уж рядом. Щека давно не брита — колется, и от волос кедровой смолой пахнет.

— Мотри, Харитон-то побьет,— шепнула.

— Не побьет, мы с ним приятели.

— Мельника побил...

— Мельника — не за тебя, за политику.

— И за меня тоже...

Сказала немного с гордостью, и Антон удивился.

Кислый драться был неохоч. Смотрел на них мельком, в танце, уголками глаз, и было ему обидно. Обидно было потому, что рус у Марины волос и румяны щеки, и потому еще, что сам он здоров и в летах, и три года из-за нее к девкам не ходил, хоть и тянуло. И только сейчас стало обидно еще за то, что Дегтярев в тайге сказал: «Сытый голодного не разумеет».

А Митька Косой, присяжный запевала, взял Харитона под руку и на заросшее волосом ухо сказал:

— Не стоит глядеть, птичка-то не для тебя.

— А для кого же?..

Митька отвел глаза в сторону и хитро ответил:

— Как Вавилу побил — на вечерки ходить боится...

— Ну и что же?.. За Вавилу она все одно не пойдет — дурная хворь у мельника.

— А кошелек толстый.

— Ерунда...

— Дело твое, а только, думаю, зря в монахи записался. Иль, окромя Марины, баб нету? Вон Василиса давно млеет.

Бровь у Митьки рыжая, а лицо в веснушках. Мигнул Харитону и пугнул его в непотребное место:

— У-у... душа с тебя вон... Симферополь!..

Веселый парень был.

4

На улице исходило холодным дождем небо. Когда открывали дверь, звук дождя был — точно стучала молотилка на осеннем току. Разве только хлюпало немного, а на току звук бывает сухой и четкий. Таксатор вспомнил, как прошлый год осенью, просекая ивняк, вышли через ключ к току. Молотилок в Сандагоуской волости мало. Ток был сельца Утесного — молотила вся деревня. Снопы в машину направлял хозяин Кривуля. Кричал:

— Гони, гони... э-эй!..

Мальчишка, голый по пояс, стегал коней волосяным кнутом, и кони ходили в мыле.

— Помогай бог,— сказал таксатор.

— Бог помогает, помоги ты,— засмеялся Кривуля. И, сдувая с лица полову и пыль: — Ну-ка, барин... городской... в пуговицах... растрясай снопы... Нут-ка-а!.. Эй, гони-и... Штоб вас язвило!..

Бабы и девки подавали развязанные снопы, а мужики с парнями оттаскивали солому. Было тогда таксатору стыдно и немножко завидно.

И потому, когда дверь открылась и снова застучала молотилка, а голос на крыльце сказал (был голос так же весел, как у Кривули): «Пойдем сюда, отец Тимофей»,— и другой на дворе ответил: «Пойду к Харитону»,— таксатор вздрогнул и смутился.

Но был это не Кривуля, а кто-то другой — большой человек широкой кости, без шапки, и за ним девка

с ружьем, в короткой юбке не сандагоуского фасона. Гармонь оборвалась, и вся вечерка сказала:

— Жмыхов...

Пошли с одежды по полу темные струи дождевой воды, подмывая подсолнушную шелуху, а Жмыхов брякнул:

— Делу время, а потехе час! — вместо приветствия.

— И несло ж тебя в такую пору!

— Кой шут несло! Супротив воды перли, ясное дело. Запрягай лошадь, лодку привезть. Неравно снесет — другой не сделаете. Знаю.

— Беги, Гаврюшка, жива-а,— ткнула солдатка сына.

— Отца Тимофея привез. Пошел к Харитону. Харитон здесь, што ли?..

— Здесь...

— Айда вдвоем, лошадь заложить поможешь. Экий дождь сыплет...

Они вышли вслед за Гаврюшкой, а Каня осталась. Под рукой у Дегтярева неровно и тепло дышала Марина. Сопели, как кабаны, лесовики, и девки со сладким хрустом щелкали подсолнухи.

— Отожми воду, девка,— сказала Василиса,— я комнату приготовлю.

Она ушла, широко разбрасывая ноги, покачивая тяжелыми мясистыми бедрами, а Каня, приставив свой винчестер к отцовскому, закрутила подол. Высоко поднять стыдилась и крутила согнувшись. Были у нее упругие икры, уверенный крепкий стан и плечи широкие — в отца. Вода растекалась по полу у порога, густая, как лампадное масло, и косы свесились в него тугими фитилями. Волос в косах вороной и жесткий, как у лошади.

«Хороша девка из тайги»,— подумал Антон.

А Кане под чужими глазами было неловко. Все же оправилась быстро. Людей, как и зверя, не боялась. Выпрямилась, сорвала с головы шапку и давай об косяк оббивать. Била сильно, отчего весь корпус ходил, а под мокрой рубахой дрожали сосочки.

— Глаза с косиной,— шептались девки.

— Видно, ороченка...

— Юбочка-то коротка, и улы на босу ногу...

— Здоровая...

— Иди сюда, девка! — крикнула солдатка из комнаты.

— Куда идти-то?..

— Никуда не ходи,— ввязался Митька,— гуляй здесь! А ружья брось. Девке с ружом не полагатся...

— Ишь шустрый какой,— отрезала Каня.— Не тебе ж ружья дать? С тебя и бабьего веретена хватит.

— Ай, девка!.. Сладка да горяча, как пирог,— жжется. Дай хоть буфера поглядеть, какого заводу...

— Иди, иди! Я те ребра-то поломаю!..

У девок да баб круговая порука. Напали на Митьку девчата. Мало рыжего чуба не выдрали, а парням хоть бы что.

Только когда Каня ушла, почувствовал Дегтярев, что под рукой у него тело чужое. Что сноп, что девка — разницы никакой. И второй раз за вечер удивился. Потом лезли в голову разные мысли. Неясные, как махорочный дым. Вспомнил, что у Марины рубахи потные, и подумал, что, может, сноп-то под рукой держать веселей. И еще: «Хоть из тайги, а такая же баба... ерунда». Хотел всякие мысли прогнать и два раза танцевал, а все же шевелилось где-то желание, чтоб Жмыхов задержался. Таксатора Антон не любил, а как ушел таксатор на свою половину, почему-то заныло. У Василисы спросил:

— Где у тебя воды испить?

— Ступай на кухню!

Но до кухни не дошел. Нудно скрипели половицы. В дощатых комнатах щели большие. Из одной комнаты валило тепло, и кто-то сонный дышал. Посмотрел в щелку. Топилась железная печка, а над ней на веревке — бабья одежда. Капала на печку с одежи вода, и с каждой каплей... ш... шип... ш... шип... Спит девка на спине, одеяло по шею — ничего не увидишь. Только где грудь — манящий колышется бугорок да падает с лампы свет на лицо. На лице резко обозначены скулы и длинные ресницы, что черный бархат.

— Эх, девка таежная, ядрена-зелена!..

А в соседней комнате что-то зашуршало. Повел глазами и в щели слева увидел знакомые таксаторовы зенки. Трусливые и бесстыжие, с мутью.

— Смотрит, кисель... Тьфу!.. А ну вас всех к черту, дьяволы!..— громко сказал Антон.

Назад пошел веселый.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Когда утром проснулся в палатке, Дегтярев почувствовал — что-то переменилось. Был брезент вверху не грязен, а желт, и на желтом тихо играли кленовые листья. Выскочил — вверх уплывало небо, и солнце резвилось зайцами по мокрому листу. Солдаткин луг оделся травой по колено, и за лугом, что кончался в ста саженях обрывом, дымилась утренним паром глина. Сладко шумела кривоствольная забока [1], и, перебивая ее, сердито урчала невидная за забокой Улахэ. Чудились за рекой поля со вспрыгнувшей кверху пшеницей, а за полями качались в дрожащем воздухе сопки, чернея чужими заплатами прибитого к земле пепла.

Он быстро скинул рубаху и побежал к колодцу. Долго с приятной дрожью полоскался в корыте для лошадей, покрываясь пупырчиками, как гусь, и, ничего не поев, накинул пиджак, пошел к парому.

Тун-ло переночевал в фанзе паромщика, встретился на дороге. Постояли в коричневой дорожной грязи, поговорили — так, ни о чем. С людьми встречаться не хотелось. Антон свернул с дороги и, пропитав росою штаны, вышел ниже речного колена. Оглянулся. Где кончалась забока, дымила черной трубой паромщикова фанза. На холмах паслись коровами сандагоуские избы, и церковный крест блестел на солнце, как игла. Из деревни по дороге к парому гусеницами ползли телеги. Глянул вниз — расстилалась меж раздавшихся сопок с помутневшей и вздувшейся пеной рекой васильковая, пахучая, хлебная, зеленоросая падь. Зуд пошел от сердца к голове и вниз через колени к пяткам. Сбежал на припек, развалился и, чувствуя, как млеет от сырости спина, долго лежал, ни о чем не думая. Только раза два вспомнил почему-то Каню и тогда улыбался.

Тун-ло встретил по дороге не одну подводу.

2

Тянулись мужики на поля с палатками на ночь, с сапками, с косами. Хоть не пришел Петров день, да буйная выросла за дожди трава. Тянулись с мужиками

[1] Долинный лиственный лес. (*Прим. А. Фадеева.*)

и бабы. У баб в телегах зыбки, а в зыбках ребята. Ребята кричали и вместо сосок давали им бабы черный хлебный мякиш, смоченный слюной.

Тун-ло останавливался у каждой подводы и говорил:

— Не нужно ехать. Сегодня днем или ночью придет большая вода. Тун-ло знает. Никто не вернется домой. Много будет сирот в долине.

С гольдом приветливо здоровались, но назад никто не возвращался. Большая вода приходит постепенно, а баштаны оправились и заросли бурьяном. Не затем бог дал дождя, чтобы все труды пропали из-за травы. Тун-ло не любил повторять одну вещь одним людям два раза. Но следующей подводе говорил то же самое. Однако и следующие подводы ехали дальше.

Всякий гольд думает мало, больше созерцает. Но Тун-ло думал. Он думал, что среди русских людей много глупых и что, может быть, будет лучше, если их убавится.

В волостном правлении у Неретина застал старик Жмыхова.

— Посиди,— сказал ему Неретин.

Тун-ло снял шапочку, достал из синих шаровар трубку, длинную и тонкую, как соломина, с блестящим чубуком. Закурил, сочно причмокивая губами. Губы у гольда тонкие, обветренные, в красной шелухе, и голова белая, как дым.

Жмыхов говорил:

— И еще, Иван Кириллыч, зря пущаешь в волость разные газеты. Ни черта не поймешь — ясное дело. Присылал бы уж которую одну. Получше. Тебе поди известно. А то — и контрибуции, и «Голос» какой-то, и учредительное собрание — черт-и поймешь...

— Насчет газет верно,— сказал Неретин.— Это наша ошибка. Исправим. Один ведь работаю, пойми, а делов много.

— А Кислый?..

— От Кислого по способностям. Так и со всякого другого. Тут поумней нашего люди нужны, только не идут. Сволочи.

Жмыхов посмотрел на ноготь большого пальца и, снимая отросшую черную каемку, спросил:

— И к чему придем?

Неретин вспомнил почему-то приходившего утром отца Тимофея. Лукавые его полтавские глаза особенно. Сказал, тихо посмеиваясь:

— Попа ты привез. Был он сегодня. Чудной. «Кончились вам денежки»,— говорю, а он: «Знаю, мне, мол, Жмыхов со Стрюком еще в Самаре сказывали».— «Зачем же ехали?» — говорю. «Прополоскаться, говорит, на одном месте надоедает...»

И вдруг схватив на столе газету, крикнул Неретин, брызнув упоенно слюною:

— Вот к чему придем! Понимаешь?..— и подчеркнул ногтем: «Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».— Это сначала, а потом дальше...

Называлась газета — «Красное знамя».

Жмыхов долго молчал и думал, мигая седыми корявыми веками, бесстрастно сопел трубкой Тун-ло. Гольд мало думает, больше созерцает. Жмыхов снял черную каемку с другого ногтя. Медленно вытаскивая из головы слова, сказал:

— Понимаю снаружи... суть не понятна... Скажи...

— Суть бо-ольшая. Рассказывать все долго, а немного — можно. Если староверов-стодесятинников за землицу пощупаем, плохо?..

— Н-не знаю...

— А когда мельницу и лавку отобрать хотел, тоже плохо?

— Мельницу и лавку?..— повел Жмыхов бровью и гаркнул прямо от сердца: — Хорошо!.. Ясное дело! Потому хозяева — жулики.

— Нет, не потому. Все, друже, хозяева — жулики. Ты не подумай, что мужики не жулики. А ихнего не возьмем.

— Тут без полбутылки не разберешься,— пошутил Жмыхов.

— А ты подумай... Или, лучше, почитай — ведь грамотный?

— Ясное дело, грамотный, других учил.

Выдвинул Иван Кириллыч из стола скрипучий ящик и сунул леснику потрепанную книжонку.

— На, почитай.

Жмыхов взял книжонку и листнул раза два волосатыми пальцами. Заинтересовался. «Прочесть,— подумал,— дома».

— А тебе, старик, что? — спросил Неретин гольда.

3

Тун-ло вынул трубку. Было ему девяносто три года, а зубы еще сохранились, только черные.

— Приехал я к тебе по большому делу,— сказал Тун-ло.— Ты прогнал объездчика, и это хорошо. Только это — половина дела.

— Говори.

— Земля, на которой живешь, была наша. Мой брат Су-и теперь помер. Семьдесят лет назад ушел он на Сунгари. Детей Су-и прогнали китайцы. Дети Су-и пахали потом землю на Улахэ... Говорить буду много. Слушать будешь?

— Говори, говори — я слушаю...

— На Улахэ гольдов много. Таких, как я,— в тайге, и таких, как Су-и и его дети,— на земле. Земля была наша. Потом пришли русские. Русские взяли всю землю. Русские были сильнее, потому что их было больше. Когда твой отец был один, мы его не трогали. Но русские взяли всю землю, потому что стали сильнее. Так всегда бывает. Тун-ло знает. Говорить еще?..

— Говори до конца.

— Нехороший порядок. Теперь гольд платит за землю. Гольд платит за фанзу, хотя делает ее сам из своего леса и своей глины. Нехороший порядок. Когда платит гольд за фанзу, платит за кан, за окна, за двери, за трубу — везде по-разному. Как русский хозяин хочет. Умирают гольды. Тун-ло думает, это нехорошо. Тун-ло слыхал, теперь порядок будет другой. Что думает сделать Неретин для гольдов?

Иван Кириллыч долго молчал.

— Жмыхов! Ты, говорят, человек не болтливый,— сказал он наконец.— Что расскажу, никому ни-ни...

— Ну-у... Ясное дело...— обиделся Жмыхов.

Неретин прихлопнул дверь в канцелярию, откуда слышались чужие голоса.

— Слушай, Тун-ло,— он подошел к гольду вплотную и положил ему руку на плечо.— Земли у нас мно-

го, правда? Земли всем должно хватить. Ты спрашиваешь, что думает сделать Неретин для гольдов?.. Неретин думает сделать для гольдов, русских, корейцев, китайцев, орочен и всех, кто там еще есть, одинаковый закон. Понял?

От неожиданности Тун-ло встал. Седые веки поднялись выше обычного, и прямо в неретинские (с синью) глаза глянули зеленоватые сухие и пыльные глаза гольда: «Обманывает или правда?» И потому, что был Иван Кириллыч весел, без лукавства, и глаз своих не опустил, подумал Тун-ло: «Может быть, правда».

— Только сразу не выйдет,— сказал Иван Кириллыч.— Я раньше все сразу думал,— теперь научился. Постепенно надо. Сначала арендную плату уменьшим, потом еще что-нибудь... Здорово?

Смотрел Жмыхов на председателя и думал, что задолго до тех дней, как уменьшится арендная плата, свернут ему сандагоуцы каштановую голову. И было Жмыхову жалко и каштановой председательской головы и того, что долго еще без этой головы не уменьшится для гольда арендная плата. Но Тун-ло остался доволен.

— Торопиться не надо,— сказал он Неретину.— Когда за зверем ходишь, никогда не торопишься. Один закон для всех сделать труднее, чем ходить за зверем. Тун-ло знает.

Неретин говорил еще много и радовался тому, что слова идут самые нужные, хорошие и крепкие. Тун-ло молчал, потому что не любил об одном деле одним людям напоминать два раза, а других дел у него сегодня не было.

— Пойдем, старик,— сказал ему Жмыхов, когда Неретин кончил,— порадуй племяшей. Скажи, штоб председателю помогали... Эх, и вода на днях придет, Иван Кириллыч,— многим хлебам капут! Прощевай...

Когда шагали по улице по теплым слюдяным лужам, лопались на кустах заново разбухшие почки.

— Большие дела в волости будут,— вслух размышлял Жмыхов,— все перевернулось, ясное дело.

Шуршали, как мыши, широкие гольдские шаровары. На голове у гольда черная шапочка с нитяной пуговицей на макушке, а что в голове — неизвестно. Ведь гольд мало думает, больше созерцает.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вечером того дня била старшего сынишку учительница Баркова.

— Говорила тебе, сукин сын, приходи к обеду... приходи к обеду, выкидыш засохший!..

Учительница Баркова, толстая сибирская баба, так и плывет. Живот у нее большой, отвис, как торба с хлебом,— через неделю четвертым отпрыском разрешится.

Другой сынишка — толстопузый и низколобый, в мать — тоже прутик взял. Весело лупил табуретку:

— Плиходи к обеду, плиходи к обеду...

Ручонки у него короткие и пухлые, никак матери в такт не попадает.

— Не бу... уду!!! — вопил старший.

— Черт бы их взял! — сказал в соседней комнате учитель Барков. Сморщился от внутренней боли и собственного бессилия. Нервно сорвал с гвоздя фуражку, пошел к Копаю на квартиру.

Опасаясь разлива, с копаевских рыбалок свозили под навес лодки. Большие смоленые плоскодонки, как гробы. Под другим навесом блестящие новые бочки для рыбной засолки. Рабочих на копаевских рыбалках восемнадцать человек.

Копай-лавочник на дворе кричал:

— Укладывай ровней!.. Голоштанники!.. Не вместятся под навес лодки-то, половины нет!..

Были у Копая сильные кабаньи челюсти и такой же жирный хозяйственный голос.

«Опять идет,— подумал он с неудовольствием, увидев Баркова,— задолжал уж, и не считай: все равно не заплатит». Однако Барков мог еще понадобиться.

— Здорово, Сергей Исаич,— бросил ему с оттенком приветствия,— проходи в избу.

Было Баркову, как всегда, стыдно идти на чужую водку и хлеб, и, как всегда, подумав с жалобной злобой: «Черт с ним... вместе крали...» — он все-таки пошел.

— Лодки свезти успеем? — спросил Копай у артельщика.

— На чаишко бы надо,— подмигнул тот.

«Я бы вам дал чаишко»,— подумал Копай. Грузно вздохнул.

— Скажи, четвертную поставлю,— уронил со сдержанным неудовольствием. И снова подумал: «Теперь с человеком добрым нужно быть». Насупил брови, пошел в избу.

Учитель Сергей Барков пьянствовал у Копая-лавочника всю ночь.

Ложась спать, учительница долго крестилась. «Опять нет»,— думала про мужа. Хотелось драться и плакать. Засыпая, решила с завтрашнего дня приглашать на ночь повитуху. Конечно, через неделю должно, а не ровен час... кто ж его знает.

2

Снился ночью Барковой сон. Даже не сон, а так — что-то непонятное. Будто бежала от чего-то страшного и не могла убежать. Ноги путались в густой засохшей осоке, а младший сынишка свободно ползал по траве и убеждал ее приходить к обеду. Она сама сознавала, что приходить надо, потому что через неделю должна родить. Но осока не пускала, а страшное неумолимо надвигалось. Она начинала сильнее перебирать ногами, но они вязли в ил, и был он странно сухой, как песок. «Ведь это песок, ведь это песок...» — уверяла она сына. Сын заплакал. «Почему он плачет? Ведь я побила старшего»,— подумала Баркова... И тогда страшное налетело. Баркова закричала, или, быть может, ей так показалось, потому что крика не было слышно, а был переполнявший душу грохот, рев и треск чего-то другого — большого и неудержимого. Она проснулась с сильным сердцебиением, но сон не прекратился. Где-то за школой с громовым гулом и скрежетом перемалывали воду гигантские жернова. Школьное здание тряслось, как на телеге, и оконные стекла жалобно дребезжали. За окнами в белесой утренней мути надрывно лаяли сандагоуские собаки. Не по-обычному кричали третьи петухи, и где-то далеко истошно, как на убое, мычали коровы.

Восьмилетняя дочь Барковой тоже проснулась. Она не понимала, что происходит, и растерянно мигала бе-

лыми ресничками. Обоих сыновей уже не было в комнате.

«Вода пришла»,— сообразила Баркова, окончательно просыпаясь. Сразу испугалась за детей и почему-то больше всего за дочь, хотя дочь была в комнате. Торопливо перекрестилась.

— Сонька... Соня,— позвала ласковым шепотом.— Проснись, детка родная...

— Я не сплю... Чевой-то это?.. Я боюсь...

— Не бойся, это Улахэ разлилась. Беги скорей на речку, тащи ребят — неравно утонут...

И, приходя в обычное свое настроение, она закричала, раздражаясь от собственного голоса:

— Ну-у! Беги, когда говорят!.. Вот сукины дети, сколько раз говорила, и тот кобель, никогда дома не ночует... Живей, живей, копу-уша!..

3

Накинув капот, Баркова убрала постели. Позолоченный образок хмуро и как будто укоризненно смотрел из темноты на ее нечесаные волосы, выпятившийся живот и продранные зеленые шлепанцы на ногах, вывезенные еще из Сибири. Она с опаской влезла на табуретку и, прислушиваясь по привычке к неуверенным ласковым толчкам внутри, зажгла лампадку. Дрожащее пламя было желтее лица на образке.

«Батюшки! — спохватилась Баркова, — капусту-то в погребе как есть всю затопит!» С неожиданной для ее положения легкостью она соскочила с табуретки и зачастила отекшими ногами по некрашеному полу, а потом по заросшему загаженным одуванчиком дворику.

Из погреба пахнуло кислой и сырой плесенью и отдающей гнилым деревом водой. Вода выступила из земли с началом дождей и прибывала с каждым днем. Баркова спустилась немного по склизким ступенькам и, нащупав в полутьме торчащую из воды кадушку, попыталась ее поднять. Кадушка казалась не тяжелой. Баркова потянула сильнее и, поскользнувшись, въехала ногами в воду, больно ударившись о ступеньки поясницей. В то же мгновение она почувствовала, как острая

режущая боль пронизала тело и по ногам с теплым щекотом побежала кровь.

Баркова не помнила, как добралась до спальни, но через несколько минут очнулась уже на постели. Были, как всегда, невыносимы боли, сокращалось в страшных потугах распустившееся в жиру тело, и, как всегда, казалось это совсем иным, непохожим на прошлые роды, полным новых, неиспытанно мучительных ощущений.

Баркова всегда проклинала жизнь. Но, как и все люди этого рода, она боялась смерти. Теперь ей показалось, что она умирает, и ее жалобные стоны слились в один вопль дикого, животного ужаса...

В таком положении застала ее прибежавшая с реки и не нашедшая там ребят Сонька.

4

Непонятный грохот разбудил фельдшерицу Минаеву. Был он слишком тревожен и гулок, фельдшерица заволновалась.

— Власовна...— позвала слабым голосом аптечную служительницу.

Никто не отозвался. Она чувствовала во всем теле большую слабость. Нервы тонко воспринимали всякую мелочь, и мелочь эта с болезненной четкостью отпечатывалась в мозгу. Мысли тянулись с такой же болезненной ясностью. Но вместе с тем Минаева чувствовала, как где-то глубоко под ними тихо и скрытно шевелится глухая и одинокая, ушедшая в себя тоска.

Тоска Минаевой имела свои причины. Первая — была болезнь. К опухолям и болям в боку и пояснице присоединился сухой и колкий кашель, не дававший спать по ночам. Это было уже не воспаление почек, а что-то другое. Сердце то колотилось, как пойманный в силок снегирь, то, казалось, совсем останавливалось и после жуткой паузы начинало медленно перебирать заржавелыми клапанами. Температура поднималась временами до того, что фельдшерица теряла сознание и начинала бредить, то падала настолько, что с трудом прощупывался пульс, и тело, теряя свой вес и размеры, испытывало необычную, похожую на смерть слабость.

И оттого, что слабость все увеличивалась, болезнь развивалась и неоткуда было ожидать помощи, Минае-

ва пришла к убеждению, что она больше никогда не встанет. Это была вторая причина ее тоски.

И третья причина была любовь. Минаевой казалось, что искренно и горячо она любит впервые. Этот человек не походил на тех, кем она интересовалась раньше. Его любовь была странно неотделима от всего, чем он занимался с утра до вечера — каждый день. И, может быть, потому Минаева чувствовала себя с ним неуверенно, а без него одиноко. Последнее время Неретин заходил реже, а несколько дней уже и совсем не заглядывал. Она не могла забыть, как ее бросили одну с ребенком на руках и она принуждена была укрыться от алчных и от укоризненных взоров в далекую Улахинскую долину. Это тоже была одна из причин ее тоски. Все это было очень просто и обыкновенно.

5

Минаева услыхала детский плач и шарканье босых ног по полу.

— Кто там?..— спросила она как могла громко.

В комнату, всхлипывая, вбежала в нижней рубашке растрепанная дочь Барковой. Ее мелкие глаза от ужаса разлезались в стороны, из них по давно не мытому лицу бежали одна за другой грязные слезинки.

— Мамка умирает... родить не может... Тетя, милая, помоги-и!..

Из каждой трещинки сломавшегося детского голоса звучала мольба страдающего взрослого человека. Минаева никогда еще не видела таких испуганных глаз и не слыхала такой отчаянной мольбы из детских уст.

— Давно родит? — спросила ласково.

— Не зна-аю, я ничего не знаю... Тетенька, милая, помоги-и...

Сонька упала на колени и, уткнувшись носом в одеяло в ногах у фельдшерицы, забилась в истерике.

Минаева попыталась встать. Острое колотье в боку бросило ее обратно в подушку. Она сжала губы, чтобы не закричать, и, держась за спинки стула и кровати, все-таки встала. Пол уходил куда-то из-под ног, и комната в красных кругах плыла перед глазами.

— Беги, позови к маме бабку Наумовну,— сказала она Соньке.

С трудом нащупала туфли и сунула в них трясущиеся ноги. Не заботясь о том, что может встретить людей, натянула прямо на нижнюю рубашку тонкий больничный халат. Вынула из сундука щипцы и марлю и, хватаясь свободной рукой за встречные предметы, пошла.

На улице она совсем не чувствовала своего тела. Ей казалось, что она плывет по воздуху. Она знала только, что ей нельзя падать, потому что больше не хватит сил встать. В сыром тумане было холодно голым ногам. Она подумала, что простудится, но тотчас же решила, что теперь все равно. Почему «все равно», она не знала, но эта мысль всецело овладела ею...

— Теперь... все равно...— несколько раз повторила она и радостно улыбнулась чему-то хорошему внутри себя.

Жена учителя лежала в том же положении, в каком ее увидела Сонька. Она уже не могла кричать и тяжело хрипела, корчась на одеяле.

Неизвестно, где взяла сил изнуренная болезнью фельдшерица, но, когда все кончилось, она исчерпала последнее, что имела. Мутная пелена заволокла ей мозг, надвинулась на глаза. Она почувствовала, что падает, и схватилась за что-то руками. Но это был окровавленный край барковского капота. Он потянулся вместе с ней, и, потеряв последние остатки сознания, Минаева медленно опустилась на пол.

В полутемной комнате раздался крик только что народившегося человека. Новый человек пришел из другого мира. Ему не было никакого дела ни до разлива, ни до измученной матери, ни до свалившейся с ног Минаевой, и крик его был беспомощен, но требователен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Затор в верховьях Улахэ прорвался. Вода пришла в сандагоуские поля полуторасаженным мутно-оранжевым валом. Разнесла в щепки прибрежные фанзушки, проредила волостные забоки, разметала по полешку

дровяные заготовки. Она наполнила долину желтопенным водостремом от выгоревших на западе сопок до верхнего обрыва, что тянулся за солдаткиным лугом. Сандагоуская забока гнулась по течению, как трава, и столетние ясени, впившись мозолистыми корнями в землю, злобно тряслись и ревели под водяным напором.

Над взбаламученным селом стоял редкий предутренний туман. Лесовики с руганью поспешно сматывали палатки. Вода грозила затопить луг. Разбуженный народ бежал к берегу. Лошади, выломав двери сараев, с неистовым ржаньем метались по улицам. Где-то беспомощно и дико плакали ребята, и в общем разноголосом реве плач их был странно тонок и жалобен.

Пока разошелся туман, весь Улахинский берег, отступивший к самому селу, запестрел людьми. Больше всего собралось у того места, где дорога в забоку, миновав последнюю избу, исчезла под водой. В колыхающейся толпе, как всегда, нарочито громко голосили бабы. Немного в стороне отдельной кучкой стояли лавочник Копай, мельник Вавила, Барков и таксатор Вахович. Они еще не совсем протрезвились. Таксатор принес зачем-то подзорную трубу, хотя перед самым носом был лес, не дававший смотреть далеко.

Жмыхов поставил у воды вешки — узнать, прибывает ли вода, или нет. Вода прибывала. Он подошел к группе стариков. Лица их были покорны и бледны.

— Хлеба, считай, подчистую,— растерянно говорил сельский председатель.

— Шут с ними, с хлебами! — рассердился Жмыхов.— Стоишь тут и болтаешь. Индюк — ясное дело. Полдеревни в поле — вот в чем задача...

— А ты что за указ?..— обиделся председатель.— Полдеревни в по-оле!.. Сами знаем. Утопли все давно, во как. Нам в петлю лезти, что ли? У меня, может, у самого баба тамо-ка...

Жмыхов насупился.

— Глядите!.. Кабан!.. Дикой!..— закричал кто-то.

Из леса по направлению к берегу, играя на солнце мокрой щетиной, плыл похожий на громадного ежа дикий кабан. Его сильно сносило, но он уверенно рассекал воду мощной грудью, и со своей клыкастой, вытянувшейся вперед головой, прижатыми ушами и горба-

той щетинистой спиной казался людям странным, неведомо кем пущенным снарядом.

— Эй, эй!.. Чух!.. Чух!..

В кабана полетели камни и палки, но ему уже не было выбора. Кто-то побежал за ружьем. Кабан выскочил на берег. Мутноглазый парень без шапки хотел ударить его палкой. Кабан фыркнул и, свалив парня с ног, ринулся в толпу.

— У... у... ух!.. Ай-яй!..

Толпа раздалась, и разъяренный зверь с хрюканьем промчался мимо. Несколько человек с визгом понеслись вдогонку.

Жмыхов размышлял: «Фанзу Кима вода не достанет, фанзу у Тигровой пади — тоже, Неретину заимку — тоже... Холмов в пади много, на холмах лепятся люди, как мыши. Часов через пять многие холмы зальет... Надо перевозить людей с холмов к обеим фанзам и на Неретину заимку... В деревню возить далеко...»

— Стой-ка, сынок! — ухватил он под руку бежавшего мимо Гаврюшку.— Найди Каню, заложите кобылу, везите сюда лодку. Мою лодку. Знаешь?.. «Часа два помедлить — опоздаем. Многие потонут, ясное дело... Слякоть народ — тьфу!..»

2

Раздвинув толпу, черствой деловитой походкой прошел на берег Неретин.

— Слушай, Иван Кириллыч,— сказал Жмыхов,— в поле живого народа на холмах, как мышей в гнездах. Придумать бы што, а?

— Товарищи!..— закричал Неретин во весь голос.

Людские головы вопросительно посмотрели в его сторону. Он вскочил на пень и, чувствуя какую-то необычную легкость во всем теле, раздельно и резко бросил два слова:

— Лодки давайте!..

Ответные голоса прозвучали растерянно.

— Каки наши лодки?.. Долбянки, душегубки...

— Нельзя по такой воде — верная гибель...

И все заволновались, виновато замахали руками.

— Нельзя... конечно... и рады бы...

— Где уж...

— Душегубки ведь...

Из толпы выскочил, даже не выскочил, а вышматнулся, как кусок звериного мяса из-под тигровой лапы, горбатый крепкорукий Антон Горовой. Шрам на его дрожащей щеке казался багровым ремнем, рычавший голос его был не человечьим, а звериным.

— Лодок нет?! У Копая двадцать шесть лодок! Накось выкуси,— вон он смеется!..

Как по команде, все головы повернулись туда, куда указал трясущийся морщинистый палец Горового. На пригорке, криво улыбаясь, стоял лавочник Копай, а возле него побледневшие Барков, таксатор и мельник.

— Вот верно,— сказал чей-то удивительно спокойный голос. Стоящей в толпе Марине показалось, что это был голос Дегтярева.

Головы снова повернулись к Неретину. Было в разноцветных мужичьих глазах странное любопытство и еще что-то другое. В это мгновение все происходящее в последние недели представилось Неретину в виде тяжелой неповоротливой цепи. Было в ней одно звено, которое нужно было нащупать и крепко за него ухватиться, и кто сумел бы это сделать, потащил бы за собой всю цепь. Это звено играло сейчас своим чистым железным цветом перед синими неретинскими глазами. Он соскочил с пня. Как бы угадывая его мысли, толпа разделилась на две части, прочистив к копаевской группе прямую, обсаженную людьми дорогу. По ней, вычеканивая каждый шаг, Неретин подошел к лавочнику.

— Гражданин Копай,— сказал спокойно, немного даже весело,— ваши лодки мобилизуются на сегодняшний день...

— То нсь как мобилизуются? — глухо проворчал лавочник.— Людей спасти нужно — верно, но ведь лодки-то мои. Можно бы было и попросить. А если, как с чужим добром... вообще мобилизуются, то я могу и не дать...

— Что? — переспросил почему-то Неретин, хотя слышал все до единого слова.

— Никанор Иванович! Может, как для спасения человеческих жизней...— робко высунулся Барков.

Но Копаю в вопросе Неретина почудилась нерешительность. Впиваясь в лицо председателя заплывшими невидящими глазами, он произнес:

— Пусть народ лодки просит... Тебе я их не дам... понял?..

Неретин выхватил из-под рубахи наган и, приставив его чуть ли не к самому лбу лавочника, сказал, отсекая кремнями зубов каждое слово:

— Гражданин Копай! За неподчинение революционной власти я вас арестую.

От неожиданности таксатор уронил подзорную трубу. Лицо Копая стало матово-бледным:

— Я...

Барков не выдержал и пустился бежать, цепляясь выцветшей рубахой за ореховые кусты.

— Тю-у... Тю-у...— закричали ему вслед как-то совсем беззлобно. Кто-то бросил вдогонку палкой.

Неретин вызвал десятских.

— Отведите в карцер.

— Руки связать али нет? — робко спросил один из них. Копай приходился ему кумом, и десятский не знал, что теперь делать.

— Натурально, связать,— вывернулся откуда-то Харитон Кислый.— Мы ихнего брата очень даже прекрасно знаем.

И, забыв про спадающие без поддержки штаны, он собственным ремешком из оленьей кожи скрутил лавочнику руки назад. Копая увели.

3

Неретин отрядил людей за лодками и стал вызывать охотников-гребцов. При такой воде в каждую лодку нужно было не менее четырех человек. Большие рыбачьи плоскодонки могли, помимо гребцов, принимать по восемь человек пассажиров.

Первую — жмыховскую — лодку привезла Каня. Был у Кани сегодня какой-то особенно недевичий, мужественный вид. И, должно быть, глядя на нее, решил спасать глупых русских людей старый Тун-ло.

«Кого бы взять четвертого?» — подумал Жмыхов.

Когда спускали лодку к воде, подошел Антон Дегтярев. Он видел сердито пенящуюся у берега воду и почувствовал незнакомую до сих пор боязнь за женщину.

— Ты бы дочку оставил,— сказал Жмыхову,— давай я вместо нее!

— Садись и ты, а дочка не помешает.

Антон разулся, на случай если придется плавать, и помог стащить лодку. Вода понесла корму, но они удержали суденышко за нос. Народ сдвинулся ближе посмотреть на первую четверку. Каня прошла к рулю. Жмыхов с Дегтяревым сели на весла. Тун-ло встал на носу и легким ударом шеста оттолкнулся от берега. На берегу сняли шапки и истово закрестились. В первый момент лодка завертелась и понеслась книзу. Бабы жалобно запричитали. Но гребцы тотчас же выправились и несколькими ударами весел подвинулись выше. Держась носом накось течению, под мерными взмахами бесперых крыльев плоскодонка поплыла к забоке.

— Не плачь, старуха! — сказал какой-то бабе отец Тимофей.— Кабы природа сильней людей была, здесь на берегу не мы бы стояли, а бурьян рос, дура!

Стали подвозить постепенно и копаевские лодки. Добровольцы делились на четверки и спускали плоскодонки к воде. Однако ни одно суденышко больше не отплывало. Гребцы выжидательно толкались на берегу. Неретин видел, как первая лодка обогнула торчащее из воды сломанное дерево и через несколько секунд скрылась в лесу.

«Чего ж эти не едут?» — подумал с неудовольствием.

— Чего ждете?

На берегу неловко замялись.

«Думают: мы-то поедем, а ты как?» — сообразил Неретин.

— Ну, друже,— сказал он сельскому председателю,— ты тут распорядишься... Эй, кто со мной?

Он оглянулся, стараясь увидеть отца. Они уже с неделю не разговаривали, и Неретину хотелось на всякий случай проститься. Подошли Харитон и Горовой.

— Едем, что ли?

Кислый был мрачен. Он только что отыскивал Марину и не нашел, а Марина плакала в кустах по Дегтяреву.

— Обождите меня! — закричал отец Тимофей. Он скинул рваный подрясник, и вместе с подрясником ушел от него весь его библейский запах. Был отец Тимофей обыкновенный чернобородый и быстроглазый мужик Полтавской губернии — шутник, философ и баштанник.

Прихрамывая на ногу, подбежал старый Нерета. Взглянул на сына и не сообразил, что сказать.

— Сапоги-то... сбуй!..— промолвил неожиданно. Губы его кривились, и странно дрожала легкая и светлая борода. «Подумает, сапог жалко...» — промелькнуло в седой голове. Но сын понял, как нужно, и разулся.

— Прощай! — сказал отцу.

Нерета не решился его перекрестить.

Когда садились на гладко вытесанные ильмовые сиденья, прибежала из села баба, крича что-то, неслышное в лодке из-за речного шума. На берегу заволновались.

— Учителя ищут...

— Кого? Учителя? Убег...

— Родила? Да ну-у?

— ...Вот поди ж ты...

— Хвершалиха без памяти у койки, все руки в крове!

Неретин вздрогнул.

— Стой! — удержал он Харитона, собиравшегося оттолкнуть лодку.— В чем дело? — спросил у баб изменившимся голосом.

Они затараторили наперерыв.

— Учительша родила ране срока... Примала Анна Григорьевна ребенка-то... Сама, вишь, больная... Лежит без памяти...

Серый напористый взгляд Харитона удивленно уперся в побледневшее неретинское лицо. Мужики в лодках смотрели на председателя испытующе, как змеи...

— Отчаливай! — крикнул Неретин резко.

Лодка рванулась, а за ней, раскачиваясь, как утки, поползли другие.

— Спаси вас бог! — закричали на берегу.

— Сами спасемся,— проворчал под нос Горовой.

Неретин быстро заработал веслом. Почему-то так же растерянно и просто, как у всех, трепыхалась на ветру его серая солдатская рубаха.

4

Под июньским солнцем жаркими расплавленными рудами горит полая вода. Горит и играет.

В тайге у горных ключей лес бывает выше и гуще. Смотреть издалека — темнеют ключи на сопочной сини густыми зеленоватыми жилами. В их верховьях прячется утром туман — клочковатый и редкий, как вербовый пух.

Кровавыми струпьями вздувались шеи у людей в лодках. Мокли от пота рубахи, с тяжелым хрипящим свистом вырывались дыхания из напряженных грудей. Протискиваясь меж деревьев, темно-зелеными гребнями вздымалась в забоке вода. В гребнях, неуловимо для глаза, вертелись пожелтевшие листья, сучья, пестрые растрепанные мхи. Хватаясь руками за ветки, Тун-ло и Жмыхов медленно проталкивали лодку между стволами. Перед глазами Кани качалась широкая спина Дегтярева. Под его тонкой рубахой уверенно и сильно ходили мускулистые, как у лошади, лопатки.

На одной из полян, уцепившись канатом за дерево, они отдохнули. Тун-ло закурил.

— Устала? — спросил Дегтярев у Кани.

— А ты поди нет? — ответила она насмешливо.

Он схватил ее за ул и легонько потащил к себе.

— Смотри, сброшу.

— Не балуй! — обрезала она сурово, вырывая ногу.

— Дочка у тебя с уросом,— сказал Антон Жмыхову.

Каня сердито метнула на него глазом.

— Ну и девка, ей-богу!..— восхитился он искренно.

Были у этих людей на ладонях твердые, как железные заклепки, мозоли. Когда хватались руками за чертово дерево, не лезли в кожу шипы.

Спустя полчаса перебрались через гребнистую Улахинскую матеру. Раздвинув ивняк, высунулись на водную гладь долины. Здесь вода шла много тише, и шест доставал до дна. Торчали из воды разбросанные по пади рощицы, перелески, холмы, и на холмах густо, как вши, копошились люди.

На ближайшем холме замахали руками. Закричали о чем-то радостно и бестолково. Народ схлынул на одну сторону к лодке. Задние, обезумев, полезли на передних. Сухую и растрепанную бабу столкнули ненароком в воду. Грязная юбка вздулась пузырем, и баба зашлепала руками по воде, как кутенок. Ей подали сапку и, сочно ругаясь, вытащили обратно.

Сажени полторы не доезжая берега, Жмыхов задержался.

— Эй!.. Осади назад! — крикнул в толпу.— Много лодок идет — всех успеем!.. Эй! Вам говорят, што ли!

Никто не слушался.

— Кому-нибудь слезти придется — порядок навести.

— Давай я! — вызвался Дегтярев.

Плоскодонку подвинули ближе. Оттолкнувшись ногами от днища, Антон прыгнул прямо в людскую кучу. Суденышко рванулось в сторону и закачалось.

— Осади назад!.. Раздайсь!..— закричал Антон, радуясь случаю расправить глотку. И, упираясь в грудь толстой бабе, совсем весело: — Задницей нажимай, тетка! Эх, вы-ы!

Ему удалось оттиснуть толпу немного назад. Лодка причалила. Бестолково, по-овечьи копошились на маленьком островке люди. И потому, когда отсчитывал Дегтярев восемь человек в лодку, казалось Кане, что отбирает он из собственного стада испуганно блеющих овец. Потный волосатый мужик старался из середины протиснуться к лодке. Он грозил Дегтяреву кулаком и кричал, обливая слюной сивую бороду:

— Куда баб отбираешь?.. Мужиков в перву очередь бери!.. Хлеба пропали, ежели мужики перетонут! С баб кака̀ корысть?

— Вот мы тебя последним,— мальчишески злорадствовал Дегтярев,— а то и совсем бросим. Поорешь петухом — глотка здоровая.

Из ивняка одна за другой выскакивали в долину остальные лодки. На передней в солдатской форме Неретин.

— Поехали! — командовал Антон, перебравшись на свое место.— Ну-ка, девка таежная, приналяжь! — Веселыми полевыми вьюнами голубели у парня глаза, и от глаз тех, должно быть, играло голубем Канино сердце.

И снова вздувались у людей шеи, мокли рубахи, трещали в руках суставы, и снова горела вокруг лодок, переливалась жаркими расплавленными рудами полая вода. Был весь день беспрерывной сменой людей и воды. От той смены рябило в глазах. От весел саднили плечи.

Когда поздно ночью причалили на отдых к фанзе у Тигровой пади, сказал Жмыхов:

— Уснем, ядрена вошь! Потому заслужили. Ясное дело.

И старый Тун-ло, вытряхнув в трубку остатки табаку, тоже сказал два слова — два слова за весь день!— раздельно и веско:

— Большая... работа...

Фанза набита людьми, как гольянами отмель. Спали и на воле, около костров. Огни виляли на темных водяных струях языками расплавленной меди. Заливала их синеперая рябь волн — не могла залить.

Под черетяной крышей, в шуршащей загадочной теми крепко обхватил Антон Каню. И чувствуя, как взыграло под рукой густыми таежными соками тело, о длинные Канины ресницы ожег два раза губы... А когда рванулась, был он уже далеко и из темноты кричал лукавым молодым баском:

— Не бойсь, девка! Не малая уж! Замуж выдади-им!

Весел и легок был смех. Бежал по струям, не тонул, обгонял воду.

5

Более суток, заглушая боль, метался Неретин по разгульным улахинским водам.

Более суток резал распаренный воздух его четкий солдатский голос, и все это время обливались потом,

не щадили сил остальные гребцы. Звездным вечером Петрова дня свезли на незатопленную заимку деда Нереты последнюю партию. Мертвецами упали в колючее прошлогоднее сено, законопатив ржавые щели омшаника богатырским храпом.

В полночь Неретин вскочил. Усталой сонной походкой пошел к навесу. Вытащил старую дедову долбянку и, превозмогая ломоту в костях, спустил ее на воду. Выбрал самое легкое и крепкое весло. Сильно стиснул зубы, толкнул веслом от берега и, тихо качаясь на волнах, поплыл книзу.

Загадочно шипели под лодкой лиловые воды. Широкими плавными струями бежали за кормой. В их темной глубине веселыми зрачками огней мигали звезды. И с каждым взмахом быстрели у Неретина руки, сгонялась с мышц усталая ржавчина, и мысль — перелетная птица — бежала далеко вперед, через разъедаемые водою поля.

Не помнил, как обогнул забоку у речного колена и вылетел на бурливую стрежу. Не помнил, как все ниже и ниже сносило челнок, все дальше и дальше от цели — в черный пролом улахинских сопок. Очнулся, когда заскрипела под днищем земля и злобный собачий лай понесся с берега. Быстро сообразил: «Хутор Нагибы». Проковылял несколько сажен по воде.

— Пошла вон! — прогнал собаку суровым окриком.

Долго и настойчиво барабанил в дверь.

— Кой леший ломится? — глухо прошипело за дверью.

— Открой, свои!

— Хто свои?

— Неретин.

Сыро закашляла дверь, и из темноты сеней вывалился на порог черный мохнатый ком получеловечьего, полузвериного мяса.

— Какой водой али ветром? — хрипнуло из беззубой ямы. В густой медвежьей поросли дико вращались желтоватые белки.

— Водой, мил дед, водой... Дай, друже, лошадь. Завтра с племянником пришлю.

— Куда без дороги на ночь глядя?.. Ночуй. Чаю согрею. С медом, елова шишка, с медом...

— Не могу, ей-богу...

— А то ночуй?

— Нет, нет. Не могу.

— Твое дело. Кому бы другому, а тебе дам. Дам, дам...

Седлая лошадь, Нагиба долго возился в сарае.

— Прощай, елова шишка,— сказал напутственно. И хотя Неретин уже не мог его слышать, долго хрипел вослед: — Держись, мил друг, осинником. Осинником держись, осинником...

6

Таяли над сопками звезды. Хлестал по ногам свежий росистый осинник. Все вперед и вперед, неумело прижавшись к луке седла, рвался синеглазый Неретин. Ходили под ногами крутые лошадиные бока. На них мешалась с росой липкая, мыльная пена. И ядреный лошадиный фырк, оставаясь позади, долго бродил по кустам — не гас.

Когда забрезжил рассвет, заиграли пастухи, бабы погнали на пастьбу к сопкам коров, ворвался Неретин в село. Серым комком на исхлестанном лошадином крупе промельтешил по улицам и у крашеного аптечного крыльца, вспугнув полусонных кур, круто осадил лошадь.

Аптечная служительница в калитке протяжно звала теленка:

— Тялу-ушка, тялу-ушка!.. Сех... се-ох... се-ох!.. Иди сюда, про-орва!..

Увидела Неретина, метнулась к нему и зачастила быстро певучим бабьим бисером:

— Иван Кириллыч, батюшка, родно-ой... Скончалась Григорьевна-то, скончалась... ночью вчерась, родимый...

В охотку побежали из глаз дешевые старушечьи слезы. Потекли не нужные никому по желтой морщинистой мякоти.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В те дни и ночи непривычно быстро сменяли друг друга дела. А сами дни и ночи бежали, может быть, быстрее дел.

Одной такой ночью народился на многоглазом небе сладкоросый, травяной и ячменный месяц июль. Был он узкий, светло-желтый и сочный, как тоненький ломтик китайской дыни. И, должно быть, к его крестинам вошла в берега Улахэ.

Жарким июльским днем, спустившись ниже речного колена, вытаскивали мужики из-под гальки толстый стальной трос от парома. А вечером прискакала из Спасск-Приморска первая почта и привезла Неретину писульку. Были у почтаря черные от спелой черемухи губы. После воды черемуха зрела буйная и густая.

В правлении заседало волостное земство.

Твердый и угловатый почерк письма разобрал Неретин в перерыве.

«...События в Питере, как видишь, развиваются. Наш комитет раскололся. Меньшевики теперь отдельно, мы отдельно... В Спасск-Приморске создалась наша группа. Съезди, познакомься...»

Подписано было четко и просто, без закорючек: «Продай-Вода».

2

Дома старый Нерета починял снохам лапти. Руки привычно вдевали лыко, а голова думала совсем о другом: об убытках от разлива, о том, что плохо роятся пчелы, о больном старшем внуке, об единственном оставшемся в живых сыне. Когда думал о сыне, впервые рождалось в душе любовное, горделивое чувство. И потому ухватил Нерета бежавшего мимо трехлетнего внука за пузо и нарочито важно сказал ему:

— Иван-то, дядя твой, заседает...— Тона, однако, не выдержал и, щелкнув парнишку в пуп, весело крикнул: — Эх, ты-ы, пузырь!..

Иван вернулся поздно. Был он сухой и строгий в последние дни и, разговаривая с людьми, уже не бросал-

ся веселыми: «Понял?.. понятно?..» Хрустел у Ивана в кармане свежий, только что написанный секретарем земской управы черновик протокола.

Слушали	Постановили
1. О мероятиях по борбе с будущими голодающими.	У ково остался хлеб сбору 14 году и ранее свести в обчественные амбары употребить в засев будущево года. Мельницу и хлеб гражданина Шипова Вавилы канхисковать. Лавочку Капая, а также денежные сумы канхисковать. На слободные коперативные и кредитнава таварищества деньги, а также сумы Капая снарядить абоз за хлебом в Спасское.
2. Ково послать старшим абоза.	Направить приседателя Неретенку Ивана по личному желанию онова самово.

Дед Нерета бросил лапти.

— Каки, детка, новости будут? — спросил ухмыляясь.

Иван в упор посмотрел на отца. Сурово сказал:

— Хлеб ваш четырнадцатого года и ранее — в общественный амбар... Земство постановило.

— То ись как? — переспросил дед.— Мой самообстоятельно, лиже-ча всех?

— Всех, у кого есть. Завтра сход будет. Утверждать постановление для нашего села.

Стоял над дедом не сын, а председатель земской управы. Сандагоуская власть. Когда чувствует власть силу, вид у нее бывает совсем особенный. «А раньше говорил, моего не заберут»,— подумал Нерета с легкой горечью.

Ложась спать, он долго думал: ждать ему сходки или свезти хлеб утром. Так и уснул, не решив.

3

Ночью на душистом сеновале темно и пусто.

Давил Неретина прогнивший тес крыши, не давал уснуть. И звонкое июльское небо в щелях не утешало, не грело. Вместо неба смотрели на председателя с тоской и любовью большие карие глаза фельдшерицы.

И от глаз тех, от собственной тоски и любви — без сна и без слез метался на сеновале Неретин, одинокий сизоперый голубь...

4

Мысли деда Нереты пришли в полную ясность, когда, выглянув утром в окно, увидел играющих во дворе вихрастых белоголовых внучат. Двое, извиваясь на земле, изображали утопающих. Остальные, забравшись в грязные свиные корыта, вытаскивали первых шестами.

— Играют,— сказал Нерета любовно.— А мне чо, более других надо, чо ли?.. Лишь бы им хватило...

Нахлобучил по-хозяйски шапку и вышел во двор.

— Степка! Тащи ключи от амбаров!.. А вы телегу снарядите. Живо-о! Будя рубахи мазать.

В амбаре сухо и душно. В просторных закромах золотится пшеница. Хлеб у Нереты с тринадцатого года.

Копнул ржавой рукой самое старое зерно. Чуть слышно потянуло прелью.

— Вот оно чо делается, а?..— И решительным гребком наполнил полнозерной крупой первый совок.

— Ровней держи мешок, детка! Батька тебя твой так учил, чо ли?..

Из потревоженного хлеба тянулась под крышу легкая ароматная пыль.

А через час, вздуваясь туго набитыми мешками, поползла к общественному амбару первая подвода с хлебом.

Золотистый играл в проулках июль-суховей. Резвился по крышам — душистый и жаркий. Тем золотистым июлем зрела за Иваном Неретиным неуемная мужицкая сила. Зрела потому, что кончиком земляной души — может быть, совсем по-особенному, по-своему, по-мужичьи,— но понял старый Нерета, какая задача стоит перед его сыном.

5

На сходке длиннобородый сельский председатель говорил:

— Придется обсудить спервоначалу нащет выгону. Потому, Никита Гудок жалился...

— Чево там Никита Гудок! — кричали мужики.— Все знаем!.. Корова с пастьбы, а у ней вымя пустое. Не выгон, а горе!..

— Пасту-ух, мать его за ногу! Не насчет выгону, а пастуха к хренам!.. Так судим.

Шевелил длинную председателеву бороду жаркий июльский ветер. Председатель жмурил от солнца глаза и говорил смеясь:

— Цыц, ну-у!.. Эта спервоначалу. Потом имеется постановление волостного земства насчет того, какà, к примеру, помочь будет в смысле голода.— Он покосился на сидящего рядом Неретина.— На этот предмет пояснит Иван Кириллыч, а также в смысле лавки и мельницы...

На сходке, в сторонке у орехового куста, стоял Жмыхов.

— Много тут разговоров,— сказал Кане, зевая,— большое село, ясное дело.

Посмотрела Каня в желтозубый отцовский рот и тоже зевнула.

— Домой нам, дочка, пора— вот што...

Рядом с Каней — Дегтярев. У Дегтярева голубой глаз, цвета дальних сопок. Такой глаз не палит, не жжет, а тянет, как омут. И потому сказала Каня отцу:

— Вода еще велика. Коли омута большие, не больно уедешь.

Жмыхов увидел в толпе дырявую поповскую шляпу и, раздвигая мужиков большим костистым локтем, полез к отцу Тимофею.

— Ладно,—говорил председатель,— ежели Микиту уволим, кто скот будет пасти?

— Назначить Горового Антошку,— решительно настаивал Евстафий Верещак.

— Ох, быстрый какой! — рассердился Горовой.— Чай, я косец, а не пастух... Вот ежели у тебя маслобойню отнять, дак ты, окромя в пастухи, никуды не способен!..

— Хо-хо-хо... Хе-хе...— дробно и стукотливо, как телеги на деревянном ходу, затарахтели мужики.— Што верно, то верно... Поддел...

6

Было Кане на сходке скучно. Вспоминалась ей далекая красавица Нота. Резвятся там на песчаных отмелях серебристые гольяны. В ключевых устьях у карчей настороженно спят пятнистожабрые лини. Медленно помахивают густоперыми хвостами.

Ее потянуло домой. Она сильно выгнулась, расправляя члены, и снова зевнула.

— Пойдем... куда-либо...— тихо сказал Дегтярев.

— Пойдем,— промолвила она, почти не думая.

Они пошли рядом. Рука Дегтярева выше локтя касалась ее плеча, но Каня не отстранялась.

— Болтают, болтают... Ну их к лешему,— говорил Антон добродушно.— А ты, наоборот, молчишь. Скажи, отчего глаза косые?

— В мать,— ответила она коротко.

— В какую такую мать? Матери разные бывают. Твоя, как видно, корейка?..

— Нет, русская. Это така порода — забайкальская.

— Вон оно што-о!..— обрадовался Антон неизвестно чему.— А я полагал, што корейка...

Остывали на Каниных веках вторую неделю и не могли остыть два жарких дегтяревских поцелуя. Вспоминая их, вздымалась на дыбы наливная девичья грудь и в монгольских глазах бродило, разбрасывая искры, молодое вино — черного таежного винограда. Пил вино Дегтярев правым голубым глазом, пьянел от каждого глотка, и не утолялась, а росла жажда.

— Пойдем реку смотреть,— сказал Кане чужим голосом.

Она чуть вздрогнула и остановилась. Непонятно заострились и сузились глаза. И верный друг — инстинкт, что ходит по тайге со всяким человеком и зверем, сказал ей слово, как уколол иглой: «Опасно...»

Когда чует таежный человек опасность,— не бежит. Опасность сзади страшнее, чем спереди.

— Пойдем! — сказала Каня.

Они свернули в забоку и молча зашагали по твердой высохшей после разлива дороге. С боков медленно

выправлялась, вылезала из-под песчаных и галечных наносов июльская густосочная трава. Трещали неумолчно под листом желтобрюхие циркачи. Был их стрекот гульлив и зноен, как июль.

— Увиваются за тобой в Самарке парни-то, не иначе,— сказал Антон с сожалением.

— За мной, не за тобой! — усмехнулась Каня.— Плакать тут нечего...— Ей захотелось уверенно и твердо, по-отцовски, добавить: «Ясное дело!»

— Поди уж не одного курильщика извела, а?..

— И то дело наше.

Гулял по дегтяревским жилам мужской нетерпеливый задор, а у Кани с каждым ответом голос — осторожней и суше.

В лесу сквозь черемушный лист устилало солнце дорогу золотым кружевом.

— Кого любишь? Скажи! — спросил Дегтярев прямо.

У Кани под кофтой настороженно застукало сердце. Еще острей и у́же стали глаза, и захотелось сильно, как на охоте, стиснуть ружье. Но ружья не было, и пальцы мягко скользнули по ладоням.

— Глянь, кака́ черемуха! — сказала она неожиданно.— Бежим нарвем, ну-ка!..

Круто рванулась в сторону, как спуганная олениха, и, с треском ломая кусты, побежала в чащу. Дегтярев ринулся вдогонку. Вздымалась с кустов нанесенная водой мелкая песочная пыль. Серой мукой засевала лицо, скрипела на зубах.

— Возьму! — кричал Антон.— Не уйдешь!..

Каня молча рвалась через кусты, цепляясь за ветки вырвавшимися из-под шапки косами. Короткая юбка взбрасывалась на бегу, и Антон видел мельком точеные загорелые ноги выше икр.

— Возьму-у!..— летел по кустам, наполняя забоку, сильный басовитый рев.

Так выбежали они на поляну, где находились когда-то дровяные заготовки, а теперь торчали только обомшелые пни да редкие нетронутые кусты черемухи. Перебегая от одного к другому, Каня споткнулась и упала. Знакомые руки придавили ее к земле, не давая подняться, и к раскрасневшемуся лицу склонилось возбужденное и потное лицо Дегтярева. Песочная пыль осела

в складках грязными полосами, но по-прежнему лукав был и смел мучитель-глаз, цвета дальних сопок.

— Возьму,— уверенно прошептал глаз, голубой мучитель.

Обидным, тяжелым и ненужным показалось с непривычки мужское тело, а верный друг, что ходит по тайге со всяким зверем и человеком, закричал о какой-то непонятной, небывалой опасности. Каня схватила Антона за воротник и с силой дернула в сторону. Воротник оборвался с куском прелой рубахи, обнажив левое плечо до локтя. Столкнулась с целомудренной девичьей боязнью мужская упрямая и бесстыдная сила. Каня почувствовала, как жесткие руки насильно, не спросясь, полезли в заповедные места, и в то же мгновение крепко вцепилась зубами в обнаженное плечо Дегтярева...

Это длилось несколько секунд, не более, но она явственно ощутила на зубах ржавый и солоноватый вкус крови. Мужское тело обмякло, и над ухом послышался глухой задержанный стон. Тогда она разжала зубы и, вскочив на ноги, стремительно помчалась в кусты.

Морщась от боли, Антон приложил к укушенному месту оторванный клок рубахи и сел. «Все-таки не закричал,— подумал не без гордости,— да и она пощады не просила...» Где-то совсем необычно шевельнулась злоба и тотчас же угасла. Он встал и, пошатываясь, вышел на опушку. Долго и тщательно присматривался и прислушивался по сторонам. Не видно, не слышно.

— Эй! — крикнул, превозмогая боль.

Ответа не последовало.

— Ну, и катись...— сказал он с любовью и восхищением.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

На сходке по кочковатым головам мужиков прыгали короткие рубленые слова Неретина. Раздвигали они плотно сшитые черепа и согласно укладывались внутри, как мелкие, хорошо колотые дрова.

А когда Неретин кончил и сельский председатель, расчесывая рукой льняную кудель бороды, сказал:

— Подымай правую руку, которые согласны! — выросла над сходкой густая, мозолистая и корявая забока.

Митька Косой, присяжный запевала, с трудом протискался к Харитону.

— Слышь, голован,— сказал вполголоса, дернув его за рубаху.

— Ну? — обернулся Кислый.

— Моя ведь правда...

— В чем?

— Да Марину-то... Пропили седни Вдовины мельнику, ей-богу...

Жидкие Митькины плечи судорожно зажались острыми клещами длинных Харитоновых рук.

— Откуда ты знаешь? — спросил Харитон глухо.

— Только што сестра сказала. Она у ей была. Лежит девка в амбаре и ревет.— Митька поковырял в носу указательным пальцем и, не найдя ничего утешительного, добавил строго: — В воскресенье свадьба, во как!

Были у Харитона всегда прямые, грубые, топором тесанные мысли. И первая мысль, которая пришла ему в голову, была — пойти и убить мельника. «Чего ей за гнилым пропадать»,— подумалось жестко. Однако эта мысль быстро отпала. Он знал, что его или арестуют, или расстреляют самосудом, а на поддержку Неретина в таких делах нельзя было и рассчитывать.

Тогда он бросил сходку и быстрым развалистым шагом пошел к Марине.

2

На неогороженном дворе Вдовиных стояли только две постройки: изба, похожая на голубятню, и маленький, на тоненьких ножках, амбарчик. Харитон тяжело перешагнул полусгнившие ступеньки амбара и решительным толчком отворил дверь.

В душной полутьме, на грязном тряпье, уткнувшись лицом в подушку, лежала Марина. Она не обернулась и вряд ли слыхала, как он вошел. Он остановился у порога и долго молча наблюдал за ней.

Марина уже не плакала или, вернее, не могла уже плакать и лежала тихо, без движения, почти не дыша. Источились горькие думы о собственной судьбе, о Дег-

тяреве, о мельнике, осталось только переполнявшее душу и тело безмерное, дошедшее до последней черты отчаяние.

Харитон на цыпочках подошел к ней и, опустившись на корточки, положил ей на голову большую черную руку. Она вздрогнула и, посмотрев на него, ничего не сказала. Похоже было, что нисколько и не удивилась его появлению.

— Слышь... Марина!..— сказал Харитон, насильно вытягивая застревающие в горле слова.— Гнилой он, и сволочь... мельник-то...

Она ничего не ответила, но он не продолжал, ожидая, что она догадается, о чем он хочет говорить. Марина не догадалась. Тогда он взял ее за руку и более твердым голосом сказал:

— Уж лучше тебе за меня пойти... Конечно, белого хлеба у меня нет, черный тоже не всегда бывает... Зато здоров.

Марина не понимала как следует, о чем он говорит, но звук его голоса напоминал ей Дегтярева. Она снова упала головой в подушку и заплакала, по-детски, неглубоко и часто всхлипывая.

— Не нужно плакать, ну! — крикнул Харитон сурово.— Не время!..

И только от его крика она осознала наконец, в чем дело. Тычась носом в подушку, заплакала еще горше и жалобней.

— ...Сговорена... уже... с попом... сва-адьба...— проступили сквозь плач и всхлип дрожащие и мокрые, лишенные всякой надежды слова.— Свез уже... отцу Ивану... муку... Вавила...

— Черт с им, с попом! — вспылил Кислый.— Дура ты, вот што! На кой ляд нам поп?.. Сама гнилая будешь, дети — пойми!.. Не до попа тут!..

Не привыкшая думать, в куски разбитая горем, Марина только на одну секунду попыталась представить, как отнесется к ней, невенчанной, село. Ей вспомнилась брошенная прошлый год землемером высокогрудая Палага, затравленная пьяными бабами на пыльных перекрестках и утопившаяся в омуте у речного колена. И оттого, что невыносимо противным и страшным было распухшее, изъеденное сомами и раками тело Па-

лаги, не нашлось в простой Марининой голове сил, чтобы переступить неумолимый, веками признанный закон.

— Нельзя...— сказала она тихо.

— Подумай!

Харитон сидел на полу и ждал. Сидел долго: час, может быть два. Желтый солнечный платок у растворенной двери передвинулся к противоположному закрому, а он все ждал.

Марина перестала плакать и молча лежала на тряпье. Из-под грубого холщового платья торчали неживыми обрубками ее босые грязные ноги.

— Слушай,— хрипло сказал Харитон,— а если я найду такого попа, что повенчает... со мной?..

— Не найдешь,— ответила она безнадежно.

— А если найду?

— Сам знаешь, чего спрашиваешь!..— крикнула она истерически.

Он резко вскочил и вышел на улицу. Несколько секунд Марина слышала, как хрустели под тяжелыми ступнями разбросанные по двору щепки.

3

В этот день казались Кане люди опаснее зверей. И на пришедших только что со сходки отца Тимофея и Жмыхова она тоже взглянула с недоверием. Но было у лесника все такое же впалое лицо, с отросшей за поездку рыжеватой бородой, и по-прежнему шутил лукаво и смеялся священник. Разве только от жары больше обычного налился кровью поповский мясистый нос и сиял и лоснился от пота.

— Ну, так как порешим? — грузно отдуваясь, спросил поп Жмыхова.

— Так уж порешили. До вечера мы, ясное дело, управимся. Десять пудов муки своей свезу в обчество. Постановление!.. Хоть и не нас касается, а все-таки везти домой всю неудобно.

— По холодку и грянем,— согласился отец Тимофей.— Ночи теперь месячные. Гляди, к утру до Кошкаровки доплывем.

Он ушел, звучно сморкаясь в подрясник.

4

Когда прибежал Харитон домой, сидел отец Тимофей на толстом обрубке дерева и, подвывая под нос что-то веселое, чинил свои уже не менее ста раз чиненные сапоги. Разбирался поп в дратве чище Евангелия.

Выслушав сбивчивые пояснения и просьбы Харитона, он удивленно развел руками.

— Вот так де-ело! — протянул басисто.— Видна, как говорится, птица по полету, а добрый молодец по соплям. И охота тебе венчальную комедь отламывать, а?

— Так не идет без венца, пойми! — горячился Харитон.

— А мельника думаешь с носом оставить? Отняли, мол, мил человек, у тебя мельницу, дак на́ тебе вот эдакий нос?..

Отец Тимофей приставил к своей луковице желтую руку и, выпустив из межколенья сапог, залился безудержным басовитым хохотом.

— Брось ты! — сказал Харитон грубо.— Мне не до смеху...

— Ну и дурень! В твои годы я тоже большой чудак был. Бывало, Маруся, псаломщикова дочка: «Пойдемте, Тимоша, впроходку!..» Я так и таял. А кончилось впролежку. Теперь моя жинка — вона!..

Харитон схватил попа за плечи и, притянув к себе, сказал сдержанно:

— Ты... со мной теперь не шути... понял?

Был отец Тимофей по-прежнему спокоен и весел, только в черемушных глазах появилась маленькая серьезность.

— За эдакие делишки, нападение то ись на священную особу, при старой власти напороли бы тебе, пáря-зараза, кой-какое место. Теперь, конешно, ты можешь меня и убить...— И, переходя внезапно на совершенно деловитый тон, забубнил отец Тимофей: — Доставай двух свидетелей, кралю под мышку — и в часовню, что в орешнике на отлете. Я там буду.

— Ночью надо,— сказал Кислый,— а то ежели увидят...

— До вечера надо,— обрезал поп,— потому уеду с сумерками...

Харитон бросился к выходу.

— Стой!.. Раздобудь пару колец да захвати бумагу и чернила. Я хоть уеду, а бумага останется. Церковной печати у меня не имеется, так потом в волости заверишь...

Оставшись один, отец Тимофей взялся за сапог. Работа, однако, не клеилась. Потертая подошва стояла с куском гнилого верха и, ощерившись гвоздями, смотрела на попа ехидно и злобно, по-щучьи.

— Жизнь тоже! — сказал он неизвестно по какому поводу.

5

Отягченная росой, жалась к земле новая июльская трава. Звездным вечером шли от земли густые и пряные соки. Одинаково дышали ими и влезшие под небо кедры, и пресмыкающиеся у их подножий мхи. В темных берлогах вбирало их всеми порами шерстистых тел угрюмое зверье.

В насыщенном парами воздухе далеко разносился ленивый стук тележных колес. Гаврюшка правил лошадью, а Жмыхов с отцом Тимофеем и Каней шагали рядом с телегой.

...Исаия, ликуй,
Кого любишь — поцелуй...—

игриво напевал отец Тимофей.

Ползли за людьми и подводой большие несуразные тени.

— Чего больно весел? — спросила Каня.

— Так...— усмехнулся поп.— Штуку мы тут одну отмочили...Человеку, скажем, счастье на всю жизнь, а мне — выпивка.

Тянуло от попа едким табаком и спиртом.

— Тебе завсегда выпивка,— сказала Каня немного даже с грустью.

На коротком канате тянулась за телегой лодка. Скребла и царапала песок черствым и крепким днищем... По бокам дороги под свежими обильными росами падали темноликие кусты.

— Да...—в раздумье протянул Жмыхов,— ворочает Неретин делами. Большой человек, ясное дело. Много людных мест прошел и в книгах разбирается. А мы тут...— он махнул рукой и с неожиданной суровостью докончил: — живем, как звери...

— Это ты, может быть, и зря,— сказал отец Тимофей. Неодобрительно тряхнул большой и гулкой, как котел, головой и, пережевывая губами, добавил низко:—Не звериным сильны мы тут, а человеческим. Так полагаю.

«Мудрит поп,— подумал Жмыхов,— пьян вовсе...»

Притулившись к берегу, тихо спал на реке паром. Они спустили на воду лодку и сгрузили в нее муку.

— Но-о!—крикнул Гаврюшка, весело тряхнув вожжами.— Прощевайте.

Долго тарахтели по лесу удалявшиеся колеса.

— Ну, садись, дочка,— сказал Жмыхов встрепенувшимся голосом.— Марька-то на хуторе поди заждалась.

Лодка скользнула по воде и, распуская по бокам играющую месяцем зыбь, поплыла книзу...

Из прибрежных кустов вышел на берег человек. Остановившись у самой воды, долго смотрел вслед уплывавшим. Смотрел до тех пор, пока долетали до него бубнящий голос отца Тимофея и раскаты звонкого девичьего хохота.

А когда замерли вдали людские голоса, человек на берегу задумчиво ткнул ногой блестящую гальку и, понурив голову, слушал привычным лесным ухом тихий шелест воды о камень.

6

Приемка хлеба и остальные дела задержали Неретина на неделю.

Теми днями шел по инородцам послух, что, уходя из Сандагоу, взял Тун-ло у Неретина чудодейственную бумагу к русскому Старшому в Хай-шинвее [1]. На самом же деле Тун-ло ушел в тайгу на охоту.

Свежим росистым утром выехал в Спасское обоз за хлебом. Пересекая падь, дружелюбно катились по дороге телеги. Высевалась из-под колес мягкая золотистая пыль.

---

[1] Китайское название Владивостока. (*Прим. А. Фадеева.*)

Натиснув — от солнца — к самым глазам солдатскую фуражку, ехал на передней подводе Неретин. Даже в дороге не умела отдыхать его луженая голова и варила одну за другой деловитые мысли.

О порыжевшие сапоги терлись истрепанные придорожные кусты.

В большой компании спокойно, не уросся, бежали лошади, и возчики, позатыкав в пазы вожжи, сгруппировались на нескольких телегах. Старые — к старым, молодые — к молодым. Глядя на изуродованную падь, уныло качали головами старики, молча попыхивали обгорелыми трубками. На задней подводе играл на гармошке Митька Косой. Не попадая в тон, орали несогласным хором парни:

Друга девка красивей —
На полтину дешаве-ей...

У перевальной Дубовой сопки разнуздали и напоили лошадей. Со стороны, обращенной к долине, сопка была совсем лысая, почти бестравная. Торчала на красном скалистом выступе одинокая ель. А из-за гребня смотрели в падь зеленые короны дубняка.

У опушки на вершине Неретин пропустил все подводы. На востоке, обвившись сырыми туманами, сгорбил мощную спину Сихотэ-Алиньский хребет. Крался там по иглистым тропам маньчжурский полосатый тигр, утопал во мху когтистой бархатной лапой. И, может быть, еще тише и скрытней пробирался за ним — шебуршал отполированным в траве улом — седой и молчаливый таежный сын, Тун-ло.

На Сихотэ-Алиньском хребте золотыми осенями бьются не на живот, а на смерть седогривые пантачи-изюбры из-за гибкого стана оленихи.

А внизу, под неретинскими ногами, расстилалась размытая и голая Улахинская падь. Казались с высоты сандагоуские хаты не более спичечных коробок. На угрюмых церковных задах притаилось темное и скучное кладбище. Но туда Неретин не посмотрел. Белела там новеньким, никому не нужным крестиком свежая могилка Минаевой,— а к чему бередить уже зарастающие раны?

Неретин видел, как начинали бахрометь в пади новой свежей травой принесенные сверху пески и гальки. Пугливые утки слетались на старые места к озерам.

В болоте под сопкой уже оправились от разлива синеглазые и красноперые ирисы.

И думал Неретин о том, как неумолимые стальные рельсы перережут когда-нибудь Улахинскую долину, а через непробитные сихотэ-алиньские толщи, прямой и упорный, как человеческая воля, проляжет тоннель. Раскроет тогда хребет заповедные свои недра, заиграет на солнце обнаженными рудами, что ярки и червонны, как кровь таежного человека. По хвойным вершинам впервые застелется горький доменный дым, и новые жирные целики глубоко взроет электрический трактор.

И оттого, что воспоминание о тракторе было связано с нехитрой жалобой гольда на обрывке березовой коры, захотелось Неретину, чтобы одним из таких тракторов управлял седой и молчаливый таежный сын — Тун-ло.

Грохот спускавшихся в тайгу телег становился все глуше, а Неретин стоял и думал. Из первобытной таежной тишины выскочил на проложенную людьми дорогу резвоногий заяц. Потыкался мордой, попрядал мохнатыми ушками и, увидев человека, испуганно нырнул в кусты.

Вызванивая подковками о камень никому не понятную песню, побежал с горы Неретин — многоликий и живучий, синеглазый и красноперый ирис на Улахинских болотах.

1922—1923

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Памяти Игоря Сибирцева

1

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами [1]. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший несчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство на его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуглив, и человек — как зверь.

---

[1] На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а Народно-революционной. (*Прим. А. Фадеева.*)

Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешанный грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня-завтра займут Иман,— куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну, как вы попадете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков.— Через фронт нам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ошь! — кричали из толпы.— Омманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть,— не сдавался Челноков.— Ведь мы оголяем фронг. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина.— Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифеи шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни, сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара. Он являлся единственным препятствием на ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз, ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челноков думал, что это единственный человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семенчук,— сказал Челноков, наклонясь к командиру,— если они уйдут — ты будешь отвечать.

Семенчук насмешливо улыбнулся:

— При чем тут я? Мое дело маленькое.

— Врешь! — не выдержал Челноков.— Ты продаешь весь фронт за свой командирский значок...

— Что-о?!

Семенчук вскочил, как ужаленный. В его напряженной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дро-

жал от деланного гнева.— Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они, что пришли на готовенькое, надели френчи и сели на наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул он злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо налилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь на этом сыграть...— сказал он со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил его повернуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела на комиссара стальная щетина неумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челноков принял руку с кобуры и несколько мгновений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и ненавистью глаза.

Челноков опустил голову и медленно сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук.— Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду! Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собира-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли...— неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса.— Мы и на ремне донесем. Старый режим, што ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наив-

ной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размышлять. Это было не очень приятное и не легкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко посвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя,— сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару.— Так нельзя,— снова повторил он вслух.— Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились.

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

2

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала:

«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».

Прочитав сводку, командующий северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная паника, с оставлением орудий, винтовок и амуниции, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными дикого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и кричавшего с пеной у рта:

— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!.. Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом панического бегства, трусости и позора.

Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже военные карты были составлены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные Хорские болота. Верховья реки Хор и ее притоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших ненужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданских комиссаров. Все они привыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значился по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был единственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующий снова взял газету, но чтение не шло на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто на этой заброшенной станции находится главный мозг фронта. Да был ли у такого фронта хоть какой-нибудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившие дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого жучка. Но командующему он казался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести,— сказал комиссар, заходя в вагон.— Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский отряд, вот телеграммы...— Он бросил на стол пачку розовых бумажек.— На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет,— сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару.— Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: «комендант пролетарий селезнев» — нужно было читать: «Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев».

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар.— Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал большую часть своей жизни, из которой почти три года пришлись на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке,— сказал он сухо,— дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России.— Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось в жалкой гримасе.— Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками

до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам,— сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик,— сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного провала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, несся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу,— с нарочитой строгостью сказал комиссар.— Сначала о деле. Идите все на свои места, потом поболтаем. Шептало и вы,— он посмотрел на отдельно стоящую пару,— пойдемте со мной.

— Рассказывай,— обратился он к Шептало, когда они зашли в купе.— А ты все такой же,— перебил он

себя, невольно переходя с официального тона на дружеский.— Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона и, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон.— Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела отдавать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы, говорят, маялись, делали, а вы удрали с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помотает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите, говорю, начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, машиниста,— продолжал Шептало.— Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще, черт его знает, какие службы облазил. Никто!.. Наконец, этот старичок. «Мне, говорит, все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало.— Большинство со Свиягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты, говорит, ко псу, сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало, говорит, мне соромно, я и вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне,— сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку.— Это так... случайные...

— У нас разрешение в Советскую Россию,— сказал один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так,— сказал комиссар.— Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкантской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ, горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы так же подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он.— У нас сапожники! Все потерьяли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так,— снова сказал комиссар.— И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию,— буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить военному делу,— насмешливо процедил Соболь.— Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат.— Белокурый полез в бумажник.— А ты зря идешь по военной,— сказал он с сожалением.— Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня,— сказал он, неожиданно меняя тон.— Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тяжелую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь,— недоуменно перебил латыш.

— Молчать!..— не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол.— Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление,— сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму...— В глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в областком! — вскипел латыш.— Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л...ладно,— сказал матрос после непродолжительного раздумья.— Мы можем, конечно, пойти и в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось,— холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь.— Выдайте этим двум удостоверения в комотряд... рядовыми бойцами,— добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь...— с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо,— сухо сказал комиссар.— Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры,— промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

3

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции,— тихо проговорил Челноков.

— Тсс!..— прошипел Соболь, до боли стиснув зубы.— Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зубами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог,— угрюмо пробормотал тот.— Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь.— Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что я не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удержать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе. Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю,— сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем по-иному.

— Федор,— тихо позвал он Челнокова,— ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего,— продолжал Соболь,— потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему,— сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк,— пояснил Челноков.— Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил телеграфный бланк и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк.— Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк.

«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Селезневу. Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта СОБОЛЬ».

— Орехово выше Аргунской,— пояснил он,— там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы

усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке,— сказал он Соболю.— А потом...— он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

4

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И, наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок выше того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протоки и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после Февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекрещен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и, в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет за Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было очень мало. И все-таки его нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо. В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев,— просто сказал вошедший.— Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь,— сказал председатель, указывая на стул.— Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле,— говорил председатель.— Вы сами знаете, что́ теперь творится. Можно сказать заранее, что вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что́ я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят,— сказал председатель. И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел

из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть благодаря этому, он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч,— сказал Селезнев,— ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем — куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: «Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия», явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых парней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел ево... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах.— Дрянь посудинка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев.— Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь— пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ не гордый...

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем,— серьезно сказал Селезнев.— А матросы тут все?

— Пятерых нет,— сказал «механик»,— удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка.— Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудинке! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе.— Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало,— сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета.

Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы.— Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну, скажи мне: ну, что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бума-

ги и щепотку крупного корешкового табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для нас...— тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью «исполнено».

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным

количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом,— сказал ему Селезнев.— Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором, кроме смены белья, хранилось «Руководство для кораблеводителей», издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дра-

лись смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты.

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: «комендант пролетарий селезнев».

5

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова,— сказал он, добродушно щурясь в темноте,— днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем и — каюк.

По счастью, мель оказалась не широкой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал «писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия,— сказал он «писучему человеку»,— кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухонный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здорово. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал...— неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то,— раздался из кустов хриплый насмешливый голос.— Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело,— сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев,— начал он, нервно мигая глазами,— не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?..

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу,— сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев...— В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки.— Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть,— устало перебил Селезнев.— Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет,— сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продолговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: «никаких... частей... не грузите...»

6

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая народом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов,— сказал он, быстро оборачиваясь к капитану,— на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом.— Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силом — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда,— позвал он «хозяйственного человека».— Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишка-то чуть жив, того и гляди на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий,

прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри,— предупредил Селезнев,— если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револьвером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет,— засмеялся Кныш,— дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные. Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы...— раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы,— похвалил Селезнев,— боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда,— сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода,— отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряжка»,— беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно,— продолжал Семенчук,— насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш — время»,— думал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так,— говорил он, хитро прищуривая глаза.— Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно,— согласился Кныш.— Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то.— Нас целый отряд, а не то што какой один...

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик...— Кныш выразительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил: — Подчистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело,— ответил Семенчук,— отправили нас срочно и писанного приказа не дали. Командующий на словах передал: «Идите, говорит, там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев.— Ну, ты сам командир,— понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну, как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело, как! — воскликнул Семенчук.— Омманывать я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб,— предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал,— соврал Семенчук.— Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье, он прошелся по каюте

и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом.— Руки на стол! Ну-у! Поговорим по-настоящему.

— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея.— Ты что!.. Ах ты, с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой.— Только пикни! Дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди,— мрачно пошутил Селезнев.— Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег,— сказал народоармейцу,— и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз.— Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончат грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет»,— подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый...— Кныш презрительно почесал за ухом.— Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув

пояс и надвинув фуражку на лоб, выбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чувствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточно, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду... постоянный прицел... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и густо и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать,— сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев.— Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

7

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман, усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них,— сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь.— Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала внизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал в нем командира первой роты Буланова, бывшего пасту-

ха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку, и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челнокова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась — Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну, вот что, ребята,— дрогнувшим голосом сказал Челноков,— бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойной, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась на двое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в этот же момент вся шеренга увидела Челнокова,— счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла. Командир первой роты Буланов удивленно обернулся и застыл.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов.— Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков.— На ком остановился счет? Продолжайте...

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй...— хрипло отозвался сосед.

— Первый...— смущенно откликнулся третий.

— Второй...— уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

1923—1934

ОДИН В ЧАЩЕ

(Глава из повести «Таежная болезнь»)

I

«Старик» проснулся на таежной прогалине — в багряной, облитой солнцем траве.

Он не удивился, что лежит один на незнакомом месте. Но прошлое, такое недавнее и близкое, было подернуто туманной дымкой, будто отодвинулось вдаль, стало чужим. Он ощущал *новое* в себе и вокруг. Оно слагалось из тончайших неуловимых переживаний, которым нет имени, но самым важным, существенным, незабываемым было ощущение себя и, прежде всего, своего тела. Он чувствовал, как живет, как дышит в нем каждый атом, каждая клетка. Казалось, стоит хоть немножко пошевелиться — и заиграют, запляшут насыщенные живым и горячим мускулы. Он осязал даже мельчайшие неровности почвы под собой. Когда закрывал глаза, на каждой ресничке чувствовал солнце и вбирал, ловил его жадными веками. Где-то у виска размеренно билась тоненькая жилка, и, казалось, впервые он ощущает ее биение. Будто не было тут раньше никакой жилки!.. Даже ласковый шорох засыхавшего пырея проникал не только в уши, но во все поры тела, ощущался всем существом от пяток до кончиков волос.

Старик живо приподнялся на локте, тряхнул головой, осмотрелся. Таежная прогалина ничем не отличалась от тех, на которых частенько приходилось спать в последнее время. Но она показалась ему необыкновен-

но, несказанно красивой в золотисто-желтом уборе осеннего листопада. Это впечатление было тем более странным, что раньше он либо не замечал окружающей природы, либо она имела для него чисто практический интерес.

Старик происходил из той породы неугомонных людей, жизнь которых богата внешними и внутренними переживаниями и ощущениями. Но *эти* были новы и особо значительны для него. До сих пор он слишком мало — гораздо меньше, чем это допускал даже его род деятельности,— обращал внимание на себя. Всю сознательную жизнь он, почти забывая о собственном существовании, занимался другими людьми — людьми своего класса. И в этом занятии, заключавшем основной смысл и неосознанную радость его жизни, участвовала гораздо больше голова, чем тело. Проснувшись на заброшенной таежной прогалине, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки, как тросы.

В первые минуты он не подумал о том, хорошо ли это или плохо. Может быть, в новых ощущениях крылись неведомые опасности, но он не мог знать этого теперь и просто, бесхитростно наслаждался.

Ему вспомнилось почему-то, как с неделю тому назад у речного откоса подошел к нему тонконогий Федорчук и, насильно перебирая трясущимися губами, сказал:

— Что нам теперь...— он замялся, очевидно отыскивая наиболее значительное и безнадежное слово для выражения своей мысли, и, не найдя его, снова повторил: —...что нам теперь... делать? Или уже все кончено?..

Справа от них тянулись нависшие над пересохшим оврагом густые вербовые заросли. Оттуда доносилась бойкая ружейная трескотня, и пули с визгливым чмоканьем проносились над головами.

Впервые разглядев как следует безвольную, опущенную фигуру Федорчука, Старик подумал, как неосмотрительно областной комитет распределяет людей. Человека, годного самое большее к расклеиванию прокламаций, он прислал в качестве организатора партизанских отрядов. Надо же было, черт возьми, иметь голову на плечах!

Но растерянные, опустошенные глаза Федорчука робко просили о поддержке. И хотя Старику не верилось, что кто-нибудь выберется живым из этой гиблой, изрезанной летними водами долинки, он бодро хлопнул парня по плечу и пошутил, как всегда добродушно и весело щурясь:

— Дурило! Мы еще только начинаем. Неужели ты думаешь, что *они*,— тут он неопределенно ткнул пальцем в вербовые заросли,— полезут за нами на Эрльдагóускую тропу?.. Нет уж, брат, дудки, этот номер не пройдет!..

Федорчук не знал, что на свете не существует никакой Эрльдагоуской тропы, и немножко приободрился.

В тот момент ничего похожего на переживания сегодняшнего дня у Старика не было и не могло быть. Тогда он ни разу не подумал о себе,— наоборот: больше, чем когда-либо, забыл про свое существование. Хотелось только утешить Федорчука и других, таких же как Федорчук, с такими же бледными и растерянными лицами. Все они жадно прижимались к земле, казавшейся им последним убежищем до и после смерти, и бестолково стреляли по вербовым зарослям сквозь плохо прикрывавший их обнаженный и колючий кустарник. Старик замечал, как некоторые украдкой срывали с фуражек красные бантики.

Не было этих переживаний и потом, когда в течение недели их гнали все выше и выше, пока не стиснули совсем в паршивой деревушке в верховьях Эрльдагóу. Там, на прокуренном и заплеванном постоялом дворе, даубихинский спиртонос Стыркша сообщил последнюю новость: голову Старика оценили в тысячу рублей. Походная типография атамана Калмыкова сотнями разбрасывала по падям листки с приметами Старика и обещаниями всевозможных благ (на том и на этом свете) за поимку живого или мертвого.

Старик почувствовал, что на него устремились десятки испуганно-вопросительных глаз. Но не только потому, что на него смотрели другие, а и потому, что собственная личность меньше всего интересовала его в эти дни, он стал беспечно шутить и смеяться.

— Вот не было печали,— сказал он, приподымая насмешливо прямые жесткие брови.— Додумались же, сукины дети! Чудаки, право...

Но его никто не поддержал. Стыркша вынул изо рта обгорелую трубку с чубуком в виде оскаленной собачьей пасти и, сплюнув желтую от никотина слюну, сказал:

— Смеяться тут нечего. Мою голову оценяли и в старое и в новое время. Не скажу, чтоб уж очень дорого, но жить даже с дешевой бывает несладко.

Он по привычке погладил против шерсти растрепанные, лишайного цвета усы и, снова зажав трубку зубами, пояснил:

— Вы и без того бегаете, как зайцы, а тут гайка совсем заслабит. Потому — соблазн! Знает тебя всякий мальчонка, а тысяча рублей — пущай «сибирками» — деньги немалые.

Утром их вышибли из деревушки, прижали к таежному хребту, и Старик почувствовал на собственной шкуре, что спиртонос был прав.

Это последнее бегство сохранилось в памяти наиболее четко и, как видно, имело для Старика наибольшее значение.

Бежало около сорока человек. Но Старика узнали по плотной угловатой фигуре, по крепкому затылку, по буйным седеющим волосам. Его сразу выделили из всех. Назойливые свинцовые мухи затенькали, завизжали над ним обильней и яростней, чем над всеми остальными вместе. Казалось, весь огонь, вся злобная ненависть людей под горой сосредоточились только на нем. Ощущение было, будто пули задевают волосы, даже пушок на ушах. Их визгливое сюсюканье зловеще отдавалось в мозгу.

Он бежал в гору через валежины, разрывая цепкий широколистый виноградник, захлебываясь росистой паутиной, проваливаясь на каждом шагу в гнилую древесину. Залпы летели широкие, раскатистые, рассыпчато-гулкие, как горные обвалы. Привычным ухом он различал, как в перебойный треск винтовок вплетался округло-четкий плач японских карабинов. Огненными нитками — настойчиво, жестко, бесстрастно — строчили бездушные пулеметы. Казалось, пули дробятся в ветвях на мириады электрических искр, насыщают воздух колюче-ржавой пламенной пылью и ею дышат люди, обжигая легкие.

Последний человек, которого он увидел недалеко от себя, была отрядная сестра. Окруженный смертельным свинцовым роем, Старик чувствовал, что все инстинк-

тивно сторонятся его. Но сестра по неопытности держалась близко. Ее матово-смуглое, красивое лицо перекосилось от ужаса. Спутавшиеся каштановые волосы непослушно трепались на ветру. Она цеплялась юбкой за корявое ломье и несколько раз падала с жалобными возгласами.

Даже в тот момент, когда все, казалось, желало *его* смерти, Старик прежде всего подумал не о себе, а о другом человеке, который мог погибнуть возле. Он крикнул:

— Не приближайтесь ко мне!.. Вы слышите?.. Не теряйте из виду остальных!..

Сестра вскинула на него глаза, наполненные слезами и жутью, и сказала не столько ему, сколько себе:

— Мы не уйдем отсюда живыми...

Старик почувствовал, как что-то суровое и нежное, неизбывно жалостливое рванулось и затрепетало в сердце. А когда через несколько секунд он посмотрел в ее сторону, она лежала, опрокинувшись через бревно, уткнувшись головой в пропахший спиртом, прелый листозём, и ее гибкое тело исходило последней дрожью.

Старик понял, что это смерть и что смерть ужасна. Но еще лучше понял он,— вернее, почувствовал всем нутром,— что *жизнь* прекрасна и радостна и что он любит жизнь,— хочет и будет жить во что бы то ни стало, ибо самое страшное — лежать вот так, опрокинувшись через бревно, уткнувшись носом в мертвую землю, и знать, что через несколько секунд тебя не станет. И потому, что сердце Старика работало неутомимо, как машина, а ноги стихийно, стремительно, мощно несли над землей послушное тело, и потому, что все его насыщенное волей и бегом существо напряженно рвалось к жизни, молило о жизни, цеплялось за жизнь мельчайшими клеточками, фибрами, жилками,— он выдержал этот полуверстный пробег под огнем на вздыбленные кручи Али́ня. Это был пробег израненного зверя через чащу, бурелом, карчи. Но он вырвался все-таки на хребет... вырвался — взмыленный, изодранный и ярый, но живой!

Напрягая последние силы, перевалился через мшистый, изъеденный козьими тропами гребень и, полный неутолимой злобы, свалился у подножий густоиглого пихтача. Он весь дрожал от напряжения. Жилистое, исца-

рапанное тело изнемогало в бессильной ярости. Он сам не мог бы сказать, чего в нем больше: усталости, торжества или бешенства. Хотелось снова высунуться за гребень и выхаркнуть двуногому зверью в желтых околышах:

— Смотрите! Вот моя голова!.. Вы оценили ее в тысячу рублей! Но она никогда не достанется вам — она сидит еще слишком крепко для вас!..

Он насильно разжал судорожно стиснутые зубы и затих, прижавшись к земле разгоряченной щекой.

За хребтом глухо рычали автоматы. Пули с визгом буравили повисшее над хвоей осеннее, голубовато-серое небо. Старик чувствовал, как в прижатом к земле ухе копошится какой-то надоедливый жучок, которому, очевидно, не было никакого дела до всего происходящего, а другим настороженно ловил каждый звук за хребтом.

Стрельба нарастала, как прибой.

Старик превозмог усталость и, крепко сжав винчестер, откидывая корпус назад, чтобы не упасть, побежал под гору. Когда ввалился в сырое и темное ущелье, с гребня снова трахнуло тяжелыми гулкими залпами и... «та-та-та»...— залился хриплым безудержным лаем пулемет.

Яростно закусив губу, Старик помчался вниз по ключу. Ущелье раздалось неширокой лесистой долинкой. Он вымок от росы, отяжелел и фыркал, как изюбрь. Инстинктивно огибал выраставшие перед глазами осенне-алые кусты, прогнившие валежины, затаившие испуганный мышиный писк, навалы сухостоя. Ноги спотыкались о вросшие в землю, проржавевшие мохом и плесенью коричнево-слизкие валуны.

А со всех сторон обнимала его хвойноиглая, златолистая, сухотравная, напоенная осенней тишиной тайга. За желтым ветвистым кружевом уж не таился зверь. (Незнаемыми тропами ушел он к главному становику, в далекие дебри Садучара.) Трепетной утренней бирюзой играли ключи под нежарким солнцем. Печально и тихо, как слезы, звенели по листьям янтарные ро́сы. Засыхавшая осока шуршала в заводях зазывно, маняще-таинственно. В золотистом таежном увядании, в запавшей в паутины грусти, в унылых и скорбных, опустевших, забытых зверем чащах хотел жить, казалось, только один измученный и загнанный человек.

Он бежал до тех пор, пока не смолк позади ружейный говор, пока хоть каплю сил мог выжать из себя. А исчерпав последние, приткнулся в траву взлохмаченной потной головой и, слушая идущие будто из-под земли толчки чужого неугомонного сердца, заснул.

И, видно, в те минуты, когда шелестело на висках свинцовое дыхание смерти, когда лежал на хребте, прижавшись к хвое чутким, настороженным ухом, когда ломился без дороги в лесном багряном золоте, а после спал в облитой осенним солнцем траве, все его существо незримо перерождалось. Но, проснувшись, Старик впервые почувствовал, что кровь играет в нем, как свежий кленовый сок, а жилы туги и звонки, как тросы.

Он сидел на прогалине с сурово сжатыми губами, а внутри, прорываясь сквозь смутную тоску одиночества, крылато и бурно, как вспуганная птица, полыхала необъятная радость, радость здорового, оставшегося в живых тела. Он вытянул вперед руку, с силой напружил мышцы и с какой-то детской радостью подумал: «А ведь я чертовски здоров!..» Было так приятно сознавать это, что он даже удивился, как не замечал раньше. Ему стало смешно и даже обидно, что у него в тридцать лет седые волосы и его зовут «Стариком». «А ведь как бежал... бежал-то как?.. Ах, дья-а-вол!..» Он засмеялся с мальчишеским задором, наслаждаясь, как ребенок, сознанием своей силы. Несколько раз сгибал и выпрямлял ногу. Она ныла слегка после чрезмерной работы. Где-то у таза играл твердый, мускулистый шарик, сквозь кожаную штанину проступали мышцы, упругие и крепкие, как корни. Положительно, он никогда не замечал этого раньше! Он действительно переродился наново.

Старику не хотелось уходить, солнце пригрело его, он готов был весь день провести на этой прогалине. Лежа на спине с закрытыми глазами, нарочно отгонял мысли о будущем и думал о том, как это хорошо, что он все-таки остался жив, какая хорошая и приветливая попалась ему прогалина, и как хорошо, светло и чудесно кругом, несмотря на осень. Он думал также, что если бы раньше в каждый час своей жизни он испытывал то необыкновенно радостное чувство, которое владело им на этой прогалине, то его работа и вся его жизнь, и без того казавшаяся неплохой, были бы еще интересней и привлекательней.

Наконец он заставил себя подняться. Тщательно подвел итоги имуществу: провизии нет, теплой одежды нет, шапку потерял... спички?.. Испуганно схватился за карман. Здесь! Достал коробку и бережно пересчитал: семнадцать штук. При внимательном отношении хватит дней на восемь.

Вскинул винчестер за плечо, постоял несколько секунд, прислушиваясь к себе и вокруг, и, бодро насвистывая, зашагал книзу.

II

Утреннее, нарочито веселое настроение долго не покидало Старика в пути. Непролазно-цепкий кустарник загораживал ему дорогу, но он уверенно раздвигал его крепкими руками и неутомимо шел вперед. Ноги упруго тонули в мягком настиле опавших листьев, каждый шаг отдавался во всем теле хмельным и радостным зудом. И мысли Старика были необычайно просты и примитивны — исключительно практические мысли о том, как лучше пройти. То он пролезал, согнувшись, под поваленным деревом и думал: «Вот отогну еще эту веточку, а потом шмыгну вправо — там меньше кустов». Или: «...нет, лучше пролезть по ту сторону ясеня... Перейду овражек по бревну и прямо двинусь вдоль ключа». Старик знал, что нарочно думает о таких вещах, отгоняя беспокойные заботы о будущем, которые своим неопределенным содержанием («...куда я выйду? Да выйду ли я вообще отсюда? Что ожидает меня в ближайшем жилье? Может быть, то же, что осталось позади?..») могли нарушить его душевное равновесие.

Через некоторое время захотелось есть — первое, что омрачило его бездумное и беззаботное состояние. Он подобрал с земли несколько кедровых шишек и уселся на камне возле ключа. Заходящее солнце било откуда-то сбоку тепловато-осенним светом, и под ним таежный лист и мох, устилавшие ключевую низину, отливали червонно и бархатно. Склонившись над ключом, Старик долго разглядывал свое лицо. За последние недели оно заросло жесткой чернявой щетиной, где-то под глазами залегли усталые складки. Но все же это было мужественное, энергичное лицо, и оно понравилось Старику.

Раньше он никогда не интересовался им, месяцами не заглядывая в зеркало.

Снова любовное ощущение своего тела овладело им. Он сидел, раскинувшись широко и вольно, и гордился тем, что заросшее мужественное лицо, пытливо смотрящее из воды, принадлежит ему. Но когда раздался вблизи какой-то шорох, Старик отскочил в сторону, не помня себя от испуга. И хотя тут же заметил, что тревога была ложной, насилу удержался от непреодолимого желания спрятаться за ближайшим кустом. Сердце, сорвавшись с тормозов, зачастило короткими и быстрыми ударами...

...Так вот как! Оказывается, сегодняшний день принес ему не только безмятежное любование собой, но и голую, неприкрытую боязнь за жизнь? Так, значит, в том, что он приобрел на таежной прогалине, таятся не только прекрасные возможности, но и кой-что другое, враждебное всей его природе? Ведь раньше он не знал страха, а теперь жаль было лишиться сильного тела и никогда не увидеть «мужественного» лица, которым только что восхищался?!

Старик не успел еще разобраться в нахлынувших вопросах, как новая мысль помимо воли сковала его члены. Он вспомнил, что карательные экспедиции водят с собой собак-ищеек, и в ужасе оцепенел. Разве не могла увязаться за ним одна из таких ищеек, и все нечеловеческое напряжение сегодняшнего утра окажется напрасным?! Он боязливо прислушался и осмотрелся по сторонам. Но лес стоял безмолвен и неподвижен, только ручей звенел по камню тихим серебряным звоном да где-то далеко посвистывал одинокий рябчишка. Тогда Старик опустился на камень и засмеялся чужим, враждебным смехом — прерывисто, хрипло, зло.

Тайга шутила с ним злые, нехорошие шутки, это она смеялась над ним беззубо и мертво, грозила корявыми пальцами обомшелых елок. Но она не знает, видно, с кем имеет дело! Человек, способный руководить сотнями и тысячами *людей*, не может и не должен бояться таежных шуток! И, насильно заглушая всякие проявления страха, Старик начал доказывать себе так же логично и несокрушимо, как это он делал в свое время другим людям, что если бы у преследовавшего его отряда были собаки-ищейки, то они нашли бы его, еще когда он спал

на таежной прогалине. «Допустим даже, что их привели позднее,— наставительно и строго рассуждал Старик, как будто он говорил все это Федорчуку,— но тогда, сколько ни волнуйся, они рано или поздно все равно найдут тебя. Так уж лучше вести себя спокойно и не праздновать труса, чтобы не потерять к себе всякого уважения...» Он не замечал, что во время этих рассуждений его уши чутко ловили каждый шорох. Он ужаснулся б, если бы знал, что они приобрели способность шевелиться, как у зверя!

И когда он тронулся в путь, казалось, что кто-то неведомо страшный норовит вцепиться ему в спину, и мелкие мурашки бегали по спине. Но он упорно боролся с этим ощущением,— то замедлял шаги, то принимался петь, то останавливался, как бы поправляя обувь,— не оглядывался до тех пор, пока привычный ритм ходьбы не вернул ему душевного равновесия.

Вечером Старик снова испытал смутную тревогу человека, не привыкшего к лесному одиночеству. Нужно было разводить костер, но он заранее содрогался от мысли, что это будет единственная светлая точка во всей тайге. Казалось, враждебные ночные силы уставятся на нее тысячами глаз. А без огня с таинственно-мохнатых елей стекала в сердце тоскливая жуть, тело зябко ежилось от сырости. Собирая хворост, Старик нарочно как можно сильнее трещал ломьем, с грохотом разбивал его о стволы. Гнетущая ночная тишина окутывала, засасывала, давила его. Но Старик не хотел подчиняться тишине! Он ломал даже те сучья, которые не тяжело было дотащить целыми; несколько раз, изменяя своим целомудренным привычкам, похабно и скверно выругался.

А потом, тоскливо сидя у огня, грыз набившие оскомину орехи и думал, что если бы удалось опустошить даже весь кедровник, и то б он не смог насытиться такой мелочью. Он злобно швырнул шишку в огонь и, безнадежно обхватив колени липкими от смолы руками, задумался...

...Интересно, как теперь в городе? Сенька Данилов из Центрального штаба должен поехать скоро для связи. Старик ясно представил себе Сеньку Данилова с его сухим, казенным лицом, редкими усиками и безразличными, неизвестного цвета глазами. Ночью, крадучись

по темным слободкам, он проберется на квартиру к Крайзельману. После обычных приветствий и поцелуев, во время которых все его лицо распустится неожиданно в доброй и светлой улыбке, он снова оденет на себя сухую, казенную личину и начнет рассказывать без всякого выражения, почти газетным языком:

— Такого-то числа части атамана Калмыкова совместно с японцами и чехословаками предприняли общее наступление на наши отряды...

Будет перечислять по очереди: такого-то числа разгромили такой-то отряд (тут он покажет по карте, где этот отряд стоял), такого-то числа — такой. Наконец, дойдет до Старика. В этом месте предупреждающе замигает веками, и снова лицо его станет живым, грустным и добрым. Дрогнувшим, изменившимся голосом он забормочет:

— А еще, брат Крайзельман, паршивая новость... Старик пропал без вести... Дурацкая там какая-то история вышла... Голову его оценили — вот у меня листок...

И, странно смутившись, он полезет за пазуху. А Крайзельман, схватившись за голову, опустится над столом и будет причитать:

— Что вы наделали... ай-я-я-яй, что вы наделали...

Он наверняка прослезится, может быть достанет платок. А потом, разнервничавшись, забегает по комнате — маленький, толстенький, лохматый,— начнет кричать:

— Как же вы не сумели уберечь? Вот и посылай вам членов областкома!.. То небось грязью обливали,— члены, мол, областкома пороха боятся... А вот как уберечь... ра-зявы!..

Успокоившись, он будет раза три предупреждать, чтоб Данилов больше никому не рассказывал.

— ...Знаешь ведь, какое тут настроение? Упадок! Ребята в десятках только на Старика и надеются. Это *партийные* ребята. А что на заводах?..— Тут Крайзельман по склонности преувеличивать выпалит что-нибудь оглушающее: — Там на него молятся! Если до них такая вещь дойдет, так ведь тут какой провал?! А мы забастовку Временных мастерских облаживаем... Нет, нет! Никому не рассказывай, пусть один комитет знает...

Но сам он не выдержит первый и под величайшим секретом выболтает обо всем «Соне Большой». (В инвен-

таре областного комитета числится еще «Соня Маленькая».) В ближайший вечер соберется у «поэта Миколы» на 6-й Матросской вся партийная молодежь. Чех — Ма́лек, разумеется, «совсем случайно», притащит несколько банок спирта, и, когда заложат основательную толику (сколько раз Старик убеждал их не пить, но они всегда сваливали на «тяжелую обстановку»), Соня не утерпит:

— Это, ребята, конечно, большой секрет, но... в сопках дела швах... Старик пропал без вести...

И хотя почти ни у кого не остынет желание попеть и повеселиться, несмотря на грустную новость (народ все молодой, а близкие люди гибнут уже не в первый раз), но все будут стыдиться перед собой и перед другими такого скверного чувства, будут пить молча, угрюмо, сосредоточенно, пока с Малеком не сделается припадок. Он грохнется на пол и, разрывая на груди рубашку, начнет кричать:

— Под-дайте мне Массарика — я его з-зарежу!!

А на завтрашний день к вечеру вся организация и все заводы будут знать о тяжелом положении в сопках и о пропаже Старика.

Он представлял все, до мельчайших подробностей,— тесная, плотно набитая людьми каморка на 6-й Матросской вставала перед ним во всей своей неприглядности: душно, накурено, наплевано, налито на столах. У людей потные, возбужденные, пьяные лица. «Там, в городе,— думал Старик,— люди живут нервами и головой, и более слабых тянет к вину, к дурману (он вспомнил, что Малека жена нюхает даже кокаин), чтобы забыть про нервы, про голову, как будто можно в вине и в дурмане найти отдых и забвение...»

— А здесь?..— неожиданно спросил он вслух. И, оторвавшись от своих мыслей, вопросительно посмотрел вокруг.

Стояла ровная, невозмутимая тишина. Чуть-чуть шипели в огне мокрые валежины, багрово-красные искры рассевал костер. Со всех сторон обступала густая, непроглядная и непролазная темь — непоколебимая темь, как стена. И оттуда, из темноты, тянуло здоровым, крепким и свежим, медвяно-спиртовым запахом хвои, прелого листа, теплой осенней ночи. Осень стояла сухая и пахучая. В той самой тишине, которая несколько часов тому назад, казалось, заглушала всякие проблески жизни, Ста-

рик почуял вдруг мощное и плавное дыхание вечно живого тела.

«Какой контраст!..— подумал он с непонятным ему ощущением тоскливой, щемящей грусти.— Все-таки в городе очень сумбурно, а главное, чувствуется в людях усталость, и это очень опасно для них и для дела. А здесь — покой и первобытная тишина. Она пугала меня весь день. Но здесь свежо и здорово, здесь нет усталости, и, несмотря на осень, несмотря на ночь,— неслышная и незримая для непосвященного,— идет вечная, негасимая жизнь...» Он бросил в огонь хворостинку, и яркая вспышка смолистой хвои обдала его теплом и горьким, щиплющим глаза дымом. «Но ведь в городе не только дурман и усталость? — подумал он, обтирая слезы, невольно выступившие на глазах.— И почему мне вспомнилось именно то, как выпивают ребята, и вся скверная обстановка их частной жизни?.. И что это вообще происходит со мной сегодня?..» Старик не поспевал осмыслить того неясного процесса, который происходил в его душе, рождая совершенно незнакомые, чуждые его натуре переживания и ощущения. «Там, в городе, тоже идет своя, насыщенная живой человеческой кровью жизнь и борьба. Эта жизнь есть в то же время и моя. И откуда это,— почему это нужно было противопоставить то, что происходит в городе, здешней тишине и покою?.. Нет, не в том дело, что нужно — как узнать теперь, что нужно и не нужно? — это пришло само, но почему пришло?.. *И это очень опасно для меня»,*— вдруг подумал он, сразу испугавшись новой мысли и заминая ее другими.

Ему представлялось теперь, как известие об его исчезновении попадет на судостроительный завод, где после семилетнего перерыва он снова работал в последнее время, скрываясь от колчаковской контрразведки.

Утром, с опозданием на пять минут, «поэт Микола» прибежит в инструментальную. (Такое опоздание Микола называл «академическим», хотя за него вычитали из получки, как за целый час.) Разумеется, он, как всегда, в засаленной, наполненной стихами робе и в широченных джутовых галифе. (Из этой материи обычно шьют мешки под бобовые орехи.) Из одного кармана торчит у него газета, а из другого вобла, колбаса или что-нибудь в этом роде. Он лихо вытащит из кармана

коробку первосортного «Триумфа», долго, «с фасоном», будет стучать по крышке, и, только когда откроет, обнаружится, что в коробке — махорка. Усатый Кунферт, залезая в нее чуть ли не ногами, из вежливости спросит:

— Это у тебя какая? «Казак» или «Золотая рыбка»?..

Но Микола окинет его многозначительным взглядом чудных, огромных глаз и, склонившись к уху, шепнет:

— Старик наш без вести пропал... Вчера у меня ребята были, так сказали. Голову его какой-то чудак оценил в пятьдесят тысяч рублей,— факт!.. Только это большой секрет... понял?.. Усатый черт.

Кунферт, долго не понимая, в чем дело, будет без толку закручивать и снова раскручивать тиски, неизвестно для чего поковыряет ногтем ржавую плашку, вопросительно поплюет по сторонам махорочными крошками. Потом он подымет голову и скажет:

— Микола!.. Ты знаешь,— они продешевили..

Первый же токарь, пришедший сменить резец, или слесарь — за метчиком или плашкой, уйдет посвященным в тайну самим Миколой, разумеется с напутствием, «что это большой секрет», и т. д. И к обеденному перерыву о событиях в сопках узнают решительно все, начиная от опутанного огненными змеями сопливого и вихрастого вальцовщика Федьки и кончая угрюмым сталеваром Денисовым. Одни будут радоваться, другие горевать, третьи бояться даже одной той мысли, что им что-то известно о находящемся в немилости у начальства Старике. Но подавляющее большинство примет это известие с угрюмой сосредоточенностью и еще сильнее уйдет в себя, где неустанно, невидимо происходит большая и скрытая коллективная работа. Эти не выскажут никакого суждения,— выслушают и отойдут молча. А потом под урчанье станков, под злобный шелест трансмиссий, под лязг и грохот прокатных станов, под львиный, адовый рык мартена они будут сверлить, строгать, вальцевать, плавить и думать не только о Старике, но о многом-многом другом.

Старик сидел, согнувшись у костра в безнадежной позе, и душа его по-прежнему ныла от непонятного, щемящего, тоскливого чувства, как будто все то, о чем он думал, было и родным и душевно близким ему, но уже почти невозможным для него, а потому невозвратно да-

леким. Он снова вопросительно посмотрел вокруг, но темь стояла по-прежнему глухая и сытая, несокрушимая, как стена. И небо с неведомо куда ведущим Млечным Путем смотрело нерадушно и молчаливо.

III

Утром Старик поднялся с мучительным ощущением голода. Желание и способность съесть в любой момент все что угодно стало с этой минуты его неотъемлемым свойством. Он беспрерывно жевал кедровые орехи, виноград, виноградные листья, попаренные над огнем грибы, какие-то неведомые корешки — и все-таки не мог насытиться. Порой удавалось подстрелить белку или рябчика — он неумело поджаривал их на угольях и съедал полусырыми,— но проходил небольшой промежуток времени, и снова мучительно, жадно, неутолимо хотелось есть.

Но зато не менее мучительные, противоречивые мысли и настроения совсем покинули его. Если бы он не был так голоден, можно б было сказать, что он сроднился с новой обстановкой. Вкрадчивые лесные шорохи больше не пугали его. Темнота не казалась страшной, ноздри привычно вбирали пряные таежные запахи. И мысль больше никогда не возвращалась к прошлому, как будто жизнь Старика началась с пробуждения на таежной прогалине, а до этого ничего не было.

Иногда неясные видения прошлого вставали перед ним во сне. То он переживал свой первый арест, то бегство из чехословацкого лагеря. Почему-то особенно часто рождалась в сонном мозгу картина обыска, рыжий длинноусый чех с бородавкой на щеке вынимал из шкафа томики энциклопедии Брокгауза и Ефрона и, обнаружив аккуратно уложенные у стенки трехлинейные патроны, кричал другому:

— Братче, подпоручику!.. Здесь цела купа па́тронов!

Старик нервно вздрагивал во сне, но, просыпаясь утром, не помнил ничего; судорожно ежился от крепкого утреннего холодка, быстро умывался в ключе и тотчас же принимался за поиски пищи.

Ему казалось, что он идет уже очень долго,— он потерял бы счет дням, если бы количество израсходованных

спичек не указывало на пройденное время: Старик тратил ежедневно по две — в обед и вечером, — и спичек осталось девять. Он так привык к однообразному ритму ходьбы, что постепенно стал забывать окружающее. На пятый день пути попались старые порубки. Хвоя уступала место листвяку, кустарник заметно редел. Но Старик не замечал этих перемен, пока смутное, беспокойное ощущение чего-то нового под ногами не заставило его очнуться. Он остановился, окинул тайгу недоумевающим взглядом и, наконец, понял, что уже с полчаса идет по тропе.

Сердце его заколотилось бурно и радостно. Он сорвался с места и почти побежал. С каждым шагом чувствовал прилив свежих, неуемных сил, снова каждая жилка заиграла в нем, и даже мучительные ощущения голода потеряли свою остроту.

Так дошел он до редкой березовой рощицы; стройные стволы берез чернели широкими опоясками ободранной коры. Старик понял, что где-нибудь неподалеку находится дегтярный завод. Пройдя еще с сотню сажений, почуял горький запах кедрового дыма, а через несколько минут стали доноситься ядреные и сочные удары топора по дереву. Крадучись вдоль кустов, он проковылял еще несколько шагов. В просвете меж деревьев замаячила чья-то голова в коричневой, выжженной солнцем войлочной шляпе. Старик спрятался за деревом и осторожно выглянул.

На вытоптанной, обрамленной березками лужайке стояла под навесом из кедровой коры дегтярная печь с трубой и узеньким деревянным желобком. Она, как видно, не работала. Горький кедровый дым сочился из земляного бугра над смолокурной ямой. Рослый, сутулый и кривоногий мужик с лицом кирпичного цвета, обросшим волнистой светло-русой бородой, степенно и неторопливо рубил кедровое смолье. Веснушчатый курносый парнишка без шапки сидел неподалеку возле шалаша и тоже что-то строгал.

Старик бесшумно вышел на лужайку и, громко крякнув, сказал:

— День добрый!..

Мужик испуганно поднял голову и выронил топор. Парнишка шмыгнул глазами на вновь прибывшего и замер на месте в том положении, как его захватил Ста-

рик,— с согнутой рукой и ножиком под недоконченной стружкой.

— Ну, чего испугались? — сказал Старик, стараясь придать голосу хоть оттенок приветствия. Но язык и гортань не повиновались ему, и голос звучал враждебно и глухо.

— Смолу гоните, что ли?..— продолжал он, чувствуя, что только разговором можно доказать свое человеческое происхождение.

Кирпичное лицо с волнистой бородой вернулось к жизни. Мужик опустился на обрубок; не глядя на Старика, попробовал улыбнуться, махнул безнадежно рукой, снова попробовал улыбнуться и снова махнул и, наконец, тяжело переведя дух, сказал:

— Ф-фу... твою мать!.. Ну, напугал...

Покачал досадливо головой в войлочной шляпе и, все еще не придя в себя, повторил:

— Н-ну, напугал... ей-богу... Вот напугал!..

И, вскинув на Старика маленькие зеленоватые глазки, в которых играли и насмешка — досада на себя, и неприязнь — обида на непрошеного гостя, он хмуро и укоризненно спросил:

— Откедова это тебя, черта патлатого?

Никто не учил Старика, как нужно вести себя в тайге при встрече с незнакомыми людьми, но он усвоил это стихийно, как все, что приходилось делать за четыре с половиной дня таежного пути. Не своим — грубым, хриплым и резким голосом сказал:

— А ты поговори еще немного!.. Где был, там нету...

И откровенная грубость эта к человеку была так же необычной, непрошено новой, как все, что он переживал в эти дни.

— Пожрать давай,— продолжал он, с непонятным удовлетворением наблюдая, как мелкоглазое лицо мужика принимало приниженное и подобострастное выражение.— Четыре дня не жрал, это тебе не деготь гнать!..

Сидя на обрубке дерева, он жадно, по-волчьи, почти не жуя, глотал сало, картошку, соленые огурцы, песочные гречишные лепешки, крепко зажав винчестер между колен и бросая вокруг исподлобья сторожкие, недоверчивые взгляды. Длиннобородый смолокур стоял, растерянно опустив руки, не зная, куда девать свое несуразное тело, и его зеленоватые глаза смотрели ждуще-по-

корно, как будто так и нужно было, чтобы неизвестно откуда пришедший человек распоряжался его добром, как своим. Было во всей его рослой, но сутулой и обобранной фигуре — в волнистой светло-русой бороде, в грязных полотняных штанах с отвисшей мошонкой — что-то унизительно-жалкое, но Старик не чувствовал этого: ему теперь тоже казалось это естественным.

Только веснушчатый парнишка был чем-то несказанно доволен и смотрел на Старика с нескрываемым любопытством и восхищением. Он долго вертелся вблизи, наконец, осмелев, ткнул пальцем в заржавевший винчестер, спросил неуверенно:

— Дальнобойная?..

— Не тронь! — сказал Старик сурово.— Деревня далеко? — спросил у смолокура.

— Девять верст,— ввернул веснушчатый парнишка.— Ариадной звать...

— Что?

— Деревню звать Ариадна,— пояснил смолокур, наклоняя голову и шпырнув парнишку глазами.

— Отряд какой в деревне стоит или нет?

— Не знаю, давно не был...

— Стоит отряд, я знаю! — снова ввернул парнишка, млея от радости.— Дубова отряд, я знаю... Пятьдесят два пеше, шишнадцать конно!..

Старик расспросил еще о японцах и казаках. О японцах никто ничего не слыхал, а казаки стояли в Ракитном — в двадцати верстах от Ариадны.

— Это пиджак чей, твой? — кивнул вдруг Старик, заметив возле шалаша потрепанный надёван.— Я возьму его...

Он сказал это совершенно спокойно, как будто иначе и не могло быть. На самом деле это тоже было ново: раньше он никогда не взял бы чужого *лично для себя* и притом — насильно. Может показаться, что в подсознании Старика шевельнулось: «Пиджак, мол, нужен мне для поддержания моего существования, а я — человек, нужный для большого, не личного своего дела»?.. Но нет,— он взял пиджак просто для себя, взял потому, что был гол. И — что всего важнее — *он сам знал это*.

Когда напяливал старенький надёван, веснушчатый парнишка отвернулся в сторону, и Старик заметил: на

курносом лице играла лукавая и ехидная, относящаяся к смолокуру улыбка.

— Мальчишка — сын твой? — спросил Старик, впервые улыбнувшись сам за четыре дня.

— Нет, нанятый... сирота он...

— Тятьку казаки вбили,— вставил парнишка, сияя васильковыми глазами,— в партизанах был. А мамку изнасилили и тоже вбили...

Старик подарил ему патрон от винчестера и, попрощавшись, заковылял по тропе, все учащая шаги и не оглядываясь.

Он вышел из тайги так же неожиданно, как и вошел. Она раздалась перед ним совсем внезапно необъятной небесной ширью, неохватным простором убранных полей. Налево, куда хватал глаз, стлались скошенные, не по-осеннему жаркие нивы. Далеко, у кудрявой ленты вербняка, загородившей гурливую речонку, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя — веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из куржавого облака блесткой половы и пыли вырывались чуть слышные голоса, сыпался мелкий бисер возбужденного девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты. Через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков — соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко.

Ласковый ветер, пахнущий сеном и скошенной рожью, обнял Старика, закурчавил волосы, защекотал лицо — и необъятное, неизбывное чувство простора охватило его. Никогда еще не испытывал он такой безграничной любви к этой широкой, родящей хлеб долине, к звонкому солнцу, к тихому бездонному небу. Слезы навертывались на глаза, хотелось пасть на землю и крепко, не чувствуя боли, прижаться к жесткой ржаной щетине. И когда он шагал по накатанной дороге, ему казалось, что жизнь впервые разворачивается перед ним, широкая, светлая и радостная, и душа его ликующе пела и об этой неисчерпаемой радости, и о несказанной красоте мира.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ

Печатание романа началось в журнале «Октябрь»: 1929, №№ 1—4; 1930, №№ 4—6. В 1930 году первая книга «Последнего из удэге» выходит отдельным изданием в Госиздате РСФСР. Продолжение романа появляется, за исключением отдельных отрывков, в журнале «Красная новь»: 1932, №№ 3—6, 8—10; 1933, №№ 1—3; 1935, №№ 9—10; 1936, №№ 7, 8, 12; 1940, №№ 9—10. В 1941 году Гослитиздатом выпущены первые два тома «Последнего из удэге», в которые вошли четыре завершенные части произведения. Начальные главы пятой части впервые опубликованы в «Литературной газете» 1940 года и во втором сборнике «Литературной Москвы» (Гослитиздат, 1956). В 1957 году в «Советском писателе» вышло наиболее полное издание «Последнего из удэге», включающее в себя, кроме законченных частей, также шесть глав пятой части романа.

Процесс рождения «Последнего из удэге» интересен тем, что, по сути, всю жизнь Фадеев был во власти замысла романа-эпопеи. Именно с этого произведения Фадеев собирался начать путь в литературе, но в силу ряда причин мог приступить к нему не сразу. Реализация писателем своих ранних замыслов была одновременно и приближением к большому эпическому полотну. Фадеев очень серьезно готовился к работе над романом, о чем свидетельствует, в частности, его архив. В папках наряду с материалами о гражданской войне в Приморье имеются выписки из истории заселения Дальнего Востока и жизни дальневосточных народностей, замечания о декадентском разброде в искусстве предреволюционного периода, о японской гравюре.

В 1924 году Фадеев составил подробный план романа-эпопеи; в 1926 году опубликовал «Хунхузы» — первые главы этого романа, первоначальное название которого было «Последний из тазов». На первых этапах работа продвигалась без особых затруднений. В 1929 году в печати появляется I, а в 1930 году — II часть «Последнего из удэге». Что касается III и IV частей, то еще в декабре 1929 года в письме к Р. С. Землячке Фадеев сообщил: «2-й том (т. е. III и IV части.— *Ст. З.*) (фактически уже написанный

думаю приготовить к печати — в «Октябре» и для отдельной книги — в течение ближайших $1^1/_2$ месяцев»[1].

И все же вопреки оптимистическому заявлению дальнейший ход работы значительно замедлился: до полного завершения III части лежал путь длиною в шесть лет, а IV часть увидела свет лишь в 1940 году. Оценивая первые две части, Фадеев не мог не заметить расхождения между замыслом и его исполнением. То, что в плане было обозначено двумя-тремя пунктами, разрослось в процессе работы до нескольких глав; тема явно не укладывалась в избранную форму. «Роман «Последний из удэге» мне дается с большим трудом,— говорил А. Фадеев на собрании слушателей литературных кружков Замоскворецкого района Москвы в декабре 1932 года,— и именно потому, что и сюжет романа гораздо сложнее, и тема и идея его более сложны и значительны, чем в «Разгроме». Мне приходится роман строить многопланно: писать об одной группе людей, переходить к другой, к третьей, в то же время увязывая их поступки, действия между собой» (V, 124).

Прежде всего Фадееву бросились в глаза просчеты композиционного порядка, опасность дробления материала на разрозненные части. Автор увидел, что таким образом не охватить всего замысла, по которому действие должно было развиваться и в стойбище удэге, и в партизанском ревкоме, и в гостиной богача Гиммера, и в белогвардейском застенке. Писатель объединяет две опубликованные части (к тому же единые по своим сюжетным линиям) в одну и разгружает текст от излишних подробностей.

Происходит также существенная перестановка акцентов в самом замысле. Если журнальной публикации были предпосланы эпиграфы-цитаты из работ Энгельса и Моргана, характеризующие уклад древнего родового быта, то в дальнейшем писатель снимает эти высказывания. Не появляется в отдельных изданиях и опубликованное в 1930 году предисловие автора к своему произведению, в котором речь шла преимущественно о первобытной общине и ее оценке классиками марксизма. Это отнюдь не означало, что тема древних народностей и их судеб в эпоху пролетарской революции отодвигалась на задний план. Она продолжала играть важную роль в романе, но не исчерпывала его сложной тематики. Более того, раскрытие темы удэге оказалось возможным лишь при воссоздании широкой картины социальных перемен, происходящих в мире. Перед автором стояла проблема согласованного развития ряда сюжетных коллизий. В опубликованных главах действие развивалось по двум линиям — «партизанской» и «удэгейской». История Лены Костенецкой, мир владивостокской буржуазии, городское большевистское подполье, белогвардейский лагерь — этого материала в произведении еще не было. А между тем нехватка его стала для Фадеева очевидной. Отсюда появление в 1932 году новой второй (а по счету третьей) части «Последнего из удэге». Писатель показывает приближение революции, революцию, мятеж чехословацкого корпуса, рабочие забастовки. Одновременно автор намечает эволюцию персонажей, которые станут центральными в последующих частях.

---

[1] А. Фадеев. Собрание сочинений в семи томах. М., «Художественная литература», 1970—1971. Т. 7, стр. 40. В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию.

Вне сомнения, вторая часть была значительным творческим достижением Фадеева. Противопоставление двух миров ожило теперь в зримых образах. Но глубокий экскурс в предреволюционный период, вклинившись в повествование, «уводил» от главного времени и места действия, как бы застопорил самое действие. Возникла определенная самостоятельность целой части — вещь, весьма нежелательная в большой эпической форме. Поэтому Фадеев принимается (почти сразу после завершения печатания новых глав) за кардинальную переработку построения романа. Стремясь как можно больше сблизить прошлое и настоящее, автор оставляет от первой части начальные шесть глав и переводит в нее всю вторую. Этим материалом и заканчивалась в новой редакции первая часть. Ее композиция получила своего рода кольцевое оформление: действие, как и раньше, начиналось в стане партизан, затем уходило к 1900 году, а оттуда медленно, но неуклонно приближалось к исходному месту и времени. Второй же частью новой редакции стала первая часть.

Благодаря сделанному перемещению по-новому раскрывались образы Петра Суркова, Владимира Костенецкого, Лангового и других, ибо ко времени основного действия читатель уже познакомился с этими персонажами еще в «девятисотые годы». Сцены прошлого бросали теперь яркий свет на настоящее, придали многим следующим за ними событиям богатый подтекст. Когда Сеня Кудрявый говорит о себе: «Работал и у Гиммера... Мало сказать, работал,— я перед войной в собственной передней его плюху от околоточного получил, да еще и в каталажке посидел...» (II, 215), то в памяти возникает уже известный читателю эпизод с рабочей делегацией в доме Гиммера. Или следующий диалог. Говорит Алеша Маленький: «—...А офицерик-то!.. Это что за офицерик? — спросил он как бы невзначай.

— Один из знакомых Гиммера,— спокойно сказала Лена» (II, 175) о Ланговом. К моменту этого разговора читатель уже знает, что Ланговой не просто знакомый Гиммера, а человек, из-за которого Лена испила полную чашу разочарования, унижения и стыда.

В 1933 году две части вышли отдельным изданием и составили первый том «Последнего из удэге». Он воспринимался читателями как огромная эпическая экспозиция, в которой раскрывались процессы, происходившие в разных слоях общества в период революционного предгрозья и самой революции.

Чем дальше, тем больше смотрел Фадеев на свое детище с высоты возраставших требований. Поиск автора «Последнего из удэге» с самого начала отмечен стремлением к широте обобщений, к философской насыщенности произведения, но не сразу все получалось, как мыслилось. Произведению, задуманному как огромная картина борьбы двух миров, в первых двух частях не хватало полного, глубокого дыхания. Судьба народная, пульс быстротечной жизни как бы вынуждены пробиваться сквозь историю индивидуальных судеб юных Лены и Сережи Костенецких. Фадееву ясна стала необходимость более широкого развертывания эпического действия; в перспективе все сюжетные нити должны сходиться к единому композиционному центру—событиям партизанской борьбы, в которой наиболее ярко проявились коренные тенденции многонационального движения народов Дальнего Востока на путях

революционных преобразований. Заметное нарастание эпических элементов и стало характерной особенностью III и IV частей. Оно выразилось прежде всего в соотношении характеров и событий, когда не события преломляются в восприятии действующих лиц, а характеры героев шлифуются, эволюционизируют в этих событиях.

Появление в печати четвертой части «Последнего из удэге» было отмечено критикой как большое литературное событие, значительный этап в творчестве Фадеева. Читательская и литературная общественность ожидала завершения полюбившегося всем романа, создания последних двух частей. Окончание «Последнего из удэге» и было задачей Фадеева в начале 40-х годов.

Начало пятой части было напечатано в «Литературной газете» от 29 сентября 1940 года. Главы имели названия: «Рождение Масенды», «Детство Масенды», «Испытание Масенды», «Женитьба Масенды». Это были последние прижизненные публикации предпоследней части романа. С лета 1943 года Фадеев углубляется в изучение материала о молодогвардейском подполье Краснодона. Последующие три года проходят в напряженной работе над «Молодой гвардией». По завершении романа о Великой Отечественной войне художник, помня свой старый долг перед читателем, вновь возвращается к «Последнему из удэге». В записных книжках появляются заметки к «удэгейской линии», к вопросу о русских поселениях на Дальнем Востоке. Автор намерен был изобразить борьбу удэге за независимость против китайских купцов — цайдунов. В заметке от 6 сентября 1947 года Фадеев выделяет следующие слова: «Восстание. Обращение к правительству. Безрезультатно. Месть хунхузов. Гибель семьи Масенды» (VI, 492). Другой набросок раскрывает трагический исход борьбы: «В великом восстании в последний раз собрались все племена. И многие племена погибли целиком» (VI, 492).

Много внимания уделяет Фадеев дальнейшему развитию характеров, взаимоотношениям между персонажами, в частности решению сюжетной коллизии Петр Сурков — Лена Костенецкая. Вопрос о причинах разрыва между Петром и Леной всегда был предметом колебаний и раздумий автора. О споре между Леной и Петром говорится в конце третьей части. Затем Фадеев снова хотел «столкнуть» эти два персонажа в конце четвертой части, о чем свидетельствуют первоначальные заметки к плану: «А перед Масендой большая глава (может быть, две)—Лена и Сурков, моральный конфликт между ними. Их застает Цой. Ее мучения. После конфликта — Лена и Кудрявый» (ЦГАЛИ). Однако, судя по дальнейшим наброскам, писатель собирался переместить этот эпизод в пятую часть: «В 5-й части страстный идейный спор Лены и Суркова. Их разрыв. Лена любит Лангового. Она хочет повидать его в плену. Сеня объясняется Лене в любви, когда она хочет использовать его, чтобы повидать Лангового. Он удерживает ее от этого шага, фактически спасает ее» (т а м ж е). А ниже следует: «Последнее трагическое объяснение Петра и Лены должно происходить перед тем, как вошедший в комнату партизан говорит о пленении Лангового» (т а м ж е). И все же эти наметки не вполне удовлетворяли автора: причины разрыва Петра и Лены требовали более основательной аргументации. Поэтому 7 сентября 1947 года в своей записной книжке Фадеев делает заметку: «Найти место

конфликта, *окончательно*, между Сурковым и Леной. Нужна ли здесь Цой? Кудрявый? Кудрявый — не после конфликта, а в связи с попыткой Лены освободить Лангового» (VI, 493, выделено автором). Очевидно, суть этого конфликта могла быть найдена писателем лишь в процессе непосредственной работы над текстом.

На последовательность развития действия будущих глав проливают свет составленные автором «Наброски к плану 4—5—6 частей». В них говорится: «Если четвертую часть кончить Масендой (впоследствии историей Масенды была начата пятая часть.— *Ст. З.*), тогда пятая: съезд, Боярин — Казанок, Сурков — Казанок-младший, Кудрявый — Лена, перемена партизанской тактики, хунхузы, удэге, Сурков — Цой, Ланговой, Масенда, японцы, гибель Мартемьянова, Масенды.

Шестая: город, Алеша, гибель Хлопушкиной, Лена — Сурков — Кудрявый, зимовка, новая тактика, победа» (ЦГАЛИ).

Наброски плана и заметки сороковых годов позволяют догадываться о возможном развитии сюжета последних частей. Очевидно, большое место Фадеев отводил событиям, связанным с крестьянским съездом. Здесь должны были встретиться многие герои произведения, а национальная тема получила бы дальнейшее углубление. По заметкам видно, что «на съезде Алеша снова встречается с майхинским председателем». Здесь же неминуемо должны столкнуться Боярин и Тимофей Казанок. Оба они — делегаты съезда, только Боярин избран единым мнением односельчан, а Казанок — путем подкупа зажиточной верхушки села. Возможно, что Боярин спросил бы: «Где моя лошадь, Казанок?». Разоблаченный барышник вынужден спасаться вместе со своим приемным сыном бегством, об этом свидетельствует один из пунктов плана.

Любопытен пункт «Масенда — Боярин». Пересечение путей старейшего представителя удэгейской народности и бедного русского крестьянина — знаменательный штрих в раскрытии темы борьбы за будущую свободную жизнь в единой семье всех народов. По записным книжкам 1948 года видно, что художник попрежнему увлечен возможностью показать, что строителями новой жизни станут люди первобытного коммунизма, люди, которые сумели сохранить высокие человеческие нравственные достоинства, невзирая на натиск капиталистической цивилизации. 17 апреля 1948 года Фадеев делает следующую заготовку для шестой части: «В походе Масенда объясняет Сереже разницу между свободными родами племени на реке Сыдагоу и теми родами, которые попали в кабалу к цайдунам — на реках Хор, Бикин, Иман. Последние не вылезают из этой ростовщической кабалы, пьют водку — сули, утратили воинственный дух, несут в языке много китайских слов. Роды, объединившиеся вокруг рода Масенды,— последние воинственные и свободолюбивые роды» (VI, 496).

Теме последнего из племени удэге писатель собирался дать следующее решение: «Сарл в беседе с женой объясняет ей, что в случае опасности для племени она должна беречь сына.

В нем живет неиссякаемая вера в то, что восставшие русские, подобные Мартемьянову, одержат победу и удэге станут свободными, а значит, его сын увидит счастливую жизнь» (VI, 496). И далее: «Когда хунхузы истребляют последние свободолюбивые роды и Сарл гибнет в бою, жена его, притворившись мертвой и

прикрыв сына своим телом, остается в живых и спасает сына. День и ночь несет она его в руках на север, к родичам по Бикину и Хору — несет последнего воина из племени удэге» (VI, 496).

Знаменательна заметка к эпилогу романа. По ней видно, что итоговые строчки Фадеев опять-таки посвящал той проблеме, которая была первотолчком к созданию произведения: «Падение колчаковщины. Партизаны входят в город. Судьба всех героев. Заключительная сцена: жена Сарла у родичей на Бикине. Спасенный сын в колыске. В нем черты Сарла. Он будет расти под счастливой звездой. Мало того: он будет преобразователем жизни своего народа под сенью свободы. Конец» (VI, 496).

Несмотря на незавершенность, «Последний из удэге» Фадеева стоит в ряду наиболее читаемых в наши дни книг. Роман-эпопея переведен на иностранные языки и языки народов СССР; по мотивам произведения снят телевизионный фильм.

ПОВЕСТИ. РАССКАЗ

РАЗЛИВ

Повесть написана в 1923 году, опубликована в 1924 году в альманахе «Молодогвардейцы».

По воспоминанию Ю. Либединского, произведение А. Фадеева, с которым он, как сотрудник редакции, ознакомился в рукописи, впечатляло, несмотря на явные недостатки композиции и стилистические погрешности, «ощущением свежести и силы юного, своеобразного таланта».

«Читая, я все поглядывал за окно, обтекающее дождевыми каплями, видел там кунцевскую, довольно чахленькую, дачную природу. А рукопись рисовала природу необыкновенную — с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе — сильные и смелые, страстные и правдивые» (Ю. Либединский. «Современники». Воспоминания, М. 1958, стр. 199—200).

«Разлив» — первое созданное Фадеевым произведение, знаменовавшее начало его писательского пути. Стиль, отдельные мотивы повести хранят в себе следы юношеской пробы пера. В частности, описание разлива Улахэ в определенной степени восходит к сохранившемуся в рукописи раннему очерку «В Улахинской долине». Знаменателен идейно-художественный рост автора: если очерк заканчивался описанием разбушевавшейся стихии, перед которой, казалось бы, человек бессилен, то в повести упор сделан на изображении организованных действий односельчан, которые в противостоянии наводнению делают также первый шаг к классовому размежеванию и борьбе с местной буржуазией.

Реальной основой повести является то социальное брожение, которое происходило в дальневосточной деревне накануне Октябрьской революции. Многое в произведении идет от личных наблюдений автора над укладом и бытом сел Чугуевка, Саровка, Яковлев-

ка, где проходили его детские и юношеские годы. Неретин, Кислый, Горовой, Копай — фамилии местных жителей, послуживших прототипами выведенных в повести характеров.

«Разлив» А. Фадеева вызвал разноречивые отзывы печати. Отмечая несомненную значительность темы — борьба коммунистов за революционизацию крестьянской массы,— критики указывали на слабую композиционную организованность произведения, излишнее увлечение дальневосточной экзотикой и т. д. Критическое отношение к повести разделял и сам автор, прекративший с 1932 года ее переиздание.

Современными исследователями «Разлив» А. Фадеева рассматривается в ряду характерных для становления молодой советской литературы произведений о революции в деревне. «Обычным героем этих произведений,— замечает А. С. Бушмин,— был местный, деревенский коммунист, поведение которого определялось преимущественно его социальным положением, его классовым инстинктом. Характерный пример — Андрон Непутевый, герой одноименной и популярной в свое время повести Неверова. Не обладая идейно-политическим опытом и руководствуясь только чувством классовой ненависти к врагу, такой деревенский вожак, несмотря на весь свой энтузиазм, не был в состоянии возвыситься до уровня идейного организатора масс. Он был лишь инициатором стихийных форм борьбы.

В образе Неретина есть андроновские черты. Но Фадеев уже в первой повести стремился подчеркнуть решающее значение идейного воспитания. Герой его ищет в политических брошюрах ответа на вопросы, выдвигаемые жизнью» (А. Бушмин. «Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности», Л., 1971, стр. 13).

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Рассказ написан в мае — октябре 1923 года, опубликован в журнале «Молодая гвардия» за 1923 год. Первоначальное название — «Против течения».

Произведение посвящено памяти Игоря Сибирцева — двоюродного брата, старшего друга и боевого соратника Фадеева. По свидетельству Фадеева, Игорь с 1918 года был членом подпольного горкома, а затем обкома РКП(б) и приобщал его к работе владивостокского подполья. Вместе с Игорем Сибирцевым А. Фадеев вступил в ряды приморских партизан и прошел с ними боевой путь «до самого конца» (IV, 367). Они были вместе в драматическую ночь с 4 на 5 апреля 1920 года, участвовали в организации отпора вероломно нарушившим договор японцам. Во время ночного боя под Спасском Фадеев был тяжело ранен, и только благодаря решительным действиям Сибирцева его удалось эвакуировать в безопасное место. Игорь Сибирцев обладал незаурядным талантом политического и военного руководителя, ярко раскрывшимся с образованием регулярной народно-революционной армии, в которой он занимал посты начальника штаба, командира части, политкомиссара. Последние минуты жизни этого большевика описаны Фадеевым в оставшемся незавершенным очерке «Семья Сибирцевых». В 1921 году часть, которой командовал Сибирцев, вынуж-

дена была отступать под натиском вражеской кавалерии. Во время боя он был ранен в обе ноги, бойцы вынесли своего командира с поля сражения. Сибирцев просил оставить его, уходить без него, но «красноармейцы этого не сделали, и он застрелился у них на руках».

Прямое отношение имеет И. Сибирцев и к фактической стороне описанных в настоящем рассказе событий. В 1920 году под его руководством осуществлялась перевозка на пароходе военных грузов и снаряжения за Амур. Разумеется, один из главных героев рассказа, комендант парохода «Пролетарий» Никита Селезнев, является собирательным образом, но в создании его автор, вне сомнения, использовал доминирующую черту характера И. Сибирцева — умение принимать в критический момент единственно верное решение. Действия Сибирцева, коменданта парохода, происходили на глазах Фадеева, который также участвовал в речной переправе грузов. «Рейсы по Уссури в 1920 году,— писал он позднее,— одно из самых счастливых воспоминаний моей юности. Мне было 18 лет. Я поправлялся после ранения, полученного мною под Спасском, еще хромал, но уже было ясно, что все будет хорошо... Постоянное напряжение опасности, наши — иногда кровопролитные — схватки с дезертирами из армии, не раз пытавшимися овладеть пароходом, чтобы удрать за Амур,— все это только бодрило душу» (А. Фадеев. «Повесть нашей юности», М. 1964, стр. 94).

Связан с боевой биографией автора и описанный в рассказе отряд: как свидетельствуют хранящиеся в ЦГАЛИ данные, А. Фадеев был одно время комиссаром 22 Амгуньского полка («Александр Фадеев. Материалы и исследования», М., 1977, стр. 422).

По признанию критики, рассказ «Против течения» Фадеева (в сравнении с его же «Разливом») получился более четким по идейной направленности и стройным по композиции. Однако в первой публикации рассказ, по сути, не имел финала, так как неясной оставалась судьба полка. При подготовке произведения к переизданию автор дописал небольшую главу, в которой комиссар Челноков с отрядом матросов идет навстречу растерявшимся бойцам, но полк уже сам стремится исправить положение. Соответственно менялось и название рассказа. В 1934 году он вышел под названием «Амгуньский полк», а в 1938 году — «Рождение Амгуньского полка».

ОДИН В ЧАЩЕ

«Один в чаще» является первой главой незавершенной повести «Таежная болезнь». Опубликована после смерти автора в октябрьском номере журнала «Юность» за 1956 год. По своей композиции и содержанию она в известной мере является самостоятельной вещью. Впервые в произведении Фадеева о гражданской войне мы встречаемся с описанием владивостокского подполья, быта и атмосферы рабочей среды. Обращает на себя внимание психологическая углубленность образа главного героя — Старика. Писатель стремится показать изнутри волевой характер руководи-

теля масс, оказавшегося в исключительных обстоятельствах; описывая малейшие движения человеческой души, автор раскрывает процесс преодоления естественного страха за жизнь, постепенное возрастание жажды деятельности и возвращение к борьбе за правое дело. Проявившийся в этом отрывке метод исследования «диалектики души» Фадеев широко применил в романе «Разгром».

Работа над повестью «Таежная болезнь» предшествовала созданию «Разгрома». Особенно близка к «Разгрому» по своему содержанию вторая глава повести — «На людях». Действующие лица этой главы — командир взвода Дубов, Мечик — «стройный, белокурый парень лет 18». Последний, правда, выведен в роли председателя отрядного совета, но «потерял веру в необходимость и справедливость того дела, которому отдавал жизнь» (ЦГАЛИ). Отдельные сцены — выход из «шибишихинской ловушки», переход через трясину, эпизод с увязшей в болоте лошадью и др. почти без изменений вошли затем в текст романа «Разгром».

Ст. Заика

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Александрович
ФАДЕЕВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том II

Редактор тома
Н. Г. Цветкова.

Оформление художника
Р. И. Бородина

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 27.08.79. Подписано к печати 10.01.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,42. Уч.-изд. л. 21,71. Тираж 600 000
(400 001—600 000) экз. Изд. № 3018. Заказ № 4624.
Цена 1 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Индекс 70684

1 р. 40 к.